

**Борис Георгиевич Бажанов**

**Я был секретарем Сталина**

## **Предисловие автора**

Мои воспоминания относятся, главным образом, к тому периоду, когда я был помощником Генерального секретаря ЦК ВКП (Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии) Сталина и секретарем Политбюро ЦК ВКП. Я был назначен на эти должности 9 августа 1923 года. Став антикоммунистом, я бежал из советской России 1 января 1928 года через персидскую границу. Во Франции в 1929 и 1930 годах я опубликовал некоторые из моих наблюдений в форме газетных статей и книги. Их главный интерес заключался в описании настоящего механизма коммунистической власти – в то время на Западе очень мало известного, некоторых носителей этой власти и некоторых исторических событий этой эпохи. В моих описаниях я всегда старался быть скрупулезно точным, описывал только то, что я видел или знал с безусловной точностью. Власти Кремля никогда не сделали ни малейшей попытки оспорить то, что я писал (да и не могли бы это сделать), и предпочли избрать тактику полного замалчивания – мое имя не должно было нигде упоминаться. Самым усердным читателем моих статей был Сталин: позднейшие перебежчики из советского полпредства во Франции показали, что Сталин требовал, чтобы всякая моя новая статья ему немедленно посылалась аэропланом.

Между тем, будучи совершенно точным в моих описаниях фактов и событий, я, по соглашению с моими друзьями, оставшимися в России, и в целях их лучшей безопасности, должен был изменить одну деталь, касавшуюся меня лично: дату, когда я стал антикоммунистом. Это не играло никакой роли в моих описаниях – они не менялись от того, стал ли я противником коммунизма на два года раньше или позже. Но, как оказалось, меня лично это поставило в положение очень для меня неприятное (в одной из последних глав книги, когда я буду описывать подготовку моего бегства за границу, я объясню, как и почему мои друзья просили меня это сделать). Кроме того, о многих фактах и людях я не мог писать – они были живы. Например, я не мог рассказать, что говорила мне личная секретарша Ленина, по очень важному вопросу – это ей могло очень дорого стоить. Теперь, когда прошло уже около полувека, и большинства людей этой эпохи уже нет в живых, можно писать почти обо всем, не рискуя никого подвести под сталинскую пулю в затылок.

Кроме того, описывая сейчас те исторические события, свидетелем которых я был, я могу рассказать читателю о тех выводах и заключениях, которые вытекали из их непосредственного наблюдения. Надеюсь, что это поможет читателю лучше разобраться в сути этих событий и во всем этом отрезке эпохи коммунистической революции.

## Глава 1

### Вступление в партию

*Гимназия. Университет. Расстрел демонстрации. Вступление в партию. Ямполь и Могилев. Москва. Высшее техническое училище. Дискуссия о профсоюзах. Кронштадтское восстание. Нэп. Учение*

Я родился в 1900 году в городе Могилеве-Подольском на Украине. Когда пришла февральская революция 1917 года, я был учеником 7-го класса гимназии. Весну и лето 1917 года город переживал все события революции и прежде всего постепенное разложение старого строя жизни. С октябрьской революцией это разложение ускорилося. Распался фронт, отделилась Украина. Украинские националисты оспаривали у большевиков власть на Украине. Но в начале 1918 года немецкие войска оккупировали Украину, и при их поддержке восстановился некоторый порядок, и установилась довольно странная власть гетмана Скоропадского, формально украинско-националистическая, на деле – неопределенно консервативная.

Жизнь вернулась в некоторое более нормальное русло, занятия в гимназии снова шли хорошо, и летом 1918 года я окончил гимназию, а в сентябре отправился продолжать учение в Киевский университет на физико-математический факультет. Увы, учение в университете продолжалось недолго. К ноябрю определилось поражение Германии, и германские войска начали оставлять Украину. В университете забурлила революционная деятельность – митинги, речи. Власть закрыли университет. Я в это время никакой политикой не занимался – в мои 18 лет я считал, что я недостаточно разобрался в основных вопросах жизни общества. Но, как и большинство студентов, я был очень недоволен перерывом учения – я приехал в Киев из далекой провинции учиться.

Поэтому, когда была объявлена студенческая демонстрация на улице против здания университета в знак протеста против его закрытия, я отправился на эту демонстрацию.

Тут я получил очень важный урок. Прибывший на грузовиках отряд «державной варты» (государственной полиции), спешился, выстроился и без малейшего предупреждения открыл по демонстрации стрельбу. Надо сказать, что при виде винтовок толпа бросилась врассыпную. Против винтовок осталось три-четыре десятка человек, которые считали ниже своего достоинства бежать, как зайцы, при одном виде полиции. Эти оставшиеся были или убиты (человек двадцать), или ранены (тоже человек двадцать). Я был в числе раненых. Пуля попала в челюсть, но скользнула по ней, и я отделался двумя-тремя неделями госпиталя.

Учение прекратилось, возобновилась борьба между большевиками и украинскими националистами, а я вернулся в родной город выздоравливать и размышлять о ходе событий, в которых я против воли начал принимать участие. До лета 1919 года я много читал, старался разобраться в марксизме и революционных учениях и программах.

В 1919 году развернулась Гражданская война и наступление на Москву белых армий от окраин к центру. Но наш подольский угол лежал в стороне от этой кампании, и власть у нас оспаривалась только петлюровцами и большевиками. Летом 1919 года я решил вступить в коммунистическую партию.

Для нас, учащейся молодежи, коммунизм представлялся в это время необычайно интересной попыткой создания нового, социалистического общества. Если я хотел принять участие в политической жизни, то здесь, в моей провинциальной действительности, у меня был только выбор между украинским национализмом и коммунизмом. Украинский национализм меня ничуть не привлекал – он был связан для меня с каким-то уходом назад с высот русской культуры, в которой я был

воспитан. Я отнюдь не был восхищен и практикой коммунизма, как она выглядела в окружающей меня жизни, но я себе говорил (и не я один), что нельзя многого требовать от этих малокультурных и примитивных большевиков из неграмотных рабочих и крестьян, которые понимали и претворяли в жизнь лозунги коммунизма по-дикому; и что как раз люди более образованные и разбирающиеся должны исправлять эти ошибки и строить новое общество так, чтобы это гораздо более соответствовало идеям вождей, которые где-то далеко, в далеких центрах, конечно, действуют, желая народу блага.

Пуля, которую я получил в Киеве, не очень подействовала на мое политическое сознание. Но вопрос о войне сыграл для меня немалую роль.

Все последние годы моей юности я был поражен картиной многолетней бессмысленной бойни, которую представляла первая мировая война. Несмотря на мою молодость, я ясно понимал, что никакой из воюющих стран война не могла принести ничего, что могло бы идти в сравнение с миллионами жертв и колоссальными разрушениями. Я понимал, что истребительная техника достигла такого предела, что старый способ решения войной споров между великими державами теряет всякий смысл. И если руководители этих держав вдохновляются старой политикой национализма, которая была допустима век тому назад, когда от Парижа до Москвы было два месяца пути и страны могли жить независимо друг от друга, то теперь, когда жизнь всех стран связана (а от Парижа до Москвы два дня езды), эти руководители государств – банкроты и несут большую долю ответственности за идущие за войнами революции, ломающие старый строй жизни. Я в это время принимал за чистую монету Циммервальдские и Кинтальские протесты интернационалистов против войны – только много позже я понял, в каком восторге были ленины от войны – лишь она могла принести им революцию.

Вступив в местную организацию партии, я скоро был избран секретарем уездной организации. Характерно, что мне сразу же пришлось вступить в борьбу с чекистами, присланными из губернского центра для организации местной чеки. Эта уездная чека реквизировала дом нотариуса Афеньева (богатого и безобидного старика) и расстреляла его хозяина. Я потребовал от партийной организации немедленного закрытия чеки и высылки чекистов в Винницу (губернский центр). Организация колебалась. Но я быстро ее убедил. Город был еврейский, большинство членов партии были евреи. Власть менялась каждые два-три месяца. Я спросил у организации, понимает ли она, что за бессмысленные расстрелы чекистских садистов отвечать будет еврейское население, которому при очередной смене власти грозит погром. Организация поняла и поддержала меня. Чека была закрыта.

Советская власть продержалась недолго. Пришли петлюровцы. Некоторое время я был в Жмеринке и Виннице, где в январе 1920 года я неожиданно был назначен заведующим губернским отделом народного образования. Эту мою карьеру прервал возвратный тиф, а затем известие о смерти от сыпного тифа моих родителей. Я поспешил в родной город. Там еще были петлюровцы. Но они меня не тронули – местное население поручилось, что я – «идейный коммунист», никому ничего кроме добра не делавший и, наоборот, спасший город от чекистского террора.

Скоро власть снова сменилась – пришли большевики. Затем опять большевики отступили. Началась советско-польская война. Но к лету 1920 года был снова занят уездный город Ямполь, и я был назначен членом и секретарем Ямпольского ревкома. Едва ли когда-нибудь Ямполь после революции видел власть более мирную и доброжелательную. Председатель ревкома, Андреев, и оба члена ревкома – Трофимов и я – были люди мирные и добрые. По крайней мере, это должна была думать вдова чиновника, в доме которой мы все трое жили, и, обедая за одним с ней столом, питались впроголодь (к большому ее удивлению), несмотря на всю нашу власть.

Через месяц был занят Могилев; я был переведен туда и снова избран секретарем уездного комитета партии.

В октябре советско-польская война кончилась, в ноябре был занят Крым; Гражданская война завершилась победой большевиков. Я решил ехать в Москву продолжать учение.

В ноябре 1920 года я приехал в Москву и был принят в Московское высшее техническое училище.

В Высшем техническом была, конечно, местная партийная ячейка. Жила она очень слабой партийной жизнью. Партия считала, что в стране огромный недостаток верных технических специалистов, и наше дело – партийных студентов – прежде всего учиться. Что мы и делали.

Тем не менее, в центре я уже коснулся несколько ближе жизни партии. Теперь, после окончания Гражданской войны, страна начала переходить к мирному строительству. Коммунистические методы управления страной за три года, протекавшие от начала большевистской революции, казались определившимися, но между тем они были подвергнуты ожесточенным спорам в партийной верхушке во время знаменитой дискуссии о профсоюзах, которая происходила как раз в конце 1920 года. Для нас всех, рядовых членов партии, дело выглядело так, что идет спор о методах руководства хозяйством, вернее, промышленностью. Казалось, есть точка зрения части партии во главе с Троцким, считавшей, что вначале армия должна быть превращена в армию трудовую и должна восстанавливать хозяйство на началах жестокой военной дисциплины; часть партии (Шляпников и рабочая оппозиция) считала, что управление хозяйством должно быть передано профсоюзам; наконец, Ленин и его группа были и против трудовых армий, и против профсоюзного управления хозяйством, и полагала, что руководить хозяйством должны хозяйственные советские органы, покидая военные методы. Победила точка зрения Ленина, хотя и не без труда.

Только через несколько лет, уже будучи секретарем Политбюро, разбираясь в старых архивных материалах Политбюро, я понял, что дискуссия была надуманной. По существу это была борьба Ленина за большинство в Центральном комитете партии – Ленин опасался в этот момент чрезмерного влияния Троцкого, старался его ослабить и несколько отдалить от власти. Вопрос о профсоюзах, довольно второстепенный, был раздут искусственно. Троцкий почувствовал деланность всей этой ленинской махинации, и почти на два года отношения между ним и Лениным сильно охладились. В дальнейшей борьбе за власть этот эпизод и его последствия сыграли большую роль.

В марте 1921 года, в то время, когда происходил съезд партии, все члены ячейки Высшего технического училища были срочно вызваны в районный комитет партии. Нам объявили, что мы мобилизованы, нам роздали винтовки и патроны, нас распределили по заводам, которые были большей частью закрыты; мы должны были нести на них вооруженную охрану, чтобы предотвратить возможные рабочие выступления против власти. Это были дни Кронштадтского восстания.

Около двух недель мы втроем несли охрану на закрытом заводе. Со мной был мой друг, коммунист Юрка Акимов, студент, как и я, и русский немец с голубыми глазами Ганс Лемберг. Через несколько лет, когда я буду секретарем Политбюро, я его выдвину на пост секретаря Спортинтерна. Он окажется интриганом самой низкой марки. Юрку Акимова я через два-три года потеряю из виду. Из Советской энциклопедии я недавно узнал, что он – заслуженный профессор металлургии.

На съезде партии, в марте, Ленин сделал доклад о замене хлебной разверстки продналогом. Во всей официальной советской исторической литературе этот момент изображается как введение нэпа. Это не совсем верно. Ленин пришел к идее о нэпе не так быстро. Во время Гражданской войны и летом 1920 года у крестьян хлеб брали силой. Власти рассчитывали приблизительно, сколько в каком районе у крестьян должно быть хлеба, цифры намеченного изъятия разверстывались по районам и дворам, и затем хлеб и продукты брали силой (продотрядами) в порядке самого грубого произвола, чтобы кое-как прокормить армию и города. Это была разверстка. При этом крестьяне не получали в обмен

почти никаких промышленных продуктов – их практически не было. Летом 1920 года вспыхнули крестьянские восстания; самое известное, Антоновское (в Тамбовской губернии), продолжалось до лета 1921 года. Кроме того, произошло значительное уменьшение посевов – крестьянин не хотел производить лишнего хлеба, который у него все равно отобрали бы. Ленин понял, что дело идет к катастрофе, и надо от догматического коммунизма вернуться к реальной жизни, восстановив для крестьянина некоторый смысл в его хозяйственной работе. Разверстка была заменена продналогом – то есть крестьянин был обязан сдать определенное количество продуктов, которые представляли налог, а остатками мог распоряжаться.

Кронштадтское восстание толкнуло мысль Ленина дальше – в стране царили голод, общее недовольство и отсутствие промышленных продуктов. Восстановить не только сельское хозяйство, но и хозяйство вообще можно было, лишь дав населению хозяйственный стимул, – то есть вернуться от коммунистической фантастики к нормальному меновому хозяйству. Это Ленин и предложил в конце мая на 10-й Всероссийской партийной конференции, но довел до конца формулировку нэпа лишь в конце октября на Московской губернской партийной конференции (я дальше расскажу, что говорили мне его секретарши уже после его смерти о сокровенных мыслях Ленина этого периода).

Я продолжал учиться. Меня избрали секретарем партийной ячейки. Это мне не очень мешало – партийная жизнь в Высшем техническом была намеренно малоактивна.

Но весь 1921 год в стране царил голод. Никакого рынка не было. Надо было жить исключительно на паек. Он состоял из фунта (400 граммов) хлеба в день (типа замазки, составленной бог знает из каких остатков и отбросов) и четырех ржавых селедок в месяц. В столовой училища давали еще раз в день немножко пшенной каши на воде без малейших следов жира и почему-то без соли. На таком режиме очень долго продержаться было нельзя. К счастью, подошло лето, и можно было поехать на летнюю практику на завод. Я с тремя товарищами выбрал практику на сахарном заводе (мы учились на химическом факультете) в моем родном Могилевском уезде. Там мы подкормились: паек выдавался сахаром, а сахар можно было обменивать на любую еду.

Осенью я вернулся в Москву и продолжал учение. Увы, на моем голодном режиме к январю я снова чрезвычайно отощал и ослабел. В конце января 1922 года я решил снова уехать на Украину.

В лаборатории количественного анализа моим соседом был молодой симпатичный студент Саша Володарский. Он был братом Володарского; питерского комиссара по делам печати, которого убил летом 1918 года рабочий Сергеев. Саша Володарский был очень милый и скромный юноша. Когда, услышав его фамилию, его спрашивали: «Скажите, вы родственник того известного Володарского?» – он отвечал: «Нет, нет, однофамилец».

Я спросил его мнение, кого бы предложить на мое место в секретари ячейки. Почему? Я объяснил: хочу уехать, не могу дальше голодать.

– А почему вы не делаете как я? – спросил Володарский.

– Как?

– А я полдня учусь, полдня работаю в ЦК партии. Там есть виды работы, которую можно брать на дом. Кстати, аппарат ЦК сейчас сильно расширяется, там нужда в грамотных работниках. Попробуйте.

Я попробовал. То, что я был в прошлом секретарем укома партии и сейчас секретарем ячейки в Высшем техническом, оказалось серьезным аргументом, и управляющий делами ЦК Ксенофонов (кстати, бывший член коллегии ВЧК), производивший первый отбор, направил меня в орготдел ЦК, где я и был принят.

## Глава 2

### В орготделе. устав партии

*Орготдел ЦК. Учет местного опыта. Статья Кагановича. Съезд партии. Доклад Ленина. Проект нового устава партии. Каганович, Молотов, Сталин. Мой устав принят. Лоскутка, Володарские, Маленков. Тихомирнов. Лазарь Каганович. «Мы, товарищи, пятидесятилетние...» Михайлов. Молотов. Циркулярная комиссия. Справочник партийного работника. Известия ЦК*

В это время происходило чрезвычайное расширение и укрепление аппарата партии. Едва ли не самым важным отделом ЦК был в это время организационно-инструкторский отдел, куда я и попал (скоро он был соединен с учраспредом в орграспред – организационно-распределительный отдел). Наряду с основными подотделами (организационный, информационный) был создан маловажный подотдел – учета местного опыта. Функции у него были самые неясные. Я был назначен рядовым сотрудником этого подотдела. Он состоял из заведующего – старого партийца Растопчина – и пяти рядовых сотрудников. Растопчин и трое из пяти его подчиненных смотрели на свою работу как на временную синекуру. Сам Растопчин показывался раз в неделю на несколько минут. Когда у него спрашивали, что, собственно, нужно делать, он улыбался и говорил: «Проявляйте инициативу». Трое из пяти проявляли ее в том смысле, чтобы найти себе работу, которая бы их более устраивала; и в этом они, правда, скоро успели. Райтер после ряда сложных интриг стал ответственным инструктором ЦК, а затем секретарем какого-то губкома. Кицис терпеливо выжидал назначения Райтера, и, когда оно произошло, уехал с ним. Зорге (не тот, не японский) хотел работать за границей по линии Коминтерна. Пытался работать только один Николай Богомолов, орехово-зубовский рабочий, очень симпатичный и толковый человек. В дальнейшем он стал помощником заведующего орграспредом по подбору партийных работников, затем заместителем заведующего орграспредом, а затем почему-то торгпредом в Лондоне. В чистку 1937 года он исчез; вероятно, погиб.

Я первое время почти ничего не делал, присматривался и продолжал учение. После тяжелого 1921 года мои житейские условия резко улучшились. Весь 1921 год в Москве я не только голодал, но и жил в тяжелой жилищной обстановке. По ордеру районного совета нам (мне и моему другу Юрке Акимову) была отведена реквизируемая у «буржуев» комнатка. В ней не было ни отопления и ни малейшего намека на какую-либо мебель (вся мебель состояла из миски для умывания и кувшина с водой, стоявших на подоконнике). Зимой температура в комнате падала до 5 градусов ниже нуля, и вода в кувшине превращалась в лед. К счастью, пол был деревянный, и мы с Акимовым, завернувшись в тулупы и прижавшись друг к другу для теплоты, спали в углу на полу, положив под головы книги вместо несуществующих подушек.

Теперь положение изменилось. Сотрудники ЦК жили в иных условиях. Мне была отведена комната в 5-м Доме Советов – бывшей «Лоскутной гостинице» (Тверская, 5), которую все обычно называли 5-м домом ЦК, так как жили в ней исключительно служащие ЦК партии. Правда, только рядовые, так как очень ответственные жили или в Кремле, или в 1-м Доме Советов (угол Тверской и Моховой).

Хотя я и работал мало, скоро мне пришлось столкнуться с заведующим орготделом Кагановичем.

Под его председательством произошло какое-то инструктивное совещание по вопросам «советского строительства». Меня посадили секретарствовать на этом совещании (так просто, попал под руку). Каганович произнес чрезвычайно толковую и умную речь. Я ее, конечно, не записывал, а сделал только протокол совещания.

Через несколько дней редакция журнала «Советское строительство» попросила у

Кагановича руководящую статью для журнала. Каганович ответил, что ему некогда. Это была неправда. Дело было в том, что человек чрезвычайно способный и живой, Каганович был крайне малограмотен. Сапожник по профессии, никогда не получивший никакого образования, он писал с грубыми грамматическими ошибками, а писать литературно просто не умел. Так как я секретарствовал на совещании, редакция обратилась ко мне. Я сказал, что попробую.

Вспомнив, что говорил Каганович, я изложил это в форме статьи. Но так как было ясно, что все мысли в ней не мои, а Кагановича, я пошел к нему и сказал: «Товарищ Каганович, вот ваша статья о советском строительстве – я записал то, что вы сказали на совещании». Каганович прочел и был в восхищении: «Действительно, это все, что я говорил; но как это хорошо изложено». Я ответил, что изложение – дело совершенно второстепенное, а мысли его, и ему надо только подписать статью и послать в журнал. По неопытности Каганович стеснялся: «Это ведь вы написали, а не я». Я его не без труда уверил, что я просто написал за него, чтобы выиграть ему время. Статья была напечатана. Надо было видеть, как Каганович был горд, – это была «его» первая статья. Он ее всем показывал.

У этого происшествия были последствия. В конце марта – начале апреля происходил очередной съезд партии. Я, как и многие другие молодые сотрудники орготдела, был направлен для технической работы в помощь секретариату съезда. При съезде образуется ряд комиссий – мандатная, редакционная и т. д. Их образуют старые партийные бороды – члены ЦК и видные работники с мест, но работу выполняют молодые сотрудники аппарата ЦК. В частности, в редакционной комиссии, куда меня послали, работа идет так. Оратор выступает на съезде. Стенографистка записывает его речь и, расшифровывая стенограмму, диктует машинистке. Этот первый текст полон ошибок и искажений – стенографистка многое не поняла, многое не расслышала, кое-что не успела записать. Но к каждому оратору прикомандирован сотрудник редакционной комиссии, который обязан внимательно прослушать речь. Он и производит первую правку, приводя текст в почти окончательный вид. Потом оратору остается сделать только незначительные добавочные исправления, и таким образом его время чрезвычайно сберегается.

На съезде политический отчет ЦК делал (последний раз) Ленин. Встал вопрос: кому из сотрудников поручить эту работу – слушать и править. Каганович сказал: «Товарищу Бажанову; он это сделает превосходно». Так и было решено.

Трибуна съезда возвышалась метра на полтора над полом зала. На трибуне президиум съезда. Справа (если стоять лицом к залу) у края трибуны пюпитр, за которым стоит оратор; на пюпитре его подсобные бумажки – в ранней советской практике доклады никогда не писались заранее; они импровизировались; самое большее, докладчик имел на бумажке краткий план и некоторые цифры и цитаты. Перед пюпитром спускается в зал лестничка: по ней поднимаются на трибуну и спускаются в зал ораторы. Так как во время доклада Ленина никто не должен подниматься на трибуну, я сел сверху лестницы в метре от Ленина – так я был уверен, что все буду хорошо слышать.

Во время ленинского доклада придворный фотограф (кажется, Оцуп) делает снимки. Ленин терпеть не может, чтобы его снимали для кино во время выступлений – это ему мешает и нарушает нить мыслей. Он едва соглашается на две неизбежные официальные фотографии. Фотограф снимает его слева – тогда в глубине в некотором тумане виден президиум; потом снимает справа – виден только Ленин и за ним – угол зала. Но на обоих снимках перед Лениным – я.

Эти фото часто печатались в газетах: «Владимир Ильич выступает последний раз на съезде партии», «Одно из последних публичных выступлений т. Ленина». До 1928 года я фигурировал всегда вместе с Лениным. В 1928 году я бежал за границу. Добравшись до Парижа, я начал читать советские газеты. Скоро я увидел не то в «Правде», не то в «Известиях» знакомую фотографию: Владимир Ильич делает последний политический доклад на съезде партии. Но меня на фотографии не было. Видимо, Сталин распорядился, чтобы я из фотографии исчез.



Этой весной 1922 года я постепенно втягивался в работу, но больше изучал. Наблюдательный пункт был очень хорош, и я быстро ориентировался в основных процессах жизни страны и партии. Некоторые детали иногда говорили больше долгих изучений. Например, я мало что могу вспомнить об этом XI съезде партии (1922 года), на котором я присутствовал, но ясно помню выступление Томского, члена Политбюро и руководителя профсоюзов. Он говорил: «Нас упрекают за границы, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы у нас одна партия у власти, а остальные в тюрьме». Зал ответил бурными аплодисментами.

Вспомнил ли об этом выступлении Томский четырнадцать лет спустя, когда перед ним открылись двери сталинской тюрьмы? Во всяком случае, он застрелился, не желая переступить ее порог.

Справедливость требует отметить, что в тот момент я еще питал доверие к своим вождям: остальные партии в тюрьме; значит, так и надо и так лучше.

В апреле-мае этого года я отдал себе отчет в том, как происходит эволюция власти. Было очевидно, что власть все больше сосредоточивается в руках партии, и чем дальше, тем больше в аппарате партии. Между тем мне бросилось в глаза одно важное обстоятельство. Организационные формы работы партии и ее аппарата, которые определяли эффективность работы, были сформулированы в виде ее устава. Но устав партии в основном имел тот вид, в каком он был принят в 1903 году. Он был немного изменен на VI съезде партии летом 1917 года. VIII партийная конференция 1919 года внесла тоже некоторые робкие изменения, но в общем устав, годный для подполья дореволюционного времени, совершенно не подходил для партии, находящейся у власти, и чрезвычайно стеснял ее работу, не давая ясных и точных нужных форм.

Я взялся за работу и составил проект нового устава партии. Переделал я его очень сильно. Проверив все, я напечатал на машинке два параллельных текста: налево – старый, направо – новый, подчеркнув все измененные места старого и новые места моего текста.

С этим документом я явился к Кагановичу. Его секретарь Балашов заявил мне, что товарищ Каганович очень занят и никого не принимает. Я настаивал:

– А ты все-таки доложи. Скажи, что я по очень важному делу.

– Ну, какое у тебя может быть важное дело, – урезонивал меня Балашов.

– А ты все-таки доложи. Не уйду, пока не доложишь.

Балашов доложил. Каганович меня принял.

– Товарищ Бажанов. Я очень занят. Три минуты – в чем дело?

– Дело в том, товарищ Каганович, что я вам принес проект нового устава партии.

Каганович был искренне поражен моей дерзостью.

– Сколько вам лет, товарищ Бажанов?

– Двадцать два.

– А сколько лет вы в партии?

– Три года.

– А известно ли вам, что в 1903 году наша партия разделилась на большевиков и меньшевиков только по вопросу о редакции первого пункта устава?

– Известно.

- И все ж таки вы осмеливаетесь предложить новый устав партии?

- Осмеливаюсь.

- По каким причинам?

- Очень простым. Устав крайне устарел, годился для партии в условиях подполья, никак не отвечает жизни партии, которая у власти, и не дает ей необходимых форм для ее работы и эволюции.

- Ну, покажите.

Каганович прочел первый и второй пункты в старой редакции и новой, подумал.

- Это вы сами написали?

- Сам.

Потребовал объяснений. Объяснения я дал. Через несколько минут просунувшаяся в дверь голова Балашова напомнила, что есть люди, которым обещан прием, и пришло время для какого-то важного заседания. Каганович его прогнал:

- Очень занят. Никого не принимаю. Заседание перенести на завтра.

Около двух часов читал, смаковал и обдумывал Каганович мой устав, требуя объяснений и оправданий моим формулировкам. Когда все было кончено, Каганович вздохнул и заявил:

- Ну, заварили вы кашу, товарищ Бажанов.

После чего он взял трубку и спросил у Молотова, может ли он его видеть по важному делу (Молотов был в это время вторым секретарем ЦК).

- Если ненадолго, приходите.

- Пойдем, товарищ Бажанов.

- Вот, - заявил, входя к Молотову, Каганович. - Вот этот юноша предлагает не более, не менее, как новый устав партии.

Молотов был тоже потрясен.

- А знает ли он, что в 1903 году...

- Да, знает.

- И тем не менее?...

- И тем не менее.

- И вы этот проект читали, товарищ Каганович?

- Читал.

- И как вы его находите?

- Нахожу превосходным.

- Ну, покажите.

С Молотовым произошло то же самое. В течение двух часов проект устава разбирался по пунктам, я давал объяснение, Молотов любопытствовал:

- Это вы сами написали?

– Сам.

– Ничего не поделаешь, – сказал Молотов, когда дошли до конца проекта. – Пойдем к Сталину.

Сталину я тоже был представлен как юный безумец, который осмеливается тронуть достопочтимую и неприкосновенную святыню. После тех же ритуальных вопросов – сколько мне лет, знаю ли я, что в 1903 году, и после формулировки причин, по которым я полагаю, что устав надо переделать, опять приступили к чтению и обсуждению проекта. Рано или поздно пришел вопрос Сталина: «И это вы сами написали?» Но в этот раз за ним последовал и другой: «Представляете ли вы себе, какую эволюцию работы партии и ее жизни определяет ваш текст?» – и мой ответ, что очень хорошо представляю и формулирую эту эволюцию так-то и так-то. Дело было в том, что мой устав был важным орудием для партийного аппарата в деле завоевания им власти. Сталин это понимал. Я тоже.

Конец был своеобразным. Сталин подошел к вертушке. «Владимир Ильич? Сталин. Владимир Ильич, МЫ ЗДЕСЬ В ЦК пришли к убеждению, что устав партии устарел и не отвечает новым условиям работы партии. Старый – партия в подполье, теперь партия у власти и т. д.» Владимир Ильич, видимо, по телефону соглашается. «Так вот, – говорит Сталин, – думая об этом, МЫ разработали проект нового устава партии, который и хотим предложить». Ленин соглашается и говорит, что надо внести этот вопрос на ближайшее заседание Политбюро.

Политбюро в принципе согласилось и передало вопрос на предварительную разработку в оргбюро. 19 мая 1922 года оргбюро выделило «Комиссию по пересмотру устава». Молотов был председателем, в нее входили и Каганович и его заместители Лисицын и Охлопков, и я в качестве секретаря.

С этого времени на год я вошел в орбиту Молотова.

С уставом пришлось возиться месяца два. Проект был разослан в местные организации с запросом их мнений, а в начале августа была созвана Всероссийская партийная конференция для принятия нового устава. Конференция длилась три-четыре дня. Молотов докладывал проект, делегаты высказывались. В конце концов была избрана окончательная редакционная комиссия под председательством того же Молотова, в которую вошли и Каганович и некоторые руководители местных организаций, как, например, Микоян (он был в это время секретарем Юго-восточного бюро ЦК), и я как член и секретарь комиссии. Отредактировали, и конференция новый устав окончательно утвердила (впрочем, формально его еще после этого утвердил и ЦК).

Весь 1922 год я прожил в том же 5-м Доме ЦК – Лоскутке. Сотрудники ЦК, жившие в нем, группировались по личным знакомствам и работе в кружки. Войдя в эту среду через студента МВТУ Сашу Володарского, я примкнул к кружку, который группировался не столько вокруг четы Володарских, сколько вокруг трех закадычных подруг – Леры Голубцовой, Маруси Игнатьевой и Лиды Володарской. Лера и Маруся были, как и Саша Володарский, «информаторами» в информационном подотделе орготдела, Лида была секретарем этого подотдела. «Информаторы» были, строго говоря, вовсе не информаторами, а референтами по одной-двум губернским партийным организациям. Информатор получал все материалы о жизни этих организаций, составлял сводки и периодические доклады для начальства орготдела о всем важном, что в этих организациях происходило. Володарский и его жена были очень общительны. У них бывал Пильняк, и этим знакомством они очень гордились. К моему глубокому удивлению я узнал, что скромный и тихий Саша был во время Гражданской войны секретарем у кровавой Землячки (Розалии Самойловны), когда она, будучи в партийном руководстве 8-й армии, славилась расстрелами и всякими жестокостями.

К нашему кружку кроме меня принадлежали еще Георгий Маленков и Герман Тихомирнов.

Георгий Маленков был мужем Леры (Валерии) Голубцовой. Он был года на два моложе меня, но старался придавать себе вид старого партийца. На самом деле он был в партии всего второй год (и лет ему было всего двадцать). Во время Гражданской войны он побывал маленьким политработником на фронте, а затем, как и я, пошел учиться в Высшее техническое училище. Не имея среднего образования, он вынужден был начать с подготовительного «рабочего» факультета. В Высшем техническом он пробыл года три. Затем умная жена, которой он, в сущности, и обязан был своей карьерой, втянула его в аппарат ЦК и толкнула его по той же линии, по которой прошел и я, – он стал сначала секретарем оргбюро, потом после моего ухода – секретарем Политбюро.

Жена его, Лера, была намного умнее своего мужа. Сам Георгий Маленков производил впечатление человека очень среднего, без каких-либо талантов. Вид у него всегда был важный и надутый. Правда, он был все же очень молод в это время.

Герман Тихомирнов был на год старше меня. Он был вторым помощником Молотова. Произошло это вот почему. Когда Молотов был еще пятнадцатилетним гимназистом в Казани, во время первой полуреволюции 1905 года, он со своим одноклассником Виктором Тихомирновым (кстати сказать, сыном очень богатых родителей) вместе организовал очень революционный комитет учащихся средних учебных заведений Казани. В революции 1917 года Виктор Тихомирнов принимает активное участие вместе с Молотовым. Но еще во время мировой войны он жертвует очень большую сумму денег партии, что позволило издание «Правды», а Молотова произвело в секретари редакции «Правды», так как возможность издания пришла через него.

Правда, весной 1917 года Молотов, которому в первые недели революции выпала чуть ли не руководящая роль в партии – руководство ее печатным органом, – но которого партия вовсе не рассматривала как политического лидера, здесь остался недолго.

Скоро прибыли в Питер члены ЦК Каменев, Свердлов и Сталин, затем Ленин, Троцкий и Зиновьев, и Молотова услали в провинцию. В 1919 году он был уполномоченным ЦК в Поволжье, в 1920 году – в Нижегородском губкоме партии и губисполкоме, потом в 1920 – 21 годах секретарем Донецкого губкома. Но с марта 1921 года он становится членом ЦК и секретарем ЦК. В течение года он был ответственным секретарем ЦК, правда, не генеральным, но уже и не техническим, как были секретари до него, например, Стасова. 3 апреля 1922 года на посту первого секретаря ЦК его заменил Сталин. Немногого не хватило, чтобы во главе партийного аппарата, автоматически шедшего к власти, не стал Молотов, вернее, не остался Молотов. Зиновьев и Каменев предпочли ему Сталина, и в сущности только по одному признаку – им нужен был на этом посту ярый враг Троцкого. Сталин им и был.

Виктор Тихомирнов становится в 1917 году членом коллегии НКВД, занимается главным образом карательно-административной работой, и в 1919 году, посланный наводить порядки в Казань, умирает там, кажется, от сыпного тифа.

Младший брат его, Герман, в партии с 1917 года. До 1921 года он в армии, некоторое время на чекистской работе – в особых отделах. Оттуда он ушел с некоторыми признаками ненормальности, видимо, чекистская «работа» была не так уж проста. Молотов, придя в ЦК, берет его к себе в секретариат, и он здесь будет много лет работать вторым помощником Молотова. С Молотовым он на «ты» по старому знакомству. Но Молотов его держит в черном теле, беспрерывно цыкает и делает ему выговоры.

Особенным умом он не блещет. У Молотова он – личный секретарь. Гораздо ответственнее, чем он, первый помощник Молотова – Васильевский, человек очень умный и деловой. Герман считает себя призванным чекистом. Я сначала удивлялся, почему он не живет в 1-м Доме Советов согласно своему посту, а продолжает жить в Лоскутке. Потом я понял. Молотов и Васильевский выживают

из Лоскутки, где живут рядовые сотрудники ЦК, нужный им персонал – людей потолковее. Герман знакомится с ними, встречается в быту, изучает, «просвечивает» по-чекистски и дает заключение о том, можно ли доверять или нет. Вот, пользуясь знакомством с Германом, умная Лера Голубцова и пустила вверх через секретариат оргбюро (оргбюро – это держава Молотова) своего Георгия, и с немалым успехом.

После истории с уставом ко мне присматриваются. До конца года я работаю еще с Кагановичем и Молотовым.

Лазарь Моисеевич Каганович замечателен тем, что был одним из двух-трех евреев, продолжавших оставаться у власти во все время сталинщины. При сталинском антисемитизме это было возможно только благодаря полному отречению Кагановича от всех своих родных, друзей и приятелей. Известен, например, факт, что когда сталинские чекисты подняли перед Сталиным дело о брате Кагановича, Михаиле Моисеевиче, министре авиационной промышленности, и Сталин спросил Лазаря Кагановича, что он об этом думает, то Лазарь Каганович, прекрасно знавший, что готовится чистое убийство без малейшего основания, ответил, что это дело «следственных органов» и его не касается. Перед арестом Михаил Каганович застрелился.

Лазарь Каганович, бросившись в революцию, по нуждам революционной работы с 1917 года переезжал с места на место. В Нижнем Новгороде он встретился с Молотовым, который выдвинул его на пост председателя Нижегородского губисполкома, и эта встреча определила его карьеру. Правда, он еще кочевал, побывал в Воронеже, Средней Азии, наконец в ВЦСПС на профсоюзной работе. Отсюда Молотов в 1922 году берет его в заведующие орготделом ЦК, и здесь начинается его быстрое восхождение.

Одно обстоятельство сыграло в этом немалую роль. В 1922 году Ленин на заседании Политбюро говорит, обращаясь к членам Политбюро: «Мы, товарищи, пятидесятилетние (он имеет в виду себя и Троцкого), вы, товарищи, сорокалетние (все остальные), нам надо готовить смену, тридцатилетних и двадцатилетних: выбрать и постепенно готовить к руководящей работе».

Пока в этот момент ограничились тридцатилетними. Наметили двух: Михайлова и Кагановича.

Михайлову было в это время 28 лет, он был кандидатом в члены ЦК и секретарем Московского комитета партии; в 1923 году его избрали членом ЦК и сделали даже секретарем ЦК. Увы, это продолжалось недолго. Очень скоро выяснилось, что большие государственные дела Михайлову совершенно не под силу. Его постепенно оттеснили на меньшую работу. Потом он был руководителем строительства Днепрогэса. В 1937 году был расстрелян вместе с другими (он имел неосторожность в 1929 году быть за Бухарина). В общем, этот выбор для «смены» не удался.

Каганович был много способнее. Держась сначала при Молотове, он постепенно становится, наряду с Молотовым, одним из основных сталинцев. Сталин перебрасывает его из одного важнейшего места партаппарата в другое. Секретарь ЦК Украины, секретарь ЦК ВКП, член Политбюро, первый секретарь МК, снова секретарь ЦК партии, если нужно, Наркомпути, он выполняет все сталинские поручения. Если у него была вначале совесть и другие человеческие качества, то потом в порядке приспособления к сталинским требованиям все эти качества исчезли, и он стал, как и Молотов, стопроцентным сталинцем. Дальше он привык ко всему, и миллионы жертв его не трогали. Но характерно, что когда после смерти Сталина Хрущев, который при жизни Сталина тоже ко всему приспособлялся, вдруг встрепенулся и выступил с осуждением сталинщины, Каганович, Молотов и Маленков уже никакого другого режима, кроме сталинского (чтобы гайка была завинчена твердо, до отказа), не желали, справедливо полагая, что при режиме сталинского типа можно спать спокойно, и никакая опасность такому режиму не грозит; в то же время чем может кончиться хрущевская

некоторая либерализация для их спокойных руководительских мест, да и для режима, еще неизвестно.

Во второй половине 1922 года я еще продолжал работать в ведомстве Кагановича. Молотов и Каганович начинают назначать меня секретарем разных комиссий ЦК. Как секретарь комиссий, я – находка и для того, и для другого. У меня способность быстро и точно формулировать. Каганович, живой и умный, все быстро схватывает, но литературным языком не владеет. Я для него очень ценен. Но еще более ценен в комиссиях я для Молотова.

Молотов – человек не блестящий; это чрезвычайно работоспособный бюрократ, работающий без перерыва с утра до ночи. Много времени ему приходится проводить на заседаниях комиссий. В комиссиях по сути дела к соглашениям приходят скоро, но затем начинается бесконечная возня с редактированием решений. Пробуют сформулировать пункт решения так – сыплются поправки, возражения; споры разгораются, в них теряют начало формулировок и совсем запутываются. На беду Молотов, хорошо разбираясь в сути дел, с большим трудом ищет нужные формулы.

К счастью, я формулирую с большой легкостью. Я быстро нахожу нужную линию. Как только я вижу, что решение найдено, я поднимаю руку. Молотов сразу останавливает прения. «Слушаем». Я произношу нужную формулировку. Молотов хватается за нее: «Вот, вот, это как раз то, что нужно; сейчас же запишите, а не то забудете». Я его успокаиваю – не забуду. «Повторите еще раз». Повторяю. Вот – заседание кончено, и сколько времени выиграно. «Вы мне сберегаете массу времени, товарищ Бажанов», – говорит Молотов. Теперь он будет меня сажать секретарем во все бесчисленные комиссии, где он председательствует (ЦК работает комиссиями – по всякому важному вопросу после предварительного обсуждения создается комиссия, которая и разрабатывает вопрос, и вырабатывает окончательный текст решения, которое и представляется на утверждение оргбюро или Политбюро).

Одна из самых важных комиссий ЦК – циркулярная. По всяким крупнейшим вопросам ЦК принимает директиву и рассылает ее местным организациям – это циркуляр ЦК. Циркулярная комиссия ЦК и создает текст этих циркуляров. Председательствует иногда Молотов, иногда Каганович. Я уже прочно утвержден секретарем этой (постоянной) комиссии. Должны ли местные партийные организации произвести кампанию по севу в деревне, или перерегистрацию партии и введение нового партийного билета, или кампанию по подписке на новый заем – директива пойдет в форме циркуляра.

Скоро я заинтересовываюсь. Каждый день идут новые циркуляры. Какие из них сохраняют силу, какие устарели, какие изменены, ходом событий или новыми решениями, никому неизвестно. И как местные организации разбираются в этой накопившейся массе циркуляров? И как среди этих тысяч циркуляров найти то, что нужно? Я не питаю иллюзий насчет организационных талантов местных партийных бюрократов. Я кончаю тем, что беру всю массу циркуляров, выбрасываю то, что устарело, изменено или отменено; а все, что представляет годную директиву, собираю в книгу, сортирую по вопросам, темам, разделам, времени и по алфавиту. Так, чтобы можно было мгновенно по индексам найти то, что нужно. И прихожу к Кагановичу. Теперь он уже ждет от меня только серьезных вещей. Не без некоторого озорства я нахожу термин, который его пленит. «Товарищ Каганович, я предлагаю произвести кодификацию партийного законодательства». Это звучит торжественно. Каганович термином упоен. Пускается в ход вся машина. Молотов тоже чрезвычайно доволен. Это дает книгу на 400–500 страниц. Книга получает название «Справочник партийного работника». Типография ЦК ее печатает. Она будет переиздаваться каждый год.

Молотов назначает меня еще секретарем редакции «Известий ЦК». Это – периодический журнал, несмотря на созвучие названий не имеющий ничего общего с ежедневной газетой «Известия ВЦИК». «Известия ЦК» – орган внутренней жизни партии. Редактор – Молотов, и так как редактор – Молотов, то

журнал представляет собой необычайно сухое и скучное бюрократическое изделие. Никакая жизнь партии в нем не отражается. Журнал заполнен директивами и указаниями ЦК. Моя секретарская работа тоже совершенно бюрократическая. Я начинаю раздумывать, как мне от этой скучной канцелярщины отделаться, когда вдруг (вдруг для меня, Молотов же и другие к этому готовятся давно) я получаю новое важное назначение. В конце 1922 года я назначен секретарем оргбюро.

## Глава 3

### Секретарь оргбюро

*Секретарь Оргбюро. Секретариат ЦК. Оргбюро. Бюджетная комиссия ЦК. Партколлегия ЦКК и «согласование с ЦК». Канцелярия Оргбюро, реорганизация. Секретариат Молотова. Суть идущей борьбы за власть. Ленин, Троцкий. Болезнь Ленина. «Завещание Ленина». Начало тройки. XII съезд партии. Секретариат Ленина. Фотиева и Гляссер. Сталин ставит своих секретарей Политбюро. Провал. Мое назначение*

Я начинаю становиться несколько более важным винтиком партийной государственной машины. Я тону в своей аппаратной работе, от живой жизни я совершенно оторван, о том, что происходит в стране, я узнаю лишь сквозь партийно-аппаратную призму. Только через полгода я начну выходить из этого бумажного моря; тогда у меня, кстати, будет вся информация, и я смогу сопоставлять факты, данные, смогу судить, делать заключения, приходить к выводам; видеть, что происходит на самом деле, и куда это на самом деле идет.

Пока же я принимаю все большее участие в работе центрального партийного аппарата. Он имеет от меня все меньше секретов.

Каковы функции секретаря оргбюро? Я секретарствую на заседаниях оргбюро и на заседаниях секретариата ЦК; кроме того, на заседаниях совещания заведующих отделами ЦК, которое подготавливает материалы для заседания секретариата ЦК; кроме того на заседаниях разных комиссий ЦК. Наконец, я команду секретариатом (с маленькой буквы) оргбюро, то есть канцелярией.

По уставу важность выборных центральных органов партии идет так: секретариат (из трех секретарей ЦК), над ним оргбюро, над ним Политбюро, секретариат ЦК – орган, находящийся в состоянии быстрой эволюции и, может быть, идущий гигантскими шагами к абсолютной власти в стране, но не столько сам по себе, как в лице своего генерального секретаря.

В 1917–1918 – 1919 годах секретарем ЦК, чисто техническим, была Стасова, а довольно рудиментарным аппаратом ЦК командовал Свердлов. После его смерти (в марте 1919 г.) и до марта 1921 года секретарями полутехническими, полуответственными были Серебряков и Крестинский. С марта 1921 года секретарем ЦК (уже имеющим название «ответственного») становится Молотов. Но в апреле 1922 года на пленуме ЦК избираются три секретаря ЦК: «генеральный секретарь» Сталин, 2-й секретарь Молотов и 3-й секретарь Михайлов (вскоре замененный Куйбышевым). С этого времени начинает заседать секретариат.

Функции его плохо определены уставом. В то время как по уставу известно, что Политбюро создано для решения самых важных (политических) вопросов, а оргбюро – для решения вопросов организационных, подразумевается, что секретариат должен решать менее важные вопросы или подготавливать более важные для оргбюро и Политбюро. Но, с одной стороны, это нигде не написано, а с другой стороны, в уставе хитро сказано, что «всякое решение секретариата, если оно не опротестовано никем из членов оргбюро, становится автоматически решением оргбюро, а всякое решение оргбюро, не опротестованное никем из членов Политбюро, становится решением Политбюро, то есть решением Центрального комитета; всякий член ЦК может опротестовать решение Политбюро перед пленумом ЦК, но это не приостанавливает его исполнения».

Другими словами, представим себе, что секретариат берет на себя решение каких-нибудь чрезвычайно важных политических вопросов. С точки зрения внутривнутрипартийной демократии и устава ничего возразить по этому поводу нельзя. Секретариат не узурпирует прав вышестоящей инстанции – она может всегда это решение изменить или отменить. Но если генеральный секретарь ЦК, как это



произошло с 1926 года, уже держит всю власть в своих руках, он уже может, не стесняясь, командовать через секретариат.

На самом деле этого не произошло. До 1927-1928 годов Политбюро и его члены еще имели достаточно веса, чтобы секретариат это не пробовал делать, вступая в ненужный конфликт, а с 1929 года Политбюро было настолько в подчинении у Сталина, что ему не было никакой надобности пробовать править иначе, чем через Политбюро. А еще через несколько лет и Политбюро, и секретариат превратились в простых исполнителей его приказов, и у власти был не тот, кто занимал крупнейший пост в иерархии, а тот, кто стоял ближе к Сталину: его секретарь весил больше в аппарате, чем председатель Совета Министров или любой член Политбюро.

Но сейчас мы в начале 1923 года. На заседаниях секретариата председательствует 3-й секретарь ЦК Рудзутак, который уже успел заменить Куйбышева, перешедшего на должность Председателя ЦКК. На заседании присутствуют Сталин и Молотов – только секретари ЦК имеют право решающего голоса. С правом совещательного голоса присутствуют все заведующие отделами ЦК – Каганович, Сырцов, Смидович (женотдел) и другие (их немало: управляющий делами ЦК Ксенофонтов, зав. финансовым отделом Раскин, зав. статистическим отделом Смиттен, затем новые заведующие – информационным, печати и т. д.), а также главные помощники секретарей ЦК. Рудзутак председательствует хорошо и толково. Со мной он очень мил и кормит меня конфетами – он бросил курить и взамен курения все время сосет конфеты.

На заседаниях оргбюро председательствует Молотов. В оргбюро входят три секретаря ЦК, заведующие главнейшими отделами ЦК Каганович и Сырцов, начальник ПУР (политического управления Реввоенсовета; ПУР имеет права Отдела ЦК), а кроме того один-два члена ЦК, избираемых в оргбюро персонально, чаще всего – секретарь ВЦСПС и первый секретарь МК.

Сталин и Молотов заинтересованы в том, чтобы состав оргбюро был как можно более узок – только свои люди из партаппарата. Дело в том, что оргбюро выполняет работу колоссальной важности для Сталина – оно подбирает и распределяет партийных работников: во-первых, вообще для всех ведомств, что сравнительно неважно; и, во-вторых, всех работников партаппарата – секретарей и главных работников губернских, областных и краевых партийных организаций, что чрезвычайно важно, так как завтра обеспечит Сталину большинство на съезде партии, а это основное условие для завоевания власти. Работа эта идет самым энергичным темпом; удивительным образом Троцкий, Зиновьев и Каменев, плавающие в облаках высшей политики, не обращают на это особенного внимания. Важность сего поймут тогда, когда уже будет поздно.

Первое оргбюро создано в марте 1919 года после VIII съезда партии. В него входили Сталин, Белобородов, Серебряков, Стасова, Крестинский. Как видно по его составу, оно должно было заниматься некоторой организацией технического аппарата партии и некоторым распределением ее сил. С тех пор все изменилось. С назначением Сталина генеральным секретарем оргбюро становится его главным орудием для подбора своих людей и захвата таким образом всех партийных организаций на местах.

С Молотовым мы уже старые знакомые. Он мною очень доволен. По-прежнему он меня сажает секретарем во все комиссии ЦК. Это обеспечивает мое быстрое аппаратное просвещение.

Например, существует бюджетная комиссия ЦК. Это – комиссия постоянная. Председатель – Молотов, я – секретарь. Состоит она из двух секретарей ЦК – Сталина и Молотова (никогда ни одного раза Сталин ни на одном заседании комиссии не был) и заведующего финансовым отделом ЦК Раскина. Я быстро убеждаюсь, что и Раскин, и я присутствуем на заседаниях комиссии, только чтобы записывать решения Молотова. Хорошо, что Раскину не приходится много разговаривать. Он – русский еврей, эмигрировавший из России в детстве и

побывавший в очень многих странах. Он говорит на таком русском языке, что понять его очень трудно. Кажется, то же и на других языках. Сотрудники его отдела говорят: «Товарищ Раскин владеет всеми языками, кроме своего собственного».

С одной стороны, бюджетная комиссия обсуждает и утверждает смету отделов ЦК. Тут присутствуют заведующие отделами, стараются отстоять свои интересы, и Молотов с ними спорит (но решает, конечно, он). С другой стороны – и здесь дело идет об огромных суммах, – бюджетная комиссия утверждает бюджеты всех братских иностранных компартий. На заседания ни один представитель братской компартии никогда не допускается. Докладывает только генеральный секретарь Коминтерна Пятницкий. Молотов распределяет манну беспрекословно и безапелляционно – соображения, которыми он руководствуется, не всегда для меня ясны. Финансовую технику содержания братских компартий мне любезно разъясняет Раскин – скрытый перевод средств обеспечивается монополией внешней торговли.

Быстро просвещаюсь я и насчет работы органа «партийной совести» – партколлегии ЦКК.

В стране существует порядок – все население бесправно и целиком находится в лапах ГПУ. Беспартийный гражданин в любой момент может быть арестован, сослан, приговорен ко многим годам заключения или расстрелян просто по приговору какой-то анонимной «тройки» ГПУ. Но члена партии в 1923 году ГПУ арестовать еще не может (это придет только через лет восемь-десять). Если член партии провинился, совершил убийство или совершил какое-то нарушение партийных законов, его сначала должна судить местная КК (Контрольная комиссия), а для более видных членов партии – ЦКК, вернее, партийная коллегия ЦКК, то есть несколько членов ЦКК, выделенных для этой задачи. В руки суда или в лапы ГПУ попадает только коммунист, исключенный из партии партколлекгией. Перед партколлекгией коммунисты трепещут. Одна из наибольших угроз: «передать о вас дело в ЦКК».

На заседаниях партколлекгии ряд старых комедиантов вроде Сольца творят суд и расправу, гремя фразами о высокой морали членов партии, и изображают из себя «совесть партии». На самом деле существует два порядка: один, когда дело идет о мелкой сошке и делах чисто уголовных (например, член партии просто и грубо провинился), и тогда Солцу нет надобности даже особенно играть комедию. Другой порядок – когда речь идет о членах партии покрупнее. Здесь существует уже никому не известный информационный аппарат ГПУ; действует он осторожно, при помощи и участии членов коллегии ГПУ Петерса, Лациса и Манцева, которые для нужды дела введены в число членов ЦКК. Если дело идет о члене партии – оппозиционере или каком-либо противнике сталинской группы, невидно и подпольно информация ГПУ (верная или специально придуманная для компрометации человека) доходит через управляющего делами ЦК Ксенофонтова (старого чекиста и бывшего члена коллегии ВЧК) и его заместителя Бризановского (тоже чекиста) в секретариат Сталина, к его помощникам Каннеру и Товстухе. Затем так же тайно идет указание в партколлекгию, что делать, «исключить из партии» или «снять с ответственной работы», или «дать строгий выговор с предупреждением» и т. д. Уж дело партколлекгии – придумать и обосновать правдоподобное обвинение. Это совсем нетрудно – и греметь фразами о партийной морали, и придаться к любому пустяку. Написал, например, партиец статью в журнал, получил 30 рублей гонорара сверх партийного максимума – Солц такую истерику разыгрывает по этому поводу, что твой Художественный театр. Одним словом, получив от Каннера директиву, Солц или Ярославский будут валять дурака, возмущаться, как смел данный коммунист нарушить чистоту партийных риз, и вынесут приговор, который они получили от Каннера (о Каннере и секретариате Сталина мы еще поговорим).

Но в уставе есть пункт: решения контрольных комиссий должны быть согласованы с соответствующими партийными комитетами; решения ЦКК – с ЦК партии. Этому соответствует такая техника.

Когда заседание оргбюро кончено и члены его расходятся, мы с Молотовым остаемся. Молотов просматривает протоколы ЦКК. Там идет длинный ряд решений о делах. Скажем, пункт: «Дело т. Иванова по таким-то обвинениям».

Постановили: «Т. Иванова из партии исключить» или «Запретить т. Иванову в течение трех лет вести ответственную работу». Молотов, который в курсе всех директив, которые даются партколлегии, ставит птичку. Я записываю в протокол оргбюро: «Согласиться с решениями ЦКК по делу тт. Иванова (протокол ЦКК от такого-то числа, пункт такой-то), Сидорова...» и т. д. Но по иному пункту Молотов не согласен: ЦКК решила «объявить строгий выговор». Молотов вычеркивает и пишет: «Исключить из партии». Я пишу в протоколе оргбюро: «По делу т. Иванова предложить ЦКК пересмотреть ее решение от такого-то числа за таким-то пунктом». Сольц, получив протокол, позвонит мне и спросит: «А какое решение?» Я ему скажу по телефону, что написал Молотов на их протоколе. И в ближайшем протоколе ЦКК будет сказано: «Пересмотрев свое решение от такого-то числа и учтя важность предъявленных обвинений, партколлегия ЦКК постановляет: т. Иванова из партии исключить». Понятно, оргбюро (то есть Молотов) с этим решением согласится.

Моя канцелярия оргбюро состоит из десятка сотрудников, чрезвычайно проверенных и преданных. Вся работа оргбюро считается секретной (Политбюро – чрезвычайно секретной). Поэтому, чтобы секреты были известны как можно меньшему числу лиц, штаты минимальны. Этому соответствует сильная перегруженность сотрудников работой – практически они личной жизни не имеют: начинают работать в 8 часов утра, едят наскоро тут же и кое-как, заканчивают работу в час ночи. При этом все равно с работой не справляются – в бумажном море, в котором тонет оргбюро, полная неразбериха, ничего найти нельзя, бумаги регистрируются по каким-то допотопным методам входящих и исходящих; когда секретарю ЦК нужна какая-либо справка или документ из архива, начинаются многочасовые поиски в архивном океане.

Я вижу, что эта организация ничего не стоит. Я ее всю ломаю, завожу несколько картотек с записью каждого документа по трем разным алфавитным индексам. Постепенно все приходит на свое место.

Через 2–3 месяца бумага или справка, которую требует секретарь ЦК, доставляется ему не позже, чем через одну минуту, отделы ЦК, считавшие раньше безнадежным обращаться в секретариат оргбюро, не надивятся скорости, с которой все сразу происходит. Молотов чрезвычайно доволен и не нахвалится мной. Но, сам того не подозревая, он подготавливает мою потерю: в секретариате Политбюро царит еще худшая неразбериха, и Сталин начинает подумывать, что было бы неплохо, если бы я там навел порядок; но это дело не такое простое – мы это увидим дальше.

Последствия для персонала моей канцелярии совершенно неожиданные. Сначала они все энергично протестуют против моих реформ и жалуются секретарям ЦК, что работать со мной невозможно. Когда все же твердой рукой я все реформы провожу и результаты налицо, протесты, по сути дела, умолкают. Но раньше весь день их работы терялся впустую – по долгим и бесплодным поискам. Теперь вся работа происходит быстро и точно. И ее оказывается гораздо меньше. Теперь сотрудники приходят в 9 часов, а в 5–6 часов все кончено. Теперь они располагают свободным временем и могут иметь личную жизнь. Довольны они? Наоборот. Раньше у них был в собственных глазах ореол мучеников, идейных людей, приносящих себя в жертву для партии. Теперь они – канцелярские служащие в хорошо работающем аппарате, и только. Я чувствую, что все они полны разочарования.

Я работаю в постоянном контакте с секретарями Молотова, и уже также в некотором контакте с секретарями Сталина.

Во главе секретариата Молотова стоит его первый секретарь Васильевский. Это быстрый и энергичный человек, умный и деловой. Худой, худощавое умное лицо.

Он организует всю работу Молотова, быстро и толково разбирается во всех делах. С Молотовым он на «ты» и пользуется его полным доверием. Не могу выяснить его прошлого. Кажется, он бывший офицер царского времени (примерно поручик). Сейчас же после октябрьской революции был (большевистским) начальником штаба Московского военного округа. Когда я ухожу в 1926 году из ЦК, я теряю его следы, потом я никогда ничего о нем не слышал.

Второй помощник Молотова – Герман Тихомирнов. Он, собственно, является личным секретарем. Пороху он не выдумает, и я не раз удивляюсь, как Молотов управляется с таким личным секретарем. Но третий и четвертый помощники Молотова – Бородаевский и Белов – не лучше. Герман с Молотовым тоже на «ты». Молотов не в восторге от его работы, но его терпит. Года через два-три он назначит Тихомирнова заведовать Центральным партийным архивом при ЦК партии, но по части бумаг безобидных, так как все важнейшие документы находятся за сталинским секретариатом и сталинским секретарем Товстухой.

Работая с секретариатом Молотова, я все более в курсе дел партийной верхушки. Я начинаю понимать скрытую суть идущей борьбы за власть.

После революции и во время Гражданской войны сотрудничество Ленина и Троцкого было превосходным. К концу Гражданской войны (конец 1920 г.) страна и партия считают вождями революции Ленина и Троцкого, далеко впереди всех остальных партийных лидеров. Собственно говоря, войной руководил все время Ленин. Страна и партия это знают плохо и склонны приписывать победу главным образом Троцкому, организатору и главе Красной армии. Этот ореол Троцкого мало устраивает Ленина – он предвидит важный и опасный поворот при переходе к мирному строительству. Чтобы сохранить при этом руководство, ему нужно сохранить большинство в центральных руководящих органах партии, в ЦК. Между тем и до революции, и в 1917 году Ленину и его партии, созданной им, много раз приходилось оказываться в меньшинстве и снова завоевывать большинство с большим трудом. И после революции это повторялось – вспомнить, например, как он терпел поражение в ЦК и оставался в меньшинстве по такому первой важности вопросу, как вопрос о Брест-Литовском мире с Германией.

Ленин хочет обезопасить себя, гарантировать себе большинство. Он видит возможную угрозу своему лидерству только со стороны Троцкого. В конце 1920 года он в дискуссии о профсоюзах старается ослабить позиции Троцкого и уменьшить его влияние. Ленин еще усиливает свою игру, ставя Троцкого в глупое положение в истории с транспортом. Надо спешно поднять развалившиеся железные дороги. Ленин прекрасно знает, что Троцкий совсем не годится для этой работы, да не имеет и объективных возможностей ее сделать. Троцкий назначается наркомом путей сообщения. Он вносит в это дело энтузиазм, пафос, красноречие, свои навыки трибуна. Это ничего не дает, кроме конфуза. И Троцкий уходит, с ощущением провала.

В ЦК Ленин организует группу своих ближайших помощников – из противников Троцкого. Наиболее ярые враги Троцкого – Зиновьев и Сталин. Зиновьев стал врагом Троцкого после осени 1919 года, когда происходило успешное наступление Юденича на Петроград. Зиновьев был в полной панике и совершенно утерял возможности чем-либо руководить; прибыл Троцкий, выправил положение, третировал Зиновьева с презрением – тут они стали врагами. Не менее ненавидит Троцкого Сталин. Во все время Гражданской войны Сталин был членом Реввоенсовета разных армий и фронтов и был подчинен Троцкому. Троцкий требовал дисциплины, выполнения приказов, использования военных специалистов. Сталин опирался на местную недисциплинированную вольницу, все время не выполнял приказов военного центра, не терпел Троцкого как еврея. Ленину все время приходилось быть арбитром, и Троцкий резко нападал на Сталина.

Каменев, не имевший личных поводов неприязни к Троцкому, менее честолобивый и менее склонный к интригам, примкнул к Зиновьеву и следовал за ним. Ленин высоко поднял всю группу. Не говоря уже о том, что Зиновьев был поставлен во

главе Коминтерна (тогда Троцкий это принял спокойно, он был на важнейшем посту во главе армии во время Гражданской войны), а Каменев Ленин сделал своим первым и главным помощником по Совнаркому и фактически поручил ему верховное руководство хозяйством страны (Совет труда и обороны). Но, когда на апрельском пленуме ЦК 1922 года по идее Зиновьева Каменев предложил назначить Сталина генеральным секретарем ЦК, то Ленин не возражал, хотя хорошо знал Сталина. Так что в марте-апреле 1922 года эта группа, не выходя из повиновения Ленину, обеспечивала ему большинство, а Троцкий перестал быть опасен.

Но 25 мая 1922 года произошло неожиданное событие, все изменившее, – первый удар Ленина. Ленин бывал не раз болен последние годы – в августе 1918 года он был ранен (покушение Фанни Каплан), в марте 1920 года был очень болен, с конца 1921 года и до конца марта 1922 года был болен и отошел от дел. Но затем поправился, 27 марта 1922 года сделал на съезде политический отчет ЦК, и все держал в руках. Удар 25 мая спутал все карты. И до октября 1922 года Ленин практически был не у дел, и заключение врачей (конечно, секретное, для членов Политбюро, а не для страны) было, что это начало конца. Уже после удара Зиновьев, Каменев и Сталин организуют «тройку». Главного соперника они видят в Троцком. Но они еще не предпринимают борьбы против него, потому что против ожидания в июне Ленин начал поправляться, поправлялся все больше, и с начала октября вернулся к работе. Он еще выступил 20 октября на пленуме Московского совета, еще сделал 3 ноября доклад на четвертом конгрессе Коминтерна. Во время этого возвращения он снова взял все в руки, разнес Сталина по поводу национальной политики (Сталин, проводя политику более централистскую, чем русификаторскую, в проекте подготавливаемой конституции намечал создание РОССИЙСКОЙ социалистической советской республики; Ленин потребовал, чтобы это был СОЮЗ социалистических советских республик, предвидя возможность присоединения и других стран по мере успехов революции на Востоке и Западе). Также Ленин собирался разнести Сталина по поводу его конфликта (и его соратников Орджоникидзе и Дзержинского) с ЦК Грузии, но не успел. В октябре 1922 года пленум ЦК без Ленина принял решения, ослабившие монополию внешней торговли. В декабре вернувшийся Ленин на новом пленуме эти октябрьские решения отменил. Казалось, Ленин снова все держал в руках, и «тройка» снова вернулась на роль его приближенных помощников и исполнителей.

Но врачи были правы: улучшение было кратковременным. Нелеченный в свое время сифилис был в последней стадии. Приближался конец, 16 декабря положение Ленина снова ухудшилось, и еще более – 23 декабря.

Уже в начале декабря Ленин знал, что ему жить осталось недолго. От этого испарились заботы о большинстве в ЦК и о соперничестве с Троцким. К тому же Ленина поразило, как за несколько месяцев его болезни быстро увеличилась власть партийного аппарата и, следовательно, Сталина. Ленин сделал шаг к сближению с Троцким и начал серьезно раздумывать, как ограничить растущую власть Сталина. Размышляя над этим, Ленин придумал ряд мер, прежде всего организационных. Статьи он уже не мог писать, а должен был их диктовать своим секретаршам. Прежде всего Ленин пришел к двойной мере – с одной стороны, значительно расширить состав ЦК, разбавив, так сказать, власть аппарата; с другой стороны, реорганизовать и значительно расширить ЦКК, сделав из нее противовес бюрократическому аппарату партии.

23 и 26 декабря он продиктовал первое «письмо съезду». Он имел в виду XII съезд партии, который должен был произойти в марте-апреле 1923 года, в котором речь шла о расширении состава ЦК. Это письмо было переслано в ЦК Сталину. Сталин его скрыл, и на съезде, происшедшем в апреле, пользуясь тем, что в это время Ленин уже полностью вышел из строя, выдал это предложение за свое (но будто бы согласное с ленинскими мыслями). Предложенное увеличение было принято, число членов ЦК было увеличено с 27 до 40. Но сделал это Сталин с целью, противоположной мысли Ленина, а именно – чтобы увеличить число СВОИХ подобранных членов ЦК и этим увеличить свое большинство в ЦК.

24 и 25 декабря Ленин продиктовал второе «письмо съезду». Это и есть то, что обычно называют «завещание Ленина». В нем он давал характеристики видным лидерам партии, ставя вопрос о руководстве партией в случае своей смерти, и в общем склонялся к руководству коллегиальному, но выдвигал все же на первое место Троцкого. Это письмо было адресовано в сущности к тому же ближайшему съезду (им должен был быть XII съезд, в апреле 1923 года), но Ленин приказал его запечатать и указать, что оно должно быть вскрыто только после его смерти. Дежурная секретарша, правда, слов о его смерти на конверте не поместила, но сказала обо всем этом и Крупской, и другим секретаршам. И Крупская, связанная этим приказом, к XII съезду конверта не вскрыла – Ленин был еще жив.

Между тем Ленин, продолжая думать над этими вопросами, через несколько дней пришел к убеждению, что Сталина необходимо с поста генерального секретаря снять. 4 или 5 января 1923 года он сделал об этом известную приписку к «завещанию», в которой, говоря о грубости и других недостатках Сталина, советовал партии его с поста генерального секретаря удалить. Эта приписка была присоединена к «письму съезду», запечатана и также Крупской перед XII съездом вскрыта не была. Но содержание «завещания» секретарши Ленина знали и Крупской рассказали.

Наконец, вторую часть своего плана Ленин изложил в продиктованной им статье «Как нам реорганизовать Рабкрин». Диктовал он ее до начала марта. Эта статья пошла в ЦК нормально; Рабкрин был реорганизован в июне формально по проекту Ленина, но, на самом деле опять-таки в целях Сталина.

В феврале-марте состояние Ленина было стационарно. В это время Ленин пришел к окончательному решению о борьбе и со Сталиным, и с бюрократическим аппаратом, который он возглавлял. По настоянию Ленина в конце февраля создается комиссия ЦК против бюрократизма (Ленин имеет в виду прежде всего бюрократизм оргбюро, Ленин надеется, что на приближающемся съезде он будет руководить борьбой против Сталина, хотя и из своей комнаты больного).

Между тем Сталин после второго ухудшения здоровья Ленина в середине декабря (врачи считали, что это, в сущности, второй удар) решил, что с Лениным можно уже особенно не считаться. Он стал груб с Крупской, которая обращалась к нему от имени Ленина. В январе 1923 года секретарша Ленина Фотиева запросила у него интересовавшие Ленина материалы по грузинскому вопросу. Сталин их дать отказался («не могу без Политбюро»). В начале марта он так обругал Крупскую, что она прибежала к Ленину в слезах, и возмущенный Ленин продиктовал письмо Сталину, что он порывает с ним всякие личные отношения. Но при этом Ленин сильно переволновался, и 6 марта с ним произошел третий удар, после которого он потерял и дар речи, был парализован, и сознание его почти угасло. Больше его на политической сцене уже не было, и следующие 10 месяцев были постепенным умиранием.

(Все, что написано выше, я знаю в начале 1923 года из вторых рук – от секретарей Молотова; через несколько месяцев я получу проверку и подтверждение всего этого уже из первых рук – от секретарей Сталина и секретарш Ленина.)

С января 1923 года тройка начинает осуществлять власть. Первые два месяца – еще опасаясь блока Троцкого с умирающим Лениным, но после мартовского удара Ленина больше не было, и тройка могла начать подготовку борьбы за удаление Троцкого. Но до лета тройка старалась только укрепить свои позиции.

Съезд партии состоялся 17–25 апреля 1923 года. Капитальным вопросом было, кто будет делать на съезде политический отчет ЦК – самый важный политический документ года. Его делал всегда Ленин. Тот, кто его сделает, будет рассматриваться партией как наследник Ленина.

На Политбюро Сталин предложил его прочесть Троцкому. Это было в манере Сталина. Он вел энергичную подспудную работу расстановки своих людей, но это даст ему большинство на съезде только года через два. Пока надо выиграть время

и усыпить внимание Троцкого.

Троцкий с удивительной наивностью отказывается: он не хочет, чтобы партия думала, что он узурпирует место больного Ленина. Он в свою очередь предлагает, чтобы отчет читал генеральный секретарь Сталин. Представляю себе душевное состояние Зиновьева в этот момент. Но Сталин тоже отказывается – он прекрасно учитывает, что партия этого не поймет и не примет – Сталина вождем партии никто не считает. В конце концов не без добрых услуг Каменева читать политический доклад поручено Зиновьеву – он председатель Коминтерна, и если нужно кому-либо временно заменить Ленина по случаю его болезни, то удобнее всего ему. В апреле на съезде Зиновьев делает политический отчет.

В мае и июне тройка продолжает укреплять свои позиции. Зиновьева партия считает не так вождем, как номером первым. Каменев – и номер второй, и фактически заменяет Ленина как председателя Совнаркома и председателя СТО. Он же председательствует на заседаниях Политбюро. Сталин – номер третий, но его главная работа – подпольная, подготовка заваршного большинства. Каменев и Зиновьев об этой работе не думают – их первая забота – как политически дискредитировать и удалить от власти Троцкого.

Ленин вышел из строя, но секретариат его продолжает по инерции работать. Собственно, у Ленина две секретарши – Гляссер и Фотиева. Из остальных близких сотрудниц в последнее время болезни Володичева и Сара Флаксерман выполняли вместе с ними обязанности «дежурных секретарш», то есть дежурили, чтобы в любой момент быть в распоряжении Ленина, если он захочет продиктовать какое-нибудь письмо, распоряжение или статью. Сара Флаксерман переходит в малый Совнарком (это своего рода комиссия, придающая нужную юридическую форму проектам декретов Совнаркома), становясь его секретарем. Фотиева, занимающая официальную должность секретаря Совнаркома СССР, продолжает работать с Каменевым. Она рассказывает Каменеву достаточно мелких секретов ленинского секретариата, чтобы продолжать сохранять свой пост. Впрочем, Каменев не Сталин, и мелочами ленинского быта не очень интересуется.

Но из двух секретарш Ленина главная и основная – Мария Игнатьевна Гляссер. Она секретарша Ленина по Политбюро, Лидия Фотиева – секретарша по Совнаркому. Вся Россия знает имя Фотиевой – она много лет подписывает с Лениным все декреты правительства. Никто не знает имени Гляссер – работа Политбюро совершенно секретна. Между тем все основное и самое важное происходит на Политбюро, и все важнейшие решения и постановления записывает на заседаниях Политбюро Гляссер. Совнарком затем только «оформляет в советском порядке», и Фотиева должна только следить за тем, чтобы декреты Совнаркома точно повторяли решения Политбюро, но не принимает того участия в их подготовке и формулировке, как Гляссер.

Гляссер секретарствует на всех заседаниях Политбюро, пленумов ЦК и важнейших комиссий Политбюро. Это маленькая горбунья с умным и недобрим лицом. Секретарша она хорошая, женщина очень умная; сама, конечно, ничего не формулирует, но хорошо понимает все, что происходит в прениях Политбюро, то, что диктует Ленин, и записывает точно и быстро. Она хранит ленинский дух и, зная ленинскую вражду последних месяцев его жизни к бюрократическому сталинскому аппарату, не делает никаких попыток перейти к нему на службу. Сталин решает, что пора ее удалить и заменить своим человеком. Пост секретаря Политбюро слишком важен – в нем сходятся все секреты партии и власти.

В конце июня 1923 года Сталин получает согласие Зиновьева и Каменева и снимает Гляссер с поста секретаря Политбюро. Но не так легко найти замену. Работа секретаря Политбюро требует многих качеств. Секретарствуя на заседаниях, он не только должен прекрасно понимать суть всех прений и всего, что происходит на Политбюро; он одновременно должен: 1) внимательно следить за прениями, 2) следить за тем, чтобы все члены Политбюро вовремя были обеспечены всеми нужными материалами, 3) руководить потоком вельмож, вызванных по каждому пункту повестки, 4) вмешиваться в прения всегда, когда

происходит какая-нибудь ошибка, забывается, что раньше было уже решено по вопросу что-то иное, 5) делая все это, успевать записывать постановления, 6) быть памятью Политбюро, давая мгновенно все нужные справки.

Гляссер со всем этим справлялась. Сталин пробует заменить ее двумя своими секретарями – Назаретяном и Товстухой, надеясь, что вдвоем, разделяя работу, они смогут ее выполнить.

Увы, дело кончается полным провалом. Назаретян и Товстуха не могут сосредоточить свое внимание на всех задачах, не успевают, путаются, не схватывают, не понимают; работа Политбюро явно расстраивается. Члены Политбюро видят, что это – провал, но еще молчат. Наконец взрывается Троцкий. Поводом служит обсуждение ноты Наркоминдела английскому правительству. Проект ноты составил Троцкий, при обсуждении на Политбюро вносятся некоторые поправки. Секретари, не схватывая их сути, не вносят нужных изменений. После заседания приходится объезжать членов Политбюро, поправлять, согласовывать текст и так далее.

Троцкий пишет на следующем заседании Политбюро (эта бумажка у меня сохранилась – мне ее передал Назаретян):

«**Только членам Политбюро.** Т. Литвинов говорит, что секретари заседания **ничего не записывали** по вопросу о ноте. Это не годится. Надо обеспечить в дальнейшем более правильный порядок. Секретари должны были иметь перед глазами текст ноты (я послал) и отмечать. Иначе могут возникнуть недоразумения. Троцкий».

Зиновьев пишет на бумажке: «Нужно обязат. стенографа ГЗ»

Бухарин: «Присоединяюсь Н. Бух.»

Сталин, чрезвычайно недовольный неудачей, с обычной своей грубостью и недобросовестностью, пишет:

«**Пустяки.** Секретари записали бы, если бы Троцкий и Чичерин не записывали сами. Наоборот, целесообразно, чтобы в видах конспирации по **таким вопросам** отдельных записей секретарей не было. И. Ст.»

Томский: «Стенограф не нужен. М. Том.»

Каменев: «Стенограф (коммунист, проверенный, в помощь секретарям заседания) – нужен. Л. Кам.»

(То, что выделено в текстах, подчеркнуто самими Троцким и Сталиным.)

Почему я пишу, что Сталин явно недобросовестен? Он подчеркивает «по таким вопросам», как будто обсуждавшийся вопрос о ноте необычайно секретен. Между тем это – обычная практика Политбюро, огромное большинство вопросов так же или еще более секретно; выделять вопросы, по которым нельзя доверять секретарям Политбюро в их записях, просто глупо и невозможно. Кстати, Троцкий пишет «только членам Политбюро», чтобы показать, что он с мнением члена Политбюро совершенно не считается. Сталин передает эту бумажку Назаретяну которому она как раз не должна быть показана.

Сталину приходится все же отступить. Как было бы для него хорошо иметь секретарями Политбюро своих людей – Назаретяна и Товстуху. Увы, не выходит. Есть Бажанов, который превосходно справляется с обязанностями секретаря оргбюро и, вероятно, хорошо справится с обязанностями секретаря Политбюро, но будет ли он своим человеком? Это вопрос. Надо рискнуть.

9 августа 1923 года оргбюро ЦК постановляет: «Назначить помощником секретаря ЦК т. Сталина т. Бажанова с освобождением его от обязанностей секретаря оргбюро». В постановлении Сталин ничего не говорит о моей работе секретарем



Политбюро. Это обдуманно. Я назначаюсь его помощником. А назначение секретаря Политбюро – это его прерогатива – он будет назначать на этот пост своего помощника или кого найдет нужным (впоследствии – Маленкова, который и не скоро еще будет его помощником).

## Глава 4

### Помощник Сталина - секретарь политбюро

*Утверждение повестки Политбюро. Механизм власти тройки. Технический аппарат Политбюро. Фельдъегерский корпус ГПУ. Совершенно секретно. Тамара Хазанова. Секретариат Сталина. Назаретян. Распределение работы. Каннер. 1-й Дом советов 5-й этаж дома ЦК партии. Начало работы со Сталиным. «Вертушка». Т. Сталин «слушает». Ремонт кавалерии и 7 миллионов долларов. Заседания Политбюро*

Назаретян, сдавая мне дела секретариата Политбюро, говорит мне: «Товарищ Бажанов, вы и не представляете себе, какой важности пост вы сейчас занимаете». Действительно, это я увижу только через два дня, когда в первый раз буду докладывать проект повестки очередного заседания Политбюро.

Политбюро – центральный орган власти. Оно решает все важнейшие вопросы управления страной (да и мировой революцией). Оно заседает 2–3 раза в неделю. На повестке его регулярных заседаний фигурирует добрая сотня вопросов, иногда до 150 (бывают и экстраординарные заседания по отдельным срочным вопросам). Все ведомства и центральные учреждения, ставящие свои вопросы на решение Политбюро, посылают их мне, в секретариат Политбюро. Я их изучаю и составляю проект повестки очередного заседания Политбюро. Но порядок дня заседания Политбюро утверждаю не я. Его утверждает тройка. Тут я неожиданно раскрываю подлинный механизм власти тройки.

Накануне заседания Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин собираются, сначала чаще на квартире Зиновьева, потом обычно в кабинете Сталина в ЦК. Официально – для утверждения повестки Политбюро. Никаким уставом или регламентом вопрос об утверждении повестки не предусмотрен. Ее могу утверждать я, может утверждать Сталин. Но утверждает ее тройка, и это заседание тройки и есть настоящее заседание секретного правительства, решающее, вернее, предпрещающее все главные вопросы. На заседании только четыре человека – тройка и я. Я докладываю вкратце всякий вопрос, который предлагается на повестку Политбюро, докладываю суть и особенности. Формально тройка решает, ставить ли вопрос на заседании Политбюро или дать ему другое направление. На самом деле члены тройки сговариваются, как этот вопрос должен быть решен на завтрашнем заседании Политбюро, обдумывают решение, распределяют даже между собой роли при обсуждении вопроса на завтрашнем заседании.

Я не записываю никаких решений, но все по существу предreshено здесь. Завтра на заседании Политбюро будет обсуждение, будут приняты решения, но все главное обсуждено здесь, в тесном кругу; обсуждено откровенно, между собой (друг друга нечего стесняться) и между подлинными держателями власти. Собственно, это и есть настоящее правительство, и моя роль первого докладчика по всем вопросам и неизбежного конфиденанта во всех секретах и закулисных решениях гораздо больше, чем простого секретаря Политбюро. Теперь я схватываю значение замечания Назаретяна.

Правда, ничто не вечно под луной, не вечна и тройка; но еще два года этот механизм власти будет действовать отлично.

Мой доклад на тройке по каждому вопросу должен быть быстр, ясен, краток и точен. Я вижу, что тройка мной довольна.

Мне подчинен секретариат Политбюро. Он, как и секретариат оргбюро, состоит из десятка преданных, отобранных и проверенных партийцев. Они тоже работают с раннего утра до поздней ночи. Неразбериха и хаос здесь еще больше, чем в оргбюро – здесь гораздо больше бумажных гор, наваленных в непонятном порядке. Найти какую-нибудь бумагу или справку удастся редко. А если удастся, то по

особой причине. Одна из сотрудниц, Люда Курындина, высокая и крупная девица, обладает поразительной и трудно объяснимой памятью. Нужно срочно найти доклад, который месяц или два тому назад прислал Высший совет народного хозяйства по вопросу о политике цен. Где он может быть? Просто найти его невозможно. Курындина погружается в сеанс ясновидения и наконец вспоминает, что, кажется, она его видела в одной из папок вон в том углу (огромного архива). Просматривают все эти папки, и иногда доклад действительно находится.

Я приступаю к такой же реорганизации при помощи картотек и индексов, как и в оргбюро. Но здесь это персоналом принимается лучше – секретариат оргбюро находится рядом в этом же этаже, и о чудодейственных результатах реформы здесь давно известно. Через 2–3 месяца все приходит в норму, всякая бумага находится мгновенно. Секретари ЦК и заведующие отделами, которые раньше считали совершенно безнадежным обращаться в пучины Политбюро, сейчас не только обращаются и немедленно получают нужную справку, но начинают ставить нас в пример своим подчиненным: «Почему у вас такая неразбериха? Почему вы ничего не можете найти? Смотрите, в секретариате Политбюро бумаг в десятки раз больше, чем у вас, а нужная справка всегда находится моментально».

Через три месяца персонал, как и в секретариате оргбюро, приходит к нормальной работе: все заканчивается не в час ночи, а в 5–6 часов дня. Но здесь разочарования нет. Здесь персонал себя простыми канцеляристами считать не может. Он знает, что весь день через его руки проходят все государственные секреты, он этим гордится, и всегда и во всяком случае считает себя персоналом особо доверенным.

Так как все материалы, которыми оперирует мой секретариат, «особо» и «совершенно секретны», то для их рассылки и обратного собирания существует специальный фельдъегерский корпус ГПУ. Это отобранные, вымуштрованные и выдрессированные чекисты, хорошо вооруженные, одетые с головы до ног во все кожаное. С материалом или протоколом Политбюро в запечатанном конверте они проникают сквозь все секретарские преграды к адресату – члену ЦК или наркому: «Товарищу такому-то, срочно, совершенно секретно, в собственные руки, с распиской на конверте». Если конверт адресован, скажем, Троцкому, они проникнут в кабинет Троцкого, никому и ни за что его не отдадут по дороге, вручат Троцкому конверт в руки и только в руки, будут стоять рядом, пока Троцкий его будет вскрывать, и не уйдут, пока Троцкий не распишется на конверте и не отдаст им конверт с распиской. Они выдрессированы так, что за порученный им конверт они отвечают головой, и взять у них конверт можно, только переступив через их труп. Секретариат Политбюро, где я работаю, помещается на 5-м этаже в доме ЦК на Старой площади. Заседания Политбюро происходят в Кремле в зале заседаний Совнаркома. В Кремль я и мои помощницы везем на большой машине драгоценный груз – материалы Политбюро, последние протоколы. Два вооруженных чекиста из фельдъегерского корпуса сопровождают нас в нашей машине. У них всегда напряженные лица – им внушено, что нет секретнее этих материалов и что их надо защищать до последней капли крови. Конечно, никто никогда на нас не нападал.

По прочтении протокола, выписки или материала Политбюро адресат – член ЦК (не имеющий права копировать протокол или выписку) тем же фельдъегерским корпусом отправляет прочтенное в секретариат Политбюро, где ведется опись, составляются акты рассылки и получения, а затем и уничтожение материалов (кроме того, что остается для архива).

Этим, а также размножением материалов, печатанием протоколов и выписок, архивами и всей прочей техникой занимаются мои сотрудники.

Среди сотрудниц есть очень красивая девушка, грузинка Тамара Хазанова, с большими, очень красивыми черными глазами. У меня еще не было никакого настоящего большого романа. От этого романа я вовремя удерживаюсь – Тамара столь же неумна, как красива. Через несколько лет она станет большой подругой жены Сталина, Нади Аллилуевой, но подругой не на равных началах, как, например, жена Молотова, Жемчужина, а так, что Тамара будет обожать Надю, как институтка, и ходить за ней по пятам. Она будет все время бывать у Нади и

возиться с ее детьми. Когда Надя покончит с собой и дети останутся на попечении прислуги, Тамара будет продолжать ими заниматься. Кажется, в это время ненадолго она будет пользоваться, так сказать, особым расположением Сталина. Но она глупа, и Сталин не сможет ее долго выносить. Занимая должность секретаря комфракции ВЦСПС, она в конце концов пленит члена Политбюро Андреева, который на ней и женится.

Теперь я вхожу в секретариат Сталина. У этого учреждения будет большая история. Сейчас во главе его номинально стоит Назаретян. Но он сейчас же уйдет в отпуск, который будет продолжен по болезни. Он вернется в конце года очень ненадолго, будет Сталиным послан в «Правду» с особыми поручениями (я об этом расскажу дальше – это громкая история) и обратно в аппарат ЦК не вернется.

Амаяк Назаретян – армянин, очень культурный, умный, мягкий и выдержанный. Он в свое время вел со Сталиным партийную работу на Кавказе. Со Сталиным на «ты» сейчас всего три человека: Ворошилов, Орджоникидзе и Назаретян. Все трое они называют Сталина «Коба» по его старой партийной кличке. У меня впечатление, что то, что его секретарь говорит ему «ты», Сталина начинает стеснять. Он уже метит во всероссийские самодержцы, и эта деталь ему неприятна. В конце года он отделяется от Назаретяна не очень элегантным способом. Похоже на то, что этим их личные отношения прервутся. Назаретян уедет на Урал – председателем областной контрольной комиссии, потом вернется в Москву и будет работать в аппарате ЦКК и комиссии советского контроля, но к Сталину больше приближаться не будет. В 1937 году Сталин его расстреляет.

Другой помощник Сталина, Иван Павлович Товстуха, наоборот, до самой своей смерти (в 1935 году) будет играть важную роль в сталинском секретариате и при Сталине. Но сейчас, на ближайшие месяцы, он в секретариате будет бывать мало – он выполняет особое поручение Сталина – организует «Институт Ленина». Постоянно работают в секретариате сейчас три помощника Сталина: я, Мехлис и Каннер. Когда мы определяем в наших разговорах сферы нашей работы, мы делаем это так: «Бажанов – секретарь Сталина по Политбюро; Мехлис – личный секретарь Сталина; Гриша Каннер – секретарь Сталина по темным делам; Товстуха – секретарь по полутемным».

Это требует пояснений. Сравнительно ясно все насчет меня и Мехлиса. Ничего темного в нашей работе нет. В частности, все, что адресуется и приходит в Политбюро, получаю я. Все, что приходит на имя Сталина лично, получает Мехлис и докладывает Сталину. Я, так сказать, обслуживаю Политбюро, Мехлис обслуживает Сталина. У Гриши Каннера официально функции неопределенно бытовые. Он занимается безопасностью, квартирами, автомобилями, отпусками, лечебной комиссией ЦК, ячейкой ЦК, на первый взгляд всякими мелочами. Но это – надводная часть его работы. Подводная – о ней можно только догадываться.

Я очень скоро выясняю основную линию работы Гриши Каннера. Управляет делами ЦК старый чекист, бывший член коллегии ВЧК Ксенофонтов. Он и его заместитель Бризановский, тоже чекист, работают по указаниям и приказам Гриши.

Как только я назначен секретарем Политбюро, Гриша Каннер (один из помощников Сталина) и Ксенофонтов заявляют, что мне необходимо переехать в Кремль или, по крайней мере, в 1-й Дом Советов. «Лоскутка» (Лоскутная гостиница), в которой я живу, – настоящий проходной двор. Туда входит кто хочет. Теперь на «органах безопасности» лежит задача охранять мою драгоценную персону. Это легко сделать в Кремле, куда люди входят только по выполнению ряда формальностей и под строгим контролем. В 1-м Доме Советов тоже есть комендатура, и тот, кто хочет к вам пройти, должен позвонить к вам из комендатуры и получить пропуск, а при выходе предъявить его в комендатуру с вашей отметкой. Довольно серьезно звучит еще аргумент, что я могу брать на дом иную срочную работу, а это все – чрезвычайно секретные документы Политбюро. «Лоскутка» для этого никак не подходит. Я соглашаюсь, но в Кремль я не хочу – там каждый ваш шаг на учете, там вы чихнуть не можете так, чтобы ГПУ этого не

знало. В 1-м Доме Советов все же немного свободнее. Я переселяюсь в 1-й Дом Советов. Там же живут и Каганович, и Каннер, и Мехлис, и Товстуха.

ЦК партии, бывший в 1922 году и первую половину 1923 года на Воздвиженке, переезжает теперь в огромный дом на Старой площади, 5-й этаж дома отведен для секретарей ЦК и наших секретных служб. Поднявшись на 5-й этаж, можно пойти по коридору направо – здесь Сталин, его помощники и секретариат Политбюро; пойти же по коридору налево – здесь Молотов и Рудзутак, их помощники и секретариат оргбюро. Если пойти по первому правому коридору, первая дверь налево ведет в бюро Каннера и Мехлиса. Только через него можно попасть в кабинет Сталина, и то не прямо, а пройдя сквозь комнату, где дежурит курьер (это крупная женщина, чекистка Нина Фоменко). Дальше идет кабинет Сталина. Пройдя его насквозь, попадаешь в обширную комнату, служащую для совещаний Сталина и Молотова. Сейчас же за ней кабинет Молотова. Сталин и Молотов много раз в течение дня встречаются и совещаются в этой средней комнате.

В кабинет Сталина можно войти только по докладу Мехлиса. Курьерша входит, только если Сталин вызывает звонком. Каннер или Товстуха, если им нужно видеть Сталина, спрашивают его предварительно по телефону, можно ли к нему. Только два человека имеют право входа к Сталину без доклада: я и Мехлис. Мехлис как личный секретарь. Я – потому что мне все время надо видеть Сталина по делам Политбюро, а дела Политбюро считаются самыми важными и срочными. Я вхожу к Сталину, кто бы у него ни был, что бы он ни делал, и прямо обращаюсь к нему. Он прерывает свои разговоры или свое заседание и занимается тем, что я ему приношу, – дела Политбюро срочнее всех других. Но это мое право и по отношению ко всем секретарям ЦК, и всем советским вельможам. Когда нужно, я вхожу на любое заседание (скажем, например, официального правительства, Совнаркома) или в кабинет любого министра, не ожидая и не докладываясь, и прямо обращаюсь к нему, что бы он ни делал, прерывая его. Это моя прерогатива как секретаря Политбюро – я прихожу только по делам Политбюро, а более важных и срочных нет.

В первые дни моей работы я десятки раз в день хожу к Сталину докладывать ему полученные для Политбюро бумаги. Я очень быстро замечаю, что ни содержание, ни судьба этих бумаг совершенно его не интересуют. Когда я его спрашиваю, что надо делать по этому вопросу, он отвечает: «А что, по-вашему, надо делать?» Я отвечаю – по-моему, то-то: внести на обсуждение Политбюро, или передать в какую-то комиссию ЦК, или считать вопрос недостаточно проработанным и согласованным и предложить ведомству его согласовать сначала с другими заинтересованными ведомствами и т. д. Сталин сейчас же соглашается: «Хорошо, так и сделайте». Очень скоро я прихожу к убеждению, что я хожу к нему зря и что мне надо проявлять больше инициативы. Так я и делаю. В секретариате Сталина мне разъясняют, что Сталин никаких бумаг не читает и никакими делами не интересуется. Меня начинает занимать вопрос, чем же он интересуется.

В ближайшие дни я получаю неожиданный ответ на этот вопрос. Я вхожу к Сталину с каким-то срочным делом как всегда, без доклада. Я застаю Сталина говорящим по телефону. То есть не говорящим, а слушающим – он держит телефонную трубку и слушает. Не хочу его прерывать, дело у меня срочное, вежливо жду, когда он кончит. Это длится некоторое время. Сталин слушает и ничего не говорит. Я стою и жду. Наконец я с удивлением замечаю, что на всех четырех телефонных аппаратах, которые стоят на столе Сталина, трубка лежит, и он держит у уха трубку от какого-то непонятного и мне неизвестного телефона, шнур от которого идет почему-то в ящик сталинского стола. Я еще раз смотрю. Все четыре сталинских телефона: этот – внутренний чекистский для разговоров внутри ЦК, здесь вас соединяет телефонистка ЦК; вот «Верхний Кремль» – это телефон для разговоров через коммутатор «Верхнего Кремля»; вот «Нижний Кремль» – тоже для разговоров через коммутатор «Нижнего Кремля»; по обоим этим телефонам вы можете разговаривать с очень ответственными работниками или с их семьями. «Верхний» соединяет больше служебные кабинеты, «Нижний» – больше квартиры; соединение происходит через коммутаторы, обслуживаемые

телефонистками, которые все подобраны ГПУ и служат в ГПУ.

Наконец, четвертый телефон – «вертушка». Это телефон автоматический с очень ограниченным числом абонентов (60, потом 80, потом больше). Его завели по требованию Ленина, который находил опасным, что секретные и очень важные разговоры ведутся по телефону, который всегда может подслушивать соединяющая телефонная барышня. Для разговоров исключительно между членами правительства была установлена специальная автоматическая станция без всякого обслуживания телефонистками. Таким образом, секретность важных разговоров была обеспечена. Эта «вертушка» стала, между прочим, и самым важным признаком вашей принадлежности к высшей власти. Ее ставят только у членов ЦК, наркомов, их заместителей, понятно, у всех членов и кандидатов Политбюро; у всех этих лиц в их кабинетах. Но у членов Политбюро также и на их квартирах.

Итак, ни по одному из этих телефонов Сталин не говорит. Мне нужно всего несколько секунд, чтобы, это заметить и сообразить, что у Сталина в его письменном столе есть какая-то центральная станция, при помощи которой он может включиться и подслушать любой разговор, конечно, «вертушек». Члены правительства, говорящие по «вертушкам», все твердо уверены, что их подслушать нельзя – телефон автоматический. Говорят они поэтому совершенно откровенно, и так можно узнать все их секреты.

Сталин подымает голову и смотрит мне прямо в глаза тяжелым пристальным взглядом. Понимаю ли я, что я открыл? Конечно, понимаю, и Сталин это видит. С другой стороны, так как я вхожу к нему без доклада много раз в день, рано или поздно эту механику я должен открыть, не могу не открыть. Взгляд Сталина спрашивает меня, понимаю ли я, какие последствия вытекают из этого открытия для меня лично. Конечно, понимаю. В деле борьбы Сталина за власть этот секрет – один из самых важных: он дает Сталину возможность, подслушивая разговоры всех Троцких, Зиновьевых и Каменевых между собой, всегда быть в курсе всего, что они затевают, что они думают, а это – оружие колоссальной важности. Сталин среди них один зрячий, а они все слепые. И они не подозревают, и годами не будут подозревать, что он всегда знает все их мысли, все их планы, все их комбинации, и все, что они о нем думают, и все, что они против него затевают. Это для него одно из важнейших условий победы в борьбе за власть. Понятно, что за малейшее лишнее слово по поводу этого секрета Сталин меня уничтожит мгновенно.

Я смотрю тоже Сталину прямо в глаза. Мы ничего не говорим, но все понятно и без слов. Наконец я делаю вид, что не хочу его отвлекать с моей бумагой и ухожу. Наверное, Сталин считает, что секрет я буду хранить.

Обдумав все это дело, я прихожу к выводу, что есть во всяком случае еще один человек, Мехлис, который тоже не может не быть в курсе дела – он тоже входит к Сталину без доклада. Выбрав подходящий момент, я ему говорю, что я, так же, как и он, знаю этот секрет, и только мы его, очевидно, и знаем. Мехлис, конечно, ожидал, что я рано или поздно буду знать. Но он меня поправляет: кроме нас знает и еще кто-то: тот, кто всю эту комбинацию технически организовал. Это – Гриша Каннер. Теперь между собой уже втроем мы говорим об этом свободно, как о нашем общем секрете. Я любопытствую, как Каннер это организовал. Он сначала отнекивается и отшучивается, но бахвальство берет верх, и он начинает рассказывать. Постепенно я выясняю картину во всех подробностях.

Когда Ленин подал мысль об устройстве автоматической сети «вертушек», Сталин берется за осуществление мысли. Так как больше всего «вертушек» надо ставить в здании ЦК (трех секретарям ЦК, секретарям Политбюро и оргбюро, главным помощникам секретарей ЦК и заведующим важнейшими отделами ЦК), то центральная станция будет поставлена в здании ЦК. И так как центр сети технически целесообразнее всего ставить в том пункте, где сгруппировано больше всего абонентов (а их больше всего на 5-м этаже – три секретаря ЦК, секретари Политбюро и оргбюро, Назаретян, Васильевский – уже семь аппаратов), то он ставится здесь, на 5-м этаже, где-то недалеко от кабинета Сталина.

Всю установку делает чехословацкий коммунист – специалист по автоматической телефонии. Конечно, кроме всех линий и аппаратов Каннер приказывает ему сделать и контрольный пост, «чтобы можно было в случае порчи и плохого функционирования контролировать линии и обнаруживать места порчи». Такой контрольный пост, при помощи которого можно включаться в любую линию и слушать любой разговор, был сделан. Не знаю, кто поместил его в ящик стола Сталина – сам ли Каннер или тот же чехословацкий коммунист. Но как только вся установка была кончена и заработала, Каннер позвонил в ГПУ Ягоде от имени Сталина и сообщил, что Политбюро получило от чехословацкой компартии точные данные и доказательства, что чехословацкий техник – шпион. Зная это, ему дали закончить его работу по установке автоматической станции; теперь же его надлежит немедленно арестовать и расстрелять. Соответствующие документы ГПУ получит дополнительно.

В это время ГПУ расстреливало «шпионов» без малейшего стеснения. Ягоду смутило все же, что речь идет о коммунисте – не было бы потом неприятностей. Он на всякий случай позвонил Сталину. Сталин подтвердил. Чехословацкого коммуниста немедленно расстреляли. Никаких документов Ягода не получил и через несколько дней позвонил Каннеру. Каннер сказал ему, что дело не кончено – шпионы и враги проникли в верхушку чехословацкой компартии; материалы по этому поводу продолжают быть чрезвычайно секретными и не выйдут из архивов Политбюро.

Ягода этим объяснением удовлетворился. Нечего и говорить, что обвинения были полностью выдуманы и никаких бумаг в архивах Политбюро по этому делу не было.

Передо мной встает проблема. Что я должен делать? Я – член партии. Я знаю, что один член Политбюро имеет возможность шпионить за другими членами Политбюро. Должен ли я предупредить этих остальных членов Политбюро?

Какие последствия это будет иметь для меня лично, не представляет для меня никаких сомнений. Погибну ли я жертвой «несчастливого случая» или ГПУ для Сталина смастерит обо мне дело, что я диверсант и агент английского империализма, Сталин во всяком случае со мной расправится. Для большой цели можно жертвовать собой. Стоит ли для этого? То есть для того, чтобы помешать одному члену Политбюро подслушивать разговоры других? Я решаю, что здесь не надо торопиться. Сталинский секрет я знаю: раскрыть его я всегда успею, если это будет очень важно. Пока я этой важности не чувствую – полгода пребывания в оргбюро унесли у меня уже немало иллюзий; я уже хорошо вижу, что идет борьба за власть, и довольно беспринципная; ни к одному из борющихся за власть я особых симпатий не чувствую. И, наконец, если Сталин подслушивает Зиновьева, то, может быть, Зиновьев каким-то образом в свою очередь подслушивает Сталина. Кто его знает? Я решаю: подождем, увидим.

Первое время моей работы секретарем Политбюро я чрезвычайно занят реорганизацией моего секретариата. Разбирая разные бумаги Политбюро, мимоходом наталкиваюсь на следы удивительных и интересных дел.

Вот, например, доклады ГПУ о постоянно производимых и тем не менее безрезультатных поисках. Не без труда добираюсь до смысла дела. Оказывается, по окончании Гражданской войны Политбюро, с одной стороны, констатировало, что решающую роль в ней сыграла конница, и следует уделить очень большое внимание ее улучшению. С другой стороны – что во время Гражданской войны коннозаводство в Советской России было полностью разрушено, поголовье конских заводов, и в том числе лучшие племенные производители, были полностью реквизированы воинскими частями и большей частью погибли на фронтах. Чтобы отремонтировать конницу, нужно было начинать с приобретения племенных жеребцов, чтобы восстановить коннозаводство. Но в это время – конец 1920 года, начало 1921 года – никакие страны советскую власть еще не признавали, никакой нормальной торговли с границей не было, никаких сумм для покупок за границей нельзя было депозировать в зарубежных банках – на них сейчас бы был наложен арест по жалобам иностранцев, ограбленных большевистской революцией. Как

быть? Не без труда был найден способ. Через темных дельцов, через которых сбывались за границу драгоценности, происходившие от ограбления советской властью всяких буржуев, удалось наладить нужную линию. Можно было закупить нужных жеребцов в Аргентине будто бы шведским коннозаводчиком, перевезти их нормально в Швецию на север, близ советской плохо охраняемой границы и там переправить их в Советскую Россию. Было выделено на эту операцию 7 миллионов долларов в американской валюте. Но так как операцию нельзя было вести через банки, надо было перевезти всю эту валюту в Аргентину. Доверить эту сумму темным дельцам было нельзя. Политбюро решило выделить старого большевика, не то члена, не то кандидата в члены ЦК, пользовавшегося полным доверием. Ему были изготовлены все нужные (фальшивые) документы, длинная цепь охраны и сопровождения из агентов иностранного отдела ГПУ, и доллары ему были вручены в крупных купюрах. Он выехал со своими долларами и на каком-то этапе пути вдруг исчез. Тщательное расследование ГПУ привело к полному убеждению, что он не пал жертвой несчастного случая или бандитизма. Было неоспоримо доказано, что он основательно подготовил свое исчезновение и сбежал со своими долларами. Политбюро приказало найти его во что бы то ни стало и сколько бы это ни стоило. Но никакие розыски не дали никаких результатов. Пропал, как в воду канул. В отчетах ГПУ он фигурировал под какой-то условной кличкой. В конце концов я мог бы установить его настоящее имя, основательно порывшись в архивах Политбюро, но для этого у меня не было времени.

Я решил, что я всегда успею установить, кто из старых очень крупных большевиков перестал с этой даты фигурировать в большевистской верхушке, во всех отчетах, списках членов ЦК и т. д. Но так этим и не занялся. Предоставляю решить эту загадку одному из историков партии или «кремленологов».

Заседания Политбюро происходили обычно в зале заседаний Совнаркома СССР. Почти во всю длину длинного, но не широкого зала тянется стол, вернее, два, так как посередине его проход. Стол покрыт красным сукном. В одном конце стола кресло председателя. Здесь заседал всегда Ленин. Теперь в этом кресле сидит Каменев, который председательствует на заседаниях Политбюро. Члены Политбюро сидят по обе стороны стола лицом друг к другу. По левую руку от Каменева – Сталин. По правую – Зиновьев. Между Каменевым и Зиновьевым к концу стола приставлен небольшой столик; за ним сижу я. На столике у меня телефон, которым я связан с моим персоналом, находящимся в соседнем зале, где ждут вызванные к заседанию Политбюро. Когда меня вызывает помощница, у меня вспыхивает лампочка. Я ей говорю, кого впустить в зал заседаний по каждому пункту повестки. Постановления Политбюро, которые я записываю на отдельных карточках, я передаю через стол сидящему напротив меня Сталину. Он просматривает и обычно возвращает мне – это значит: «нет возражений». Если вопрос очень важен и сложен, он передаст мне карточку через Каменева, который просматривает и ставит птичку («согласен»).

За Сталиным и Зиновьевым сидят остальные члены Политбюро. Обычно рядом с Зиновьевым Бухарин, за ним Молотов (он – кандидат), за ним Томский. За Сталиным Рыков, за ним обычно Цюрупа – он не член Политбюро, но он заместитель председателя Совнаркома и член ЦК: еще с Ленина повелось, что он всегда участвует в заседаниях Политбюро скорее для того, чтобы быть в курсе решений, чем с правом совещательного голоса; правда, выступает он редко, больше слушает. За ним Троцкий. Калинин то за ним, то за Томским. В самом конце зала закрытая дверь в соседний зал.

Соседний зал, в котором ждут вызванные, полон народу. Здесь всегда почти все правительство (наркомы и их заместители) в полном составе. На обычном заседании Политбюро обсуждается добрая сотня вопросов, касающихся почти всех ведомств. Все вызванные ходят, разговаривают, курят, слушают анекдоты, которые сочиняет и рассказывает им Радек, и пользуются случаем для обсуждения и решения всяких междуправительственных дел. На заседание впускаются только лица, вызванные по данному вопросу. Входят в зал рысцой – время Политбюро дорого. Вопрос окончен – вызванные по нему без церемонии выставляются из зала.



заседаний.

Каменев председательствует превосходно. Очень хорошо руководит прениями, прерывает лишние разговоры, быстро приходит к решению. Перед ним хронометр; на листе бумаги он отмечает время, отпускаемое каждому оратору, время начала выступления и конца. Сталин никогда не председательствует – он и не был бы способен это делать. На заседании члены Политбюро все время обмениваются записочками на особых маленьких бланках, озаглавленных «К заседанию Политбюро».

Всегда хорошо запоминается что-то новое. О большинстве из сотен заседаний Политбюро, на которых я секретарствовал, мне трудно что-либо вспомнить – стало рутиной. Но первое заседание вижу ясно.

Заседание назначено на десять часов. Без десяти десять я на месте, проверяю, все ли в порядке, снабжены ли члены Политбюро нужными материалами. Без одной минуты десять с военной точностью входит Троцкий и садится на свое место. Члены тройки входят через три-четыре минуты один за другим – они, видимо, перед входом о чем-то совещались. Первым входит Зиновьев, он не смотрит в сторону Троцкого, и Троцкий тоже делает вид, что его не видит, и рассматривает бумаги. Третьим входит Сталин. Он направляется прямо к Троцкому и размашистым широким жестом дружелюбно пожимает ему руку. Я ясно ощущаю фальшь и ложь этого жеста; Сталин – ярый враг Троцкого и его терпеть не может. Я вспоминаю Ленина: «Не верьте Сталину: пойдет на гнилой компромисс и обманет». Но мне еще придется много вещей узнать о моем патроне.

То, что члены тройки на заседании сидят в конце стола рядом друг с другом, чрезвычайно облегчает им технику согласовывания совместных решений – обмен записочками, текст которых остальные члены Политбюро практически не видят, и замечаниями вполголоса, взаимная поддержка – пока тройка работает в полном согласии, и механизм ее не имеет перебоев.

Каменев не только хорошо ведет заседания, он поддерживает живой тон, часто острит; кажется, этот тон идет еще со времен Ленина. Зиновьев полулежит в своем кресле, часто запускает руку в шевелюру сомнительной чистоты, вид у него скучающий и не очень довольный. Сталин курит трубку, часто поднимается и ходит вдоль стола, останавливаясь перед ораторами. Говорит мало.

## Глава 5

### Наблюдения секретаря политбюро

*Германская революция. Расширение Реввоенсовета. Свобода внутри партии. Партийный бюрократизм и маневры вокруг него. Дискуссия. Правая оппозиция и левый Троцкий. Метод Сталина. Сталин — антисемит. Поскребышев*

Недели через две после начала моей работы в Политбюро, 23 августа 1923 года, я секретарствую на особом, чрезвычайно секретном заседании Политбюро, посвященном только одному вопросу – о революции в Германии. На заседании присутствуют члены и кандидаты Политбюро, и кроме того Радек, Пятаков и Цюрупа. Радек, член исполкома Коминтерна, делает доклад о быстро растущей революционной волне в Германии. Первым после него берет слово Троцкий. «Хронически воспаленный Лев Давыдович», как называют его злые языки, чувствует себя в своей стихии и произносит сильную речь, полную энтузиазма.

– Вот, товарищи, наконец, эта буря, которую мы столько лет ждали с нетерпением и которая призвана изменить лицо мира. События, которые идут, будут иметь колоссальное значение. Германская революция – это крушение капиталистического мира. Но надо видеть действительность, как она есть. Для нас это игра ва-банк. Мы должны поставить на карту не только судьбу германской революции, но и существование Советского Союза. Если германская революция удастся, капиталистическая Европа не сможет ее допустить и попытается раздавить ее силой оружия. Мы со своей стороны должны бросить в борьбу все наши силы, так как исход борьбы решит все. Или мы выиграем, и победа мировой революции обеспечена, или мы проиграем, и тогда проиграем и первое пролетарское государство в мире, и нашу власть в России. Значит, мы должны проявить огромную энергию.

Мы слишком запоздали с нашей подготовкой. Германская революция идет. Не слышите ли вы ее железную поступь? Не чувствуете ли вы, как высоко поднялась волна? Надо спешить, чтобы катаклизм не застал нас врасплох. Не чувствуете ли вы, что это уже вопрос недель?

Политбюро ничуть не разделяло энтузиазма Троцкого. Нет, они всего этого не видели и не чувствовали. Конечно, они были согласны, что германская революция – дело очень серьезное, но совсем не согласны с тем, чтобы связать успех германской революции с самим существованием советской власти в России. И потом, действительно ли события в Германии стоят уже на повестке дня?

Зиновьев этого совсем не думает. Вопрос недель? Как всегда, темперамент товарища Троцкого его увлекает в сторону от реальности. Хорошо, если это вопрос месяцев: и вообще, в таких важных вещах надо быть осторожным и действовать обдуманно. Сталин, не выходя из общих и неопределенных фраз, добавил в том же духе, что пока ни о какой революции в Германии говорить не приходится. Этой осенью? Хорошо, если революционная ситуация разовьется к весне.

Но тройка, стараясь подчеркнуть, что она совсем не согласна с прогнозами Троцкого и, во всяком случае, на поводу у него не пойдет, все же почувствовала, что революционная волна в Германии поднимается, и был решен ряд мер для ее всяческого развития.

Была создана комиссия ЦК из четырех членов для руководства всей работой по германской революции. В нее входили Радек, Пятаков, заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства, Уншлихт, заместитель председателя ГПУ, и Вася Шмидт, нарком Труда. Они сейчас же отправились в Германию с фальшивыми паспортами в порядке подпольной работы.

Функции среди них были распределены так. Радек должен был руководить

Центральным комитетом Германской компартии, передавая ему директивы Москвы как директивы Коминтерна. Шмидт (немец по происхождению) должен был руководить организацией революционных ячеек в профессиональных союзах, то есть тех заводских комитетов, которые после переворота должны были стать советами и на своем чрезвычайном конгрессе должны были провозгласить советскую власть в Германии. На Пятакова была возложена общая координация всей работы и связь с Москвой. На Уншлихта была возложена организация отрядов вооруженного восстания для переворота, их рекрутирование и снабжение оружием. На него же была возложена организация германской чеки для истребления буржуазии и противников революции после переворота. Наконец, на посла в Берлине Крестинского было возложено финансирование германской революции из коммерческих фондов Госбанка, депозированных в Берлине для коммерческих операций.

В первых же докладах из Берлина Пятаков донес о низком качестве руководства германской компартии. По его мнению, ни в смысле организационном, ни политическом лидеры компартии были далеко не на высоте положения. Их вызвали в Москву. На Политбюро их не пускали, ими занимались Зиновьев и Бухарин. Дело осложнилось тем, что кроме официального руководства (группы Брандлера), подобранного Коминтерном, в верхах германской компартии была другая группа, имевшая по существу больше веса – группа Маслова – Рут Фишер. Она держала себя по отношению к возглавлению Коминтерна очень независимо. Зиновьеву это чрезвычайно не нравилось, и он ставил на Политбюро вопрос даже так, что надо предъявить Маслову ультиматум: или он получит большую сумму денег, выйдет из партии и уедет из Германии, или Уншлихту будет дан приказ его ликвидировать. Но Маслов держался твердо и ни на какие компромиссы не шел.

Пока шли все эти торги, начало выясняться, что германская компартия совершенно не подготовлена к быстрым и решительным действиям, и работа ее хромает на все четыре ноги. Наоборот, аппарат полпредства, консульств и торгпредства в Германии действовал быстро и образцово, развертывая чрезвычайно активную и плодотворную работу. Политбюро перенесло центр тяжести на него. Полпред в Германии Крестинский был включен пятым членом в комиссию ЦК. Полпредство и торгпредство занялись и покупкой, и транспортом оружия, и организационной работой. В России была произведена мобилизация всех коммунистов немецкого происхождения или говорящих по-немецки, и их отправляли в Германию на подпольную работу.

Доклады Пятакова становились все более оптимистичными. Чрезвычайно ухудшавшееся экономическое положение Германии возбуждало все большее недовольство рабочих масс. Умелая и широкая пропаганда подливала масла в огонь, и революционная волна быстро росла. Политбюро собиралось все чаще, чтобы обсуждать разнообразные практические вопросы революционной работы. Доклады Пятакова были точны и подробны. Средства ассигновались огромные – решено средств не жалеть. Первоначальная оппозиция тройки Троцкому была забыта – теперь все были согласны, что германская революция на носу.

В конце сентября состоялось чрезвычайное заседание Политбюро, настолько секретное, что на него были созваны только члены Политбюро и я. Никто из членов ЦК на него допущен не был. Оно было созвано для того, чтобы фиксировать дату переворота в Германии. Он был назначен на 9 ноября 1923 года.

План переворота был таков. По случаю годовщины русской октябрьской революции рабочие массы должны были выйти на улицу на массовые манифестации. Красные сотни Уншлихта должны были провоцировать вооруженные конфликты с полицией, чтобы вызвать кровавые столкновения и репрессии, раздуть негодование рабочих масс и произвести общее рабочее восстание.

По заранее разработанному плану отряды Уншлихта должны были занять важнейшие государственные учреждения. Должно было быть создано советское революционное правительство из членов ЦК германской компартии; вслед за тем экстренный конгресс заводских комитетов должен был провозгласить советскую

власть.

Решение о дате переворота не должно было быть известно никому даже из членов Центрального комитета партии. Я изготовил протокол заседания в такой форме:

*Слушали:*

*Постановили:*

*Вопрос т. Зиновьева.*

*См. особую папку.*

Это – все, что было сообщено членам ЦК как протокол заседания Политбюро. Все же принятые решения я записал как постановление Политбюро и поместил в мою «особую папку».

Несколько слов об «особой папке». В моем кабинете находился несгораемый сейф, единственный ключ от которого был у меня. В сейфе хранились особо секретные постановления Политбюро, которые должны были быть известны только членам Политбюро. Члены ЦК, которые хотели бы с ними ознакомиться, должны были просить на это разрешения Политбюро, и только с этого разрешения я мог показать им соответствующее постановление. Надо сказать, что за все время моей работы в Политбюро такого случая не было.

Но германская революция 1923 года не удалась. В октябре стало ясно, что за подготовку взялись слишком поздно, что сроки были рассчитаны плохо, что революционная волна в своем апогее и начинает идти на убыль, а нужная организационная и пропагандистская работа требуют еще по крайней мере двух-трех месяцев. Скоро революционная волна начала спадать так быстро, что Политбюро должно было констатировать, что шансов на переворот практически нет и что его надо отложить до лучших времен. Троцкий сделал ряд острых критических замечаний насчет того, что Зиновьев и Коминтерн все проглядели и занялись всем слишком поздно, а Зиновьев и Сталин отделались разговорами о том, что Троцкий переоценил остроту революционной ситуации и что в конце концов правы оказались они. В Коминтерне всю вину возложили на неспособное руководство группы Брандлера, и после долгой внутренней грызни в апреле 1924 года объявили группу Брандлера «правой» и исключили ее из партии. Руководство немецкой компартией было передано группе Маслова – Рут Фишер. Но затем в борьбе тройки с Троцким эта группа склонилась на сторону Троцкого, и ее скоро объявили троцкистской и от руководства компартией не без труда отстранили. В 1927 году она окончательно возглавила троцкистскую организацию в Германии.

В сентябре тройка решила нанести первый серьезный удар Троцкому. С начала Гражданской войны Троцкий был организатором и бессменным руководителем Красной армии и занимал пост народного комиссара по военным делам и председателя Реввоенсовета республики. Тройка наметила его отстранение от Красной армии в три этапа. Сначала должен быть расширен состав Реввоенсовета, который должен был быть заполнен противниками Троцкого так, чтобы он оказался в Реввоенсовете в меньшинстве. На втором этапе должно было быть перестроено управление Военного Министерства, снят заместитель Троцкого Склянский и на его место назначен Фрунзе. Наконец, третий этап – снятие Троцкого с поста Наркомвоена.

23 сентября на пленуме ЦК тройка предложила расширить состав Реввоенсовета. Новые введенные в него члены были все противниками Троцкого. В числе нововведенных был и Сталин. Значение этой меры было для Троцкого совершенно ясно. Он произнес громовую речь: предлагаемая мера – новое звено в цепи закулисных интриг, которые ведутся против него и имеют конечной целью

устранение его от руководства революцией. Не имея никакого желания вести борьбу с этими интригами и желая только одного – служить делу революции, он предлагает Центральному комитету освободить его от всех его чинов и званий и позволить пойти простым солдатом в назревающую германскую революцию. Он надеется, что хоть в этом ему не будет отказано.

Все это звучало громко и для тройки было довольно неудобно. Слово берет Зиновьев с явным намерением придать всему оттенок фарса и предлагает его также освободить от всех должностей и почестей и отправить вместе с Троцким солдатами германской революции. Сталин, окончательно превращая все это в комедию, торжественно заявляет, что ни в коем случае Центральный комитет не может согласиться рисковать двумя такими драгоценными жизнями и просит Центральный комитет не отпускать в Германию своих «любимых вождей». Сейчас же это предложение было самым серьезным образом проголосовано. Все принимало характер хорошо разыгрываемой пьесы, но тут взял слово «голос из народа», ленинградский цекист Комаров с нарочито пролетарскими манерами. «Не понимаю только одного, почему товарищ Троцкий так кочевряжится». Вот это «кочевряжится» окончательно взорвало Троцкого. Он вскочил и заявил: «Прошу вычеркнуть меня из числа актеров этой унижительной комедии». И бросился к выходу.

Это был разрыв. В зале царил тишина исторического момента. Но полный негодования Троцкий решил для вящего эффекта, уходя, хлопнуть дверью.

Заседание происходило в Тронном зале Царского Дворца. Дверь зала огромная, железная и массивная. Чтоб ее открыть, Троцкий потянул ее изо всех сил. Дверь поплыла медленно и торжественно. В этот момент следовало сообразить, что есть двери, которыми хлопнуть нельзя. Но Троцкий в своем возбуждении этого не заметил и старался изо всех сил ею хлопнуть. Чтобы закрыться, дверь поплыла так же медленно и торжественно. Замысел был такой: великий вождь революции разорвал со своими коварными клеветами и, чтобы подчеркнуть разрыв, покидая их, в сердцах хлопает дверью. А получилось так: крайне раздраженный человек с козлиной бородкой барахтается на дверной ручке в непосильной борьбе с тяжелой и тупой дверью. Получилось нехорошо.

С этого решения пленума о Реввоенсовете борьба между тройкой и Троцким вступает в открытую фазу. Эта борьба была основным занятием тройки в последние месяцы 1923 года. Главные политические документы этой эпохи посвящены этой борьбе и ее отражают. Поэтому и позднейшие историки партии понимают внутривнутрипартийные события этого времени как борьбу большинства Центрального комитета с оппозицией и оппозицией именно троцкистской. Действительность была совсем иной, и она была много сложнее.

Чтобы понять историческую истину того времени, надо сделать несколько предварительных пояснений.

Нэп, то есть отступление Ленина от коммунизма к некоторой практике свободного рынка и появлению стимула свободного хозяйствования, привел к быстрому улучшению условий жизни. Крестьяне снова начали сеять, частная торговля и кустарничество начали доставлять на рынок давно исчезнувшие товары, страна начала оживать. Начавшаяся денежная реформа вела к замене ничего не стоивших миллиардов солидным и твердым червонным рублем. Но казенное и бюрократическое администрирование, привыкшее к командованию времен вчерашнего интегрального коммунизма, не поспевало за жизнью. В частности, снабжение городов, рабочих и служащих было еще очень плохо. Недовольство рабочих, единственного класса, смеявшего свое недовольство выражать, проявилось в волне забастовок, которые прошли летом 1923 года. Это сейчас же отразилось созданием в партии «Рабочей правды» и «Рабочей группы» Богданова и Г. Мясникова. Эти группы обвинили партийный аппарат в бюрократическом перерождении и в полном равнодушии к интересам рабочих.

В это время политическая жизнь не выходила из рамок партии. Страна была

разделена на два лагеря. Один – огромная беспартийная масса, совершенно бесправная и целиком отданная во власть ГПУ. Эта масса была раздавлена диктатурой, сознавала, что не имеет никаких прав не только ни на какую-либо политическую жизнь, но даже и на какое-либо правосудие. Идея правосудия была упразднена. Был суд, рассматриваемый как орудие диктатуры и руководившийся в теории классовым сознанием и нуждами классовой борьбы, а на практике полным произволом мелких партийных сатрапов. И то этот жалкий суд имел отношение только к мелким бытовым и уголовным делам. Во всем же главном и основном, рассматриваемом как область политическая, «сфера классовой борьбы», царил полный произвол органов ГПУ, которые могли арестовать кого угодно по каким-то только ГПУ известным подозрениям, расстрелять человека по решению какой-то никому не известной «тройки» или по ее безапелляционному постановлению загнать его на 10 лет истребительной каторги, официально называемой «концентрационным лагерем». Все население дрожало от страха перед этой организацией давящего террора.

Наоборот, во втором лагере, состоявшем из нескольких сот тысяч членов коммунистической партии, царила довольно большая свобода. Можно было иметь свое мнение, не соглашаться с правящими органами, оспаривать их решения.

Эта «внутрипартийная демократия» шла еще от дореволюционных времен, когда она была явлением нормальным для партии, участие в которой было делом свободного желания ее членов. В эти дореволюционные времена в партии тоже шла жестокая борьба за руководство, которое, кстати, обеспечивало право распоряжаться партийной кассой и право обладания органами печати партии. Никакого ГПУ еще не было, нужно было пытаться выиграть убеждением. Это даже Ленину далеко не всегда удавалось, хотя партия (и ее основной характер – партии профессиональных революционеров) были детищем Ленина. Не раз Ленин оставался в меньшинстве (и терял и кассу, и партийную прессу) и с большим трудом и проведением трудных и не всегда красивых комбинаций должен был снова их отвоевывать. Но эта свободная борьба внутри партии создала длительную привычку внутрипартийной свободы, которая еще продолжалась (она исчезнет лишь через несколько лет, когда Сталин возьмет все в свои руки).

С другой стороны, так как политическая жизнь была возможна только внутри партии, то социальные процессы, происходившие в стране, могли выявиться наружу лишь косвенным путем, через влияние и давление беспартийной массы и ее жизни на членов партии. Это было сравнительно нетрудно во влиянии рабочих слоев, так как проникнутая марксистской фразеологией партия постоянно искала контакта с рабочими. Отсюда довольно быстрое проникновение и оживление в начале осени 1923 года групп разной «рабочей оппозиции» в партии. Отсюда же довольно живая реакция на них партийного руководства. Опасаясь, чтобы Троцкий не завладел этой оппозицией, члены большинства ЦК постарались захватить инициативу. Троцкий на заседаниях Политбюро начал свирепо атаковать партийную бюрократию. Хорошо помню сцену, как глядя в упор на Молотова, сидевшего против него по другую сторону стола, Троцкий пустился в острую филиппику против «бездушных партийных бюрократов, которые каменными задами душат всякое проявление свободной инициативы и творчества трудящихся масс». Молотову имя которого Троцкий не называл, надо было смолчать и сделать вид, что речь идет совсем не о нем, и еще лучше одобрительно кивать головой. Вместо этого он, поправляя пенсне и заикаясь, сказал: «Не всем же быть гениями, товарищ Троцкий».

Зрелище было жалкое; мне было неловко за Молотова. Кстати, как пишется история: в 1929 году, очутившись за границей, я эту сцену описал в печати; каково было мое удивление, когда в 1932 году в книжке «Советские портреты» Дмитриевского, советского дипломата, бежавшего от Советов, был приведен весь мой текст, но вслед за этим по Дмитриевскому Молотов принял вызов. Спокойно улыбаясь. Тихо, как всегда, немного заикаясь, сказал: «Не всем быть гениями, товарищ Троцкий; а сильнейший всегда тот, кто побеждает».

Конечно, ничего подобного Молотов не добавлял, но для Дмитриевского 1932 года

Троцкий был фанатический и иступленный еврейский революционер, а Молотов – твердый и превосходный руководитель нового курса России, будто бы вступившей на путь патриотизма и национализма; откуда это вымышленное добавление.

Чтобы завладеть инициативой, большинство Политбюро торжественно осудило бюрократизм в партии и немедленно создало комиссию во главе с Дзержинским, которая должна была разобрать вопросы о бюрократизме в партии, и об источниках недовольства трудящихся масс. На сентябрьском пленуме ЦК комиссия Дзержинского сделала доклад о внутрипартийной политике, сведя вопрос о бюрократии к тому, что во многих партийных организациях господствует «назначенство» вместо выборов.

Более серьезен был ее доклад о «ножницах цен». Партия установила слишком высокие цены на промышленные товары и слишком низкие на сельскохозяйственные продукты. Это была политика восстановления и стройки промышленности за счет крестьянства. Она вызвала резкое недовольство крестьянства, которое чувствовало себя обманутым: ему дали свободу продавать свои излишки на рынке, но государство, владевшее главной частью торгового аппарата, заставляло его продавать хлеб слишком дешево и платить за промышленные товары слишком дорого. Пленум поручил Политбюро принять «практические меры» по этому поводу (то есть от постановки всей большой проблемы на время отмахнулись).

8 октября Троцкий присылает в Политбюро письмо будто бы по этим экономическим вопросам. На самом деле суть письма была в острой атаке против партийной бюрократии и в констатировании того, что не партия принимает какие-либо решения, а что во всем командуют бюрократы – партийные секретари. Одновременно это письмо начало широко в партии распространяться сторонниками Троцкого. Тройка предпочла не выступать самой, а предписала послушной ЦКК запретить распространение письма Троцкого, что ЦКК и сделала 15 октября. Но 15 же октября в ЦК поступило так называемое «заявление 46» о внутрипартийном режиме. Это письмо шло от союза двух групп: старой группы децистов (демократического централизма), в которой наибольшую роль играли Осинский, В. Смирнов, Дробнис и Сапронов, и новой группы единомышленников Троцкого во главе с Пятаковым, Преображенским, Иосифом Коссиором и Белобородовым.

Собственно, в этих письмах и заявлениях ничего особенного не было, и они совсем не отражали процессов, происходивших в глубине партии. ЦК решил от них отделаться резолюцией, и в конце октября Пленум ЦК, осудив их, решил, что дискуссия в партии по всем этим вопросам нецелесообразна, а чтобы показать, что ЦК и сам прежде всего против бюрократизма, 5 ноября было созвано объединенное заседание Политбюро и Президиума ЦКК, которое приняло единогласно резолюцию «о партийном строительстве», в которой торжественно провозглашалась преданность партийного руководства внутрипартийной демократии и так же торжественно осуждался бюрократизм в партии. Чтобы разъяснить все это партии, Зиновьев написал статью «Новые задачи партии», которая сводилась к разговорам об усилении внутрипартийной жизни и опубликовал ее в «Правде» от 7 ноября. Политбюро ожидало успокоения. Но вместо этого в партийных организациях начали происходить какие-то бурные и непонятные процессы. В частности во многих организациях столицы голосования происходили не в пользу ЦК, а против него. Тогда Политбюро в середине ноября решило открыть партийную дискуссию и, сосредоточив энергичную кампанию против Троцкого, разгромить его и оппозицию.

Началась знаменитая «односторонняя дискуссия». И в статьях прессы, и в выступлениях на ячейках ЦК, мобилизовав все силы против Троцкого и его «троцкистской» оппозиции, обвинял их во всех смертных грехах. То, что казалось во всем этом наиболее удивительным, это то, что Троцкий молчал, в дискуссии участия не принимал и на все обвинения никак не отвечал. На заседаниях Политбюро он читал французские романы, и когда кто-либо из членов Политбюро к нему обращался, делал вид, что он этим чрезвычайно удивлен.

Эту загадку я, получая много самых разнообразных материалов о том, что происходило в партии, разгадал очень быстро. Дело было в том, что оппозиция осени 1923 года (так называемая первая оппозиция) была совсем не троцкистская. Вообще надо относиться чрезвычайно скептически к политическим контурам оппозиций всех этих годов. Обычно дело шло о борьбе за власть. Противник обвинялся в каком-то уклоне (правом, левом, кулацком, недооценке чего-то, переоценке, забвении чего-то, отступлении от заветов Ильича и т. д.), а на самом деле все это было выдуманно и раздуто: победив противника, сейчас же без всякого стеснения принималась его политика (которая только что объявлялась преступной, меньшевистской, кулацкой и т. д.). Вообще говоря, Троцкий был, так сказать, «левее», чем ЦК, то есть был более последовательным коммунистом. Между тем ЦК приклеило его к оппозиции «правой». Эта правая оппозиция представляла нечто вроде неудавшегося идейного термидора, реакции совершенно стихийной, развившейся внутри партии спонтанно, без программы, без вождей. Ни Троцкий, ни 46, ни рабочие оппозиции ее никак не выражали. Это была оппозиция коммунизму со стороны примкнувших к партии в первые годы революции элементов главным образом интеллигентских и идеалистических, которые первые увидели, что их надежды на построение какого-то лучшего общества оказались иллюзиями, что их надежды на то, что революция делается для какого-то общего блага, совершенно не оправдались, и что происходит образование какого-то нового бюрократического класса, который присваивает себе все выгоды от революции, сводя рабочих и крестьян, для которых будто бы делалась революция, в положение бесправных и нищих рабов. Так сказать «за что боролись?».

Реакция эта не нашла ни лидеров, ни нужных формулировок, и была выражена лишь в массовом протесте и массовых голосованиях против ЦК. Троцкий быстро разгадал правую сущность оппозиции. Но тут его положение стало очень трудным. Если бы он был беспринципным оппортунистом, став во главе оппозиции и приняв ее правый курс, он, как скоро выяснилось, имел все шансы на завоевание большинства в партии и на победу. Но это означало курс вправо, термидор, ликвидацию коммунизма. Троцкий был фанатичный и стопроцентный коммунист. На этот путь он стать не мог. Но и открыто заявить, что он против этой оппозиции, он не мог – он бы потерял свой вес в партии – и у атаковавших его последователей ЦК и у оппозиции, и остался бы изолированным генералом без армии. Он предпочел молчать и сохранять двусмысленность.

Трагедия была в том, что оппозиция, зародившаяся стихийно, не имевшая ни лидеров, ни программ, должна была принять Троцкого, которого ей навязывали как лидера. Это вскоре обеспечило ее быстрое поражение.

Но пока дискуссия и голосования на ячейках шли бурным темпом и все более обращались в поражение ЦК. Троцкий решил попробовать повернуть положение в свою пользу, а заодно дать оппозиции свои лозунги. 8 декабря он прислал в ЦК письмо. Оно было одновременно зачитано на партактиве Краснопресненского района и опубликовано в «Правде» 11 декабря в форме статьи «Новый курс». В ней он обвинял партийную верхушку в бюрократическом перерождении.

В середине декабря ГПУ робко пытается поставить Политбюро в известность о том, что в большей части партийных организаций большинство не на стороне ЦК. Я констатирую, что в огромной ячейке самого ЦК большинство голосует против ЦК. Я запрашиваю секретаря Московского комитета партии Зеленского о результатах голосований в Московской организации. Я получаю паническую сводку – ЦК потерял большинство в столичной организации, наиболее важной в стране; по ней равняются провинциальные организации.

На заседании тройки (утверждение повестки) я докладываю рапорт Зеленского. Для тройки это неожиданный удар.

Конечно, вопросу придается первостепенное значение. Зиновьев произносит длинную речь. Это – явная попытка нащупать и сформулировать общую линию политической стратегии по схемам Ленина. Но он хочет дать и свое – он хочет оправдать свою позицию политического лидера; он говорит о «философии эпохи»,



об общих стремлениях (которые он находит в общих желаниях равенства и т. д.). Потом берет слово Каменев. Он обращает внимание на то, что политические процессы в стране могут быть выражены только через партию; обнаруживая немалый политический нюх, он подозревает, что оппозиция – правая; переходя на ленинско-марксистский жаргон, он говорит, что эта оппозиция отражает силу возрождающихся враждебных коммунизму классов – зажиточного крестьянина, частного и интеллигенции; надо вернуться в ленинской постановке вопроса о смычке рабочего класса и крестьянства.

Пока речи идут на этих высотах, Сталин молчит и сосет свою трубку. Собственно говоря, его мнение Зиновьеву и Каменеву не интересно – они убеждены, что в вопросах политической стратегии мнение Сталина интереса вообще не представляет. Но Каменев человек очень вежливый и тактичный. Поэтому он говорит: «А вы, товарищ Сталин, что вы думаете по этому вопросу?» – «А, – говорит товарищ Сталин, – по какому именно вопросу?» (Действительно, вопросов было поднято много). Каменев, стараясь снизить до уровня Сталина, говорит: «А вот по вопросу, как завоевать большинство в партии». – «Знаете, товарищи, – говорит Сталин, – что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса». Даже Каменев, который уже должен знать Сталина, выразительно откашливается.

На следующий день Сталин вызывает к себе в кабинет Назаретяна и долго с ним совещается. Назаретян выходит из кабинета довольно кислый. Но он человек послушный. В тот же день постановлением оргбюро он назначен заведующим партийным отделом «Правды» и приступает к работе.

В «Правду» поступают отчеты о собраниях партийных организаций и результаты голосований, в особенности по Москве. Работа Назаретяна очень проста. На собрании такой-то ячейки за ЦК голосовало, скажем, 300 человек, против – 600; Назаретян переправляет: за ЦК – 600, против – 300. Так это и печатается в «Правде». И так по всем организациям. Конечно, ячейка, прочтя в «Правде» ложный отчет о результатах ее голосования, протестует, звонит в «Правду», добивается отдела партийной жизни. Назаретян вежливо отвечает, обещает немедленно проверить. По проверке оказывается, «что вы совершенно правы, произошла досадная ошибка, перепутали в типографии; знаете, они очень перегружены; редакция „Правды“ приносит вам свои извинения; будет напечатано исправление». Каждая ячейка полагает, что это единичная ошибка, происшедшая только с ней, и не догадывается, что это происходит по большинству ячеек. Между тем постепенно создается общая картина, что ЦК начинает выигрывать по всей линии. Провинция становится осторожнее и начинает идти за Москвой, то есть за ЦК.

Между тем, на Политбюро разражается буря. Правда, буря в стакане воды.

Дело в том, что Мехлис и Каннер, нуждаясь в помощниках, берут в помощь себе сотрудников с неопределенными функциями (поди, в самом деле, определи функции самого Каннера). Каннеру помогает молодой любезный еврей, партийная кличка которого Бомбин. Он очень мил, его все называют «Бомбик», он хорошо поет арию Лознгина «О, лебедь мой» и тщательно скрывает, что может иметь какие-либо связи с ГПУ (в особенности от меня, так как мои плохие отношения с ГПУ уже в это время всем известны).

Мехлис взял к себе в помощь двух человек, во-первых, Маховева, который был управляющим делами ЦК комсомола и теперь по возрасту ушел из комсомола и переходит на партийную линию (он кончит тем, что будет в момент самоубийства Орджоникидзе его личным и преданным секретарем); во-вторых, Южака, чрезвычайно круглолицего и краснолицего молодого еврея.

Назаретян – человек очень аккуратный. Он не только переправляет результаты голосования организаций, но, чтобы Сталин отдавал себе правильный отчет в истинном положении дел, посылает Сталину сводки и о том, как голосуют на

самом деле, и о том, как «Правда» это переделывает.

Мехлис докладывает эти сводки Сталину. Совершенно неожиданно для сталинского секретариата Южак оказывается скрытым троцкистом. Сводки болтаются на столе Мехлиса. Южак их похищает и доставляет Троцкому. Троцкий устраивает скандал на заседании Политбюро. Всем ясно, что Назаретян работает по сталинскому поручению. Члены Политбюро делают вид, что разделяют справедливое негодование Троцкого, и Сталин первый. Он обещает немедленно произвести расследование. Расследование длится неделю, но к его концу вообще уже все кончено, нужный результат достигнут, машина пошла в обратную сторону, большинство переходит на сторону ЦК, оппозиция потерпела поражение.

Сталин докладывает на Политбюро, что расследованием выяснена личная виновность Назаретяна, который немедленно отозван из партийного отдела «Правды» и удален из секретариата Сталина. Назаретян отослан в провинцию. Он будет председателем краевой контрольной комиссии на Урале. Он не простит Сталину, что Сталин не пытался его защищать и, наоборот, сложил всю вину на него. К Сталину он уже не вернется и будет расстрелян Сталиным в 1937 году. Не знаю, какова судьба Южака, но ни секунды не сомневаюсь, что он не пережил тридцатых годов – у Сталина хорошая память, и он никогда ничего не прощает.

О Сталине я все время узнаю новые детали. Как-то вдруг я узнаю, что Сталин – антисемит, что мне объясняет очень многое в следующие два года.

Узнаю я об этом случайно. Мы стоим и разговариваем с Мехлисом (Мехлис – еврей). Выходит из своего кабинета Сталин и подходит к нам. Мехлис говорит: «Вот, товарищ Сталин, получено письмо от товарища Файвиловича. Товарищ Файвилович очень недоволен поведением ЦК. Он протестует, ставит ЦК на вид, требует, считает политику ЦК ошибочной» и т. д. (Надо пояснить: товарищ Файвилович – четвертый секретарь ЦК комсомола; давным-давно установлен порядок, что комсомол – подсобная организация для воспитания юношества в коммунистическом духе, но ее члены и руководители еще не члены партии и никакого права на обсуждение политических проблем партии не имеют – во всяком случае в рамках комсомола, – всякие попытки такого рода резко обрываются: куда лезете; вам еще рано; это дело еще не вашего ума).

Сталин вспыхивает: «Что этот паршивый жиденек себе воображает!» Тут же товарищ Сталин соображает, что он сказал что-то лишнее. Он поворачивается и уходит к себе в кабинет. Я смотрю на Мехлиса с любопытством: «Ну, как, Левка, проглотил?» – «Что? Что? – делает вид что удивляется, Мехлис. – В чем дело?» – «Как в чем? – говорю я. – Ты все ж таки еврей». – «Нет, – говорит Мехлис, – я не еврей, я – коммунист».

Это удобная позиция. Она позволит Мехлису до конца его дней быть верным и преданным сталинцем и оказывать Сталину незаменимые услуги.

Меня все же интересует, каким образом Сталин, будучи антисемитом, обходится двумя секретарями-евреями, Мехлисом и Каннером. Я очень быстро выясняю, что они взяты в целях камуфляжа. Во время Гражданской войны Сталин возглавлял на фронтах группу вольницы, ненавидевшей Троцкого, его заместителя Склянского и их сотрудников-евреев в Наркомвоене, что родило в партийной верхушке подозрения в сталинском антисемитизме. В последующем переходе к гражданской работе Сталин, чтобы рассеять эти подозрения, взял в свои ближайшие сотрудники Каннера и Мехлиса, сначала в свои сотрудники в Наркомрабкрестинспекции, номинальным руководителем которой Сталин был в 1921-1922 годах, а затем в свой секретариат в ЦК. В этом выборе ему никогда не пришлось раскаиваться. Каннер и Мехлис всегда были его преданными сотрудниками. Каннера он, впрочем, все же на всякий случай в 1937 году расстрелял – Каннер был его поверенным и исполнителем уж в слишком большом числе темных дел.

В конце 1923 года вся эта история с оппозицией заканчивается. Она имеет одно маленькое забавное последствие. Так как во время партийной дискуссии

большинство в ячейке ЦК было завоевано оппозицией, встает вопрос о виновных. В первую голову ясна совершенная бездарность секретаря ячейки ЦК. Это – старая партийная борода, но явный болван. Каннер решает его заменить. Но такую важную вещь, как выбор нового секретаря ячейки ЦК (в ячейке почти полторы тысячи членов, – все сотрудники аппарата ЦК – коммунисты), он все же не решается провести без санкции Мехлиса и моей. Он ставит вопрос перед нами. Мы обдумываем. Мехлис вздыхает: «Мы партия рабочих; а в ячейке ЦК – все служащие, канцеляристы и бюрократы, ни одного рабочего; а тут нужен бы по партийной ортодоксии рабочий от станка или по крайней мере ручного труда. А какой тут в ЦК ручной труд?» Чтобы позабавиться, я говорю: «Стойте. Есть в ЦК один рабочий ручного труда». – «Не может быть, – говорят мои собеседники, – Это ты выдумываешь». – «Уверю вас, что есть». – «Кто же эта синяя птица?»

Я им объясняю, что когда я работал у Молотова секретарем «Известий ЦК», художничавшего журнала, о котором я говорил выше, то этот журнал приходил в напечатанном виде из типографии в экспедицию ЦК и оттуда рассылался по партийным организациям. В экспедиции был один рабочий, который все эти тюки паковал, таскал и рассылал. Маленький, лысый и, кажется, не дурак, фамилия – Поскребышев. При общем смехе решено его вызвать. Поскребышев приходит, ничего не понимая: почему и зачем он может быть нужен секретариату Сталина. Разговариваем с ним. Парень не дурак и уж будет послушен до крайности. Чуть ли не из озорства решаем его выдвинуть в секретари ячейки ЦК (раз это идет из секретариата Сталина, это проходит мгновенно).

Поскребышев оказывается секретарем ячейки чрезвычайно послушным и даже слишком часто бежит к Каннеру за директивами.

Но озорство сталинских секретарей играет еще один раз решающую роль в карьере Поскребышева. В 1926 году Станислав Коссиор становится четвертым секретарем ЦК (в это время число секретарей увеличивается до пяти). Обычно перемещенный вельможа тянет за собой длинный хвост людей, которым он доверяет, «своих ребят». Коссиор хочет показать, что он никакой своей группы не имеет и создавать не хочет, и когда его спрашивают, кого он хочет иметь своим помощником, скромно отвечает, что у него никакой кандидатуры нет и он предпочтет, чтобы ему кого-либо указал секретариат Сталина. Коссиор – маленький и лысый, Поскребышев – маленький и лысый; они представляют довольно комичную пару. Именно поэтому Каннер, давась от смеха, предлагает в помощники Коссиору секретаря ячейки Поскребышева. Что и делается.

Так создавалась карьера будущего секретаря Сталина. Из секретариата Коссиора он перейдет в 1928 году в помощники Товстухи, после смерти Товстухи в 1935 году займет его место – помощником Сталина и заведующим Особым сектором, и восемнадцать лет будет верным денщиком Сталина, перед которым будут дрожать министры и члены Политбюро. Правда, он будет иметь неосторожность жениться на родной сестре жены Седова (сына Троцкого). Но когда его жена будет в 1937 году арестована по приказу подозрительного Сталина, он и глазом не моргнет и будет продолжать неотлучно пребывать при Сталине до 1953 года. Только за несколько месяцев до смерти Сталина он будет устранен и в трепете будет ждать своего расстрела. Какового расстрела Сталин все же не произведет.

## Глава 6

### В большевистских верхах

*Товстуха и Институт Ленина. Смерть Ленина. Перегруппировка. Еще удар по Реввоенсовету. Скланский. Семейство Свердловых. Алмазный фонд Политбюро. Контроль за выполнением решений Политбюро. Высший совет физической культуры*

Всю вторую половину 1923 года секретарь Сталина Товстуха выполняет очередное «полутемное» дело, порученное ему Сталиным. В борьбе за власть Сталина это дело имеет немалое значение.

Ленин умирает. Борьба за наследство идет между тройкой и Троцким. Тройка ведет энергичную пропаганду в партии, выставя себя как верных и лучших учеников Ленина. А из Ленина официальная пропаганда создает икону – гениальный вождь, которому партия обязана всем, а написанное им – Евангелие, подлинная истина. На самом деле, чего только не приходилось писать Ленину. И цитатами из него можно подпереть что угодно. Но для Сталина одна часть написанного Лениным представляет особую важность. И во время дореволюционной эмигрантской грызни, и во время революции и Гражданской войны Ленину приходилось делать острые высказывания о тех или иных видных большевиках, и, конечно, не столько в печатных статьях, сколько в личных письмах, записках, а после революции в правительственной практике во всяких резолюциях на бумагах и деловых записках. Наступает эпоха, когда можно будет извлечь из старых папок острое осуждение Лениным какого-нибудь видного партийца и, опубликовав его, нанести смертельный удар его карьере: «Вот видите, что думал о нем Ильич».

А извлечь можно много. И не только из того, что Ленин писал, но и из того, что о нем писали в пылу спора противники. Достаточно вспомнить дореволюционную полемику Ленина с Троцким, когда Ленин обвинял Троцкого во всех смертных грехах, а Троцкий писал о Ленине с негодованием как о профессиональном эксплуататоре отсталости масс и как о нечестном интригане. А чего только нет во всяких личных записках Ленина членам правительственной верхушки и своим сотрудникам. Если все это собрать, какое оружие в руках Сталина!

Тройка обсуждает вопрос, как это сделать, конечно, в моем присутствии. Но я ясно вижу, что Зиновьев и Каменев недальновидно думают при этом только о борьбе с Троцким и его сторонниками, а Сталин помалкивает и думает о значительно более широком использовании ленинского динамита. Решено окольными путями внушить Рязанову, чтобы он сделал нужное предложение на Политбюро. Рязанов, старый партиец, считается в партии выдающимся теоретиком марксизма, руководит Институтом Маркса и Энгельса и копается с увлечением в марксовых письмах и рукописях. Действительно, он с искренним удовольствием предлагает Политбюро сделать из Института Маркса и Энгельса – Институт Маркса, Энгельса и Ленина. Политбюро в принципе соглашается, но считает необходимым вначале создать особый Институт Ленина, который бы несколько лет был посвящен творчеству Ленина и собиранию всех материалов о нем, и только затем объединить оба института. Кстати, Политбюро решает, что надо приступить к делу немедленно, и 26 ноября 1923 года постановляет, что Институт Ленина должен представлять единое хранилище всех «рукописных материалов» Ленина, и в порядке партийной дисциплины под угрозой партийных санкций обязывает всех членов партии, хранящих в своих личных или в учрежденческих архивах какие-либо записки, письма, резолюции и прочие материалы, написанные рукой Ленина, сдать их в Институт Ленина.

У решения Политбюро хороший камуфляж – решение принято по инициативе Рязанова; члены ЦК, получив протокол Политбюро, будут считать, что дело идет об изучении творчества Ленина.

Помощником директора Института Ленина состоит Товстуха. Он уже давно роется в архивах Политбюро, извлекает ленинские записки и сортирует их. Сейчас у него будет целый поток материалов, которые он будет для нужд Сталина сортировать; ленинские записки, невыгодные для Сталина, навсегда исчезнут; невыгодные для всех остальных будут тщательно собраны, рассортированы по именам. По требованию Сталина относительно любого видного партийца ругательная ленинская заметка в любой момент будет, если понадобится, представлена Сталину.

14-15 января 1924 года на пленуме ЦК подводятся итоги партийной дискуссии – тройка с удовлетворением констатирует, что оппозиция разбита. Можно сделать следующий шаг в борьбе с Троцким. Но эти шаги делаются постепенно и осторожно. Отдельные члены ЦК делают заявления в ЦК, что в Красной армии неблагополучно. Пленум создает «военную комиссию ЦК» «для обследования положения в Красной армии». Председатель – Гусев. Подбор состава комиссии такой, что заключения ее вперед ясны: в нее входят и Уншлихт, и Ворошилов, и Фрунзе, и покорные Андреев и Шверник.

Сейчас же после пленума (16–18 января) XIII партийная конференция аппаратчиков (конференция составляется из руководящих работников местных партийных организаций) по докладу Сталина призывает к бдительности партийных бюрократов, указывая, что «оппозиция, возглавляемая Троцким, хочет сломать партийный аппарат», и требует прекращения всяких дискуссий.

Через несколько дней, 21 января, умирает Ленин. В суматохе следующих дней можно сделать ряд интересных наблюдений. Сталин верен себе. Он отправляет Троцкому (который лечится на Кавказе) телеграмму с ложным указанием дня похорон Ленина, так что Троцкий вынужден заключить, что он на похороны поспеть не может. И он остается на Кавказе. Поэтому на похоронах тройка имеет вид наследников Ленина (а Троцкий, мол, даже не счит нужным приехать) и монополизирует торжественные и преданные речи и клятвы. Я наблюдаю реакции.

В стране отношение к смерти Ленина двойственное. Часть населения довольна, хотя и старается это скрыть. Для нее Ленин – автор коммунизма; помер, туда ему и дорога. Другая часть населения считает, что Ленин лучше других, потому что, увидев крах коммунизма, он поторопился вернуть некоторые элементы нормальной жизни (нэп), которые привели к тому, что можно кое-как питаться и жить. Наоборот, большая часть партии потрясена, в особенности низы. Ленин – признанный вождь и лидер. Растерянность – как теперь будет без него? В партийной верхушке отношение разное. Есть люди, искренне потрясенные, как Бухарин или ленинский заместитель Цюрупа, которые к Ленину были сильно привязаны. Немного переживает смерть Ленина Каменев – он не чужд человеческих черт. Но тяжелое впечатление производит на меня Сталин. В душе он чрезвычайно рад смерти Ленина – Ленин был одним из главных препятствий по дороге к власти. У себя в кабинете и в присутствии секретарей он в прекрасном настроении, сияет. На собраниях и заседаниях он делает трагически скорбное лицо, говорит лживые речи, клянется на пафосом верности Ленину. Глядя на него, я поневоле думаю: «Какой же ты подлец». О ленинской бомбе «письма к съезду» он еще ничего не знает. Крупская выполняет до буквы волю Ленина. Письмо это к съезду; съезд будет в мае, тогда она вскрыет конверт и передаст ленинское завещание Политбюро. Каменев уже что-то знает о завещании от Фотиевой, которая продолжает работать секретарем Совнаркома, но помалкивая.

В связи со смертью Ленина и связанной с ней суматохой пленумы ЦК следуют один за другим. За первым январским пленумом ЦК следует экстренный пленум после смерти Ленина, затем в январе еще один; только что в начале января были произведены все назначения и переназначения союзных наркомов, и уже снова происходит перераспределение важных мест. Кого назначить председателем Совнаркома на место Ленина? Ни в Политбюро, ни даже в тройке согласия нет. Члены тройки боятся, что если будет назначен один из них, для страны это будет указанием, что он окончательно наследует Ленину – как № 1 режима, а это не устраивает остальных членов тройки. В конце концов сходятся на кандидатуре

Рыкова: политически он фигура бледная, и его пост главы правительства будет более декоративным, чем реальным (вроде как Калинин, председатель ВЦИК, формально нечто вроде президента республики, а на самом деле – ничто). До этого Рыков был председателем Высшего Совета Народного Хозяйства.

Но в связи с созданием СССР реорганизуется СТО – Совет Труда и Оборона. Во главе его – Каменев, и фактически руководство всеми хозяйственными наркоматами (ВСНХ, Госплан, НКФин, НКТорг, НКЗем и т. д.) переходит к СТО; это еще ограничивает важность рыковского поста председателя Совнаркома. Реорганизуется ГПУ, превращаясь в ОГПУ с властью над всем СССР. Формально возглавляет его Дзержинский, но так как он одновременно назначается председателем ВСНХ вместо Рыкова, то практически руководство ОГПУ переходит даже не к первому его заместителю Менжинскому, а ко второму заместителю Ягоде, который уже завязал тесные связи со сталинским секретариатом, но не со мной.

Новый пленум ЦК 3 февраля обсуждает вопрос о созыве очередного съезда, но главное, заслушивает доклад «военной комиссии ЦК» и после резкой критики, направленной внешне против военного наркомата, а по существу против Троцкого, постановляет «признать, что в настоящем своем виде Красная армия небоеспособна» и что необходимо провести военную реформу.

Наконец, в начале марта новый пленум наносит новый удар по Троцкому: заместитель Троцкого Склянский (которого Сталин ненавидит) снят; утвержден новый состав Реввоенсовета; Троцкий еще оставлен председателем, но его заместителем назначен Фрунзе; он же назначен на пост начальника штаба Красной армии. В Реввоенсовет волной вошли враги Троцкого: и Ворошилов, и Уншлихт, и Бубнов, и даже Буденный. Декоративный пост специалиста-главнокомандующего (полковник царской армии Сергей Каменев) упразднен.

На тройке обсуждается вопрос, что делать со Склянским. Сталин почему-то предлагает послать его в Америку председателем Амторга. Это пост большой. С Америкой дипломатических отношений нет. Там нет ни полпредства, ни торгпредства. Есть Амторг – торговая миссия, которая торгует. На самом деле она заменяет и выполняет функции и полпредства, и торгпредства, и базы для всей подпольной работы Коминтерна и ГПУ. Торговые функции ее тоже важны. Еще недавно после Гражданской войны удалось восстановить совершенно разрушенный железнодорожный транспорт только своевременной закупкой большой партии паровозов в Америке, которую произвела специальная торговая миссия, во главе которой стоял будто бы профессор Ломоносов; все эти закупки возможны только благодаря поддержке сильных финансовых еврейских групп, благосклонно относящихся к советской революции. Тут нужно много дипломатии и умения.

Удивляюсь сталинскому предложению не только я. Сталин ненавидит Склянского (который во все время Гражданской войны преследовал и цукал Сталина) больше, чем Троцкого. Но и Зиновьев его терпеть не может.

Помню, как несколько раньше на заседании Политбюро, когда речь зашла о Склянском, Зиновьев сделал презрительное лицо и сказал: «Нет ничего комичнее этих местечковых экстернов, которые воображают себя великими полководцами». Удар был нанесен не только по Склянскому, но и по Троцкому. Троцкий вспыхнул, но сдержался, бросил острый взгляд на Зиновьева и промолчал.

Склянский был назначен председателем Амторга и уехал в Америку. Когда скоро после этого пришла телеграмма, что он, прогуливаясь на моторной лодке по озеру, стал жертвой несчастного случая и утонул, то бросилась в глаза чрезвычайная неопределенность обстановки этого несчастного случая: выехал кататься на моторной лодке, долго не возвращался, отправились на розыски, нашли лодку перевернутой, а его утонувшим. Свидетелей несчастного случая не было.

Мы с Мехлисом немедленно отправились к Каннеру и в один голос заявили: «Гриша, это ты утопил Склянского». Каннер защищался слабо: «Ну, конечно, я.

Где бы что ни случилось, всегда я». Мы настаивали, Каннер отнекивался. В конце концов я сказал: «Знаешь, мне, как секретарю Политбюро, полагается все знать». На что Каннер ответил: «Ну, есть вещи, которые лучше не знать и секретарю Политбюро». Хотя он в общем не сознался (после истории с Южаком все в секретариате Сталина стали гораздо осторожнее), но мы с Мехлисом были твердо уверены, что Склянский утоплен по приказу Сталина и что «несчастный случай» был организован Каннером и Ягодой.

Я знакомлюсь с семейством Свердловых. Это очень интересное семейство. Старик Свердлов уже умер. Он жил в Нижнем Новгороде и был гравером. Он был очень революционно настроен, связан со всякими революционными организациями, и его работа гравера заключалась главным образом в изготовлении фальшивых печатей, при помощи которых революционные подпольщики фабриковали себе подложные документы. Атмосфера в доме была революционная. Но старший сын Зиновий в результате каких-то сложных душевных процессов пришел к глубокому внутреннему кризису, порвал с революционными кругами, и с семьей, и с иудаизмом. Отец его проклял торжественным еврейским ритуальным проклятием. Его усыновил Максим Горький, и Зиновий стал Зиновием Пешковым. Но, продолжая свой душевный путь, он отошел и от революционного окружения Горького, уехал во Францию и поступил в Иностранный легион для полного разрыва с прошлой жизнью. Когда через некоторое время пришло известие, что он потерял в боях руку, старик Свердлов страшно разволновался: «Какую руку?», и когда оказалось, что правую, торжеству его не было предела: по формуле еврейского ритуального проклятия, когда отец проклинает сына, тот должен потерять именно правую руку. Зиновий Пешков стал французским гражданином, продолжал служить в армии и дошел до чина полного генерала. От семьи он отрекся полностью. Когда я, приехав во Францию, хотел сообщить ему новости о его двух братьях и сестре, живших в России, он ответил, что это не его семья и что он о них ничего знать не хочет.

Второй брат, Яков, был в партии Ленина, видный член большевистского ЦК. После Октябрьской революции он стал правой рукой Ленина и председателем ВЦИК, то есть формальным главой советской республики. Главная его работа была организационная и распределительная: он заменял собой то, что в партии потом стало партийным аппаратом и в особенности ее орграспредом. Но в марте 1919 года он умер от туберкулеза.

Его именем назван миллионный город – столица Урала, Свердловск. Почему-то с приходом к власти Сталина этот город не был переименован, хотя, как мы сейчас увидим, у Сталина были некоторые личные причины не любить Свердлова, а Сталин таких причин никогда не забывает. Может быть, потому Екатеринбург продолжает носить имя Свердлова, что в этом городе была перебита царская семья в июле 1918 года и что доля ответственности за это убийство легла на Якова Свердлова, официального главу советской власти, который по поручению Ленина, хитро устранившегося от формальной ответственности, известил местные уральские большевистские власти, что передает вопрос об участии царской семьи на их решение.

Третий брат, Вениамин Михайлович, не питал склонности к революционной деятельности, предпочел эмигрировать в Америку и стал там собственником небольшого банка. Но когда произошла большевистская революция в России, Яков спешно затребовал брата. Вениамин ликвидировал свой банк и приехал в Петроград. В это время Ленин, еще находившийся в плену демагогически-бредовых идей, гласивших, например, что «каждая кухарка должна уметь управлять государством», применял их к жизни, делая пропагандно-нелепые назначения. Как известно, прапорщик Крыленко был назначен в пик буржуазии Главверхом (верховным главнокомандующим), какой-то полуграмотный матросик – директором Государственного банка, а тоже не очень грамотный машинист Емшанов – министром железных дорог (Наркомпуть). Бедный Емшанов наделал такой чепухи в своем министерстве и так запутался, что через месяц-два слезно взмолился, чтобы Ленин его от непосильной работы освободил. Тогда Яков Свердлов

предложил Ленину на этот пост своего только что прибывшего брата, кстати, не коммуниста. Он был назначен наркомом путей сообщения. Через некоторое время он убедился, что на этом посту ничего не может сделать (потом на этом посту так же неудачно перебивали Троцкий и Дзержинский), и предпочел перейти в члены Президиума ВСНХ. В дальнейшем его карьера медленно, но верно шла вниз. Впрочем, он умудрялся оставаться беспартийным, и по смерти брата можно только удивляться, что она не рухнула сразу. В эти времена (1923–1924 – 1925 годы) он был еще членом ВСНХ и заведовал его научно-техническим отделом.

Незадолго перед войной в Московский художественный театр поступила очень молодая (лет ей было, кажется, семнадцать), но очень талантливая актриса Вера Александровна Делевская. Была она к тому же очень красива.

По недостатку опыта она еще не дошла до крупных ролей, но была абсолютно увлечена Художественным театром, жила им и только им и дышала. А Художественный театр был театром не только Чехова, но и Горького. А вокруг Горького все время вращалась какая-то чрезвычайно революционная публика. И когда кто-то из театральных товарищей попросил неопытную девчонку оказать услугу – прятать какую-то революционную литературу, то ей было и неудобно отказать, да она ничего в этом деле и не смыслила. Сделала она это так неумело, что полиция немедленно все обнаружила; она была арестована и послана в ссылку. Известно, что царская полиция, посылая революционеров в ссылку, обеспечивала их постоянным жалованьем, оплачивавшим их стол, квартиру и прочие расходы; им оставалось ничего не делать и продолжать заниматься революционной деятельностью. Собственно, они жили свободно, но под надзором полиции; надзора почти никакого не было, и было очень легко из ссылки уехать, но тогда приходилось перейти на нелегальное положение, что было связано с некоторыми неудобствами (впрочем, я не совсем понимаю, какими, потому что в случае поимки и нового ареста сбежавшего отправляли обратно в ссылку и без увеличения срока). Но царская полиция простирала так далеко свою заботу о ссыльных, что в ссылке их группировали по партийной принадлежности, меньшевиков отправляли в одно место, большевиков группировали в другом и т. д. Это чрезвычайно помогало сосланным жить дружной партийной жизнью, проводить время в заседаниях и спорах о программе и тактике, писании статей в партийную прессу и их обсуждении и так далее.

В месте, куда была сослана Вера Александровна, были сгруппированы видные большевики (кажется, революционная литература, которую она так любезно прятала, была большевистская), в том числе три члена ЦК: Спандарян, Сталин и Яков Свердлов. И Сталин, и Свердлов, увлекшись молодой и красивой артисткой, изо всех сил за ней ухаживали. Вера Александровна без колебаний отвергла мрачного, несимпатичного и некультурного Сталина и предпочла культурного и европейски образованного Свердлова.

По возвращении из ссылки Яков Свердлов вернулся к семье (у него была жена, Клавдия Новгородцева, и сын Андрей) и к своим новым высоким государственным функциям, и Вера Александровна перешла, так сказать, на холостое положение. Но когда ее увидел Вениамин Свердлов, он немедленно ею пленился, и они поженились. Брачный союз их продолжался и во время моего с ними знакомства.

Четвертый брат, Герман Михайлович, был, собственно, им сводным братом: по смерти первой жены старик Свердлов женился на русской Кормильцевой, и Герман был их сыном. Он был много моложе (в 1923 году ему было девятнадцать лет), в революции участия не принимал, был еще комсомольцем, на редкость умным и остроумным мальчишкой. Я был на четыре года старше его. Он очень ко мне привязался, постоянно у меня бывал и был со мной очень дружен. О моей внутренней эволюции (когда я постепенно стал антикоммунистом) он не имел понятия. Впрочем, мы с ним разговаривали обо всем, кроме политики.

У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за богатого человека Авербаха, жившего где-то на юге России. У Авербахов были сын и дочь. Сын Леопольд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание



руководить русской литературой и одно время через группу «напостовцев» осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным образом на родственную связь – его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягоду, руководителя ГПУ.

Ягода в своей карьере тоже немало был обязан семейству Свердловых. Дело в том, что Ягода был вовсе не фармацевтом, как гласили слухи, которые он о себе распустил, а подмастерьем в граверной мастерской старика Свердлова. Правда, после некоторого периода работы Ягода решил, что пришла пора обосноваться и самому. Он украл весь набор инструментов и с ним сбежал, правильно рассчитывая, что старик Свердлов предпочтет в полицию не обращаться, чтобы не выплыла на свет божий его подпольная деятельность. Но обосноваться на свой счет Ягоде не удалось, и через некоторое время он пришел к Свердлову с повинной головой. Старик его простил и принял на работу. Но через некоторое время Ягода, обнаруживая постоянство идей, снова украл все инструменты и сбежал.

После революции все это забылось, Ягода пленил Иду, племянницу главы государства, и это очень помогло его карьере – он стал вхож в кремлевские круги.

Вдова Якова Свердлова, Клавдия Новгородцева, жила совсем незаметной жизнью, нигде не работала.

Как-то раз приходит ко мне Герман Свердлов и между прочим рассказывает: Андрей (сын Якова Свердлова и Клавдии Новгородцевой), которому было в это время лет пятнадцать, заинтересовался тем, что один ящик в письменном столе матери всегда закрыт, и когда он у нее спросил, что в этом ящике, она его резко оборвала: «Отстань, не твое дело». И вот как-то, снедаемый любопытством и уловив момент, когда мать ненадолго где-то в комнате забыла ключи, он этот ящик открыл. И что же там оказалось? Куча каких-то фальшивых камней, очень похожих на большие бриллианты. Но, конечно, камни поддельные. Откуда у матери может быть такая масса настоящих бриллиантов? Ящик он снова закрыл и положил ключи на прежнее место.

Герман был того же мнения – это какие-то стекляшки. Яков Свердлов, кажется, стяжателем никогда не был, и никаких ценностей у него не было. Я согласился с Германом – конечно, это что-то ничего не стоящее.

Но понял я, что тут налицо совсем другое. Еще до этого, роюсь в архивах Политбюро, я нашел, что три-четыре года назад, в 1919-1920 годах, во время своего острого военного кризиса, когда советская власть висела на волоске, из общего государственного алмазного фонда был выделен «алмазный фонд Политбюро». Назначение его было такое, чтобы в случае потери власти обеспечить членам Политбюро средства для жизни и продолжения революционной деятельности. Следы о соответствующих распоряжениях и выделении из государственного алмазного фонда в архиве были, но не было ни одного слова о том, где же этот фонд спрятан. Не было даже ни слова в особой папке – в моем сейфе. Очевидно, было решено, что о месте хранения фонда должны знать только члены Политбюро. Теперь я неожиданно находил ключ. Действительно, в случае потери власти не подходило ни одно из мест хранения, кроме того, чтобы спрятать этот фонд у какого-то частного лица, к которому Политбюро питало полное доверие, но в то же время не играющего ни малейшей политической роли и совершенно незаметного. Это объясняло, почему Клавдия Новгородцева нигде не служила и вела незаметный образ жизни, а кстати – и почему она не носила громкого имени Свердлова, которое бы ей во многом помогало во всяких мелочах жизни, и продолжала носить девичью фамилию. Очевидно, она была хранительницей фонда (впрочем, я не думаю, что это затем продолжалось много лет, так как падение советской власти с каждым годом становилось все более маловероятным).

Должен добавить о Свердловых, что Вениамин погиб в 1937 году, Леопольд Авербах был расстрелян в 1938-м, Ягода, как известно, тоже в 1938-м; судьба Веры Александровны мне неизвестна. О Германе я еще скажу.

Мое положение как секретаря Политбюро быстро укрепилось. Вначале Зиновьев и Каменев смотрели на меня с некоторым недоверием: «человек Сталина». Но очень скоро они пришли к выводу, что я занимаю этот пост не по благоволению Сталина, а потому, что обладаю нужными качествами. Первые три-четыре недели моей работы в Политбюро я продолжал еще принятую на заседании технику, когда Ленин, а потом Каменев формулировали постановления Политбюро и диктовали их секретарше Гляссер, а та их записывала. Но вскоре я решил повторить мой опыт с Молотовым и оргбюро и взять на себя формулировку большинства постановлений. Правда, когда я это проделывал с Молотовым, я не только позволял ему выигрывать много времени, но и очень помогал ему по сути, так как он формулировал медленно и трудно. Каменев был блестящий председатель, формулировал быстро и точно, и здесь речь шла только о выигрыше времени. Я обратился к Каменеву и сказал ему: «Я всегда очень хорошо подготовлен к заседанию, прекрасно знаю все нюансы в предложениях ведомств и их значение, а также всю историю вопроса; поэтому нет надобности всегда мне диктовать постановления, я их могу формулировать сам в смысле принятого решения». Каменев посмотрел на меня с некоторым удивлением, и его взгляд говорил: «Ты, юноша, кажется, слишком много на себя берешь». Но он ничего не ответил.

На первом же после этого заседании Политбюро обсуждался какой-то сложный вопрос народного хозяйства, в котором ни ВСНХ, ни Госплан, ни Наркомфин не были согласны. После долгих споров Каменев, наконец, заявил: «Ну, насколько я вижу, Политбюро склоняется к точке зрения Рыкова. Голоснем».

Действительно, голосование подтвердило позицию Рыкова. Тогда Каменев, бросив на меня быстрый взгляд, сказал: «Хорошо. Пошли дальше», – и перешел к следующему вопросу повестки. Это носило характер трудного экзамена. Я написал большое и сложное постановление по многим и разным вопросам обсуждавшейся проблемы, как обычно, на картонной двойной карточке и передал ее через стол Сталину. Сталин прочел, не сказал ни слова и передал ее Каменеву. Каменев внимательно прочел, не сделал ни одной поправки и передал карточку мне с некоторым движением глаз, которое должно было обозначать «браво». С этого момента началась эта новая практика, предложенная мною, и Политбюро выигрывало много времени, не теряя его на формулировки, – обычно больше всего споров происходило из-за поправок, которые вносились участниками в устанавливаемый председателем текст. Теперь же в большинстве случаев устанавливался и принимался общий дух решения, а сформулировать поручалось секретарю (конечно, под контролем председателя; но должен сказать, что почти никогда и в самых сложных и трудных вопросах Каменев не вносил изменений в мой текст).

Ясное дело, я чрезвычайно усложнил свою работу. Я ведь должен был заниматься техникой заседания: наблюдать за выпуском вызванных, за обеспечением членов Политбюро нужными материалами), и следить, чтобы Политбюро не делало ошибок, принимая снова решения, которые были уже раньше приняты, или наоборот, вразрез с недавно принятыми (в таких случаях я брал слово и напоминал Политбюро), и внимательно следить за прениями, чтобы понимать все нюансы, и в то же время формулировать постановление по только что пройденному вопросу. Видя, как я с этим справляюсь, Зиновьев говорил: «Товарищ Бажанов, как Юлий Цезарь, может делать пять дел одновременно». Я не знал, что Юлий Цезарь обладал этой способностью, но не мог быть равнодушным к комплименту Зиновьева.

Между тем скоро я сделал еще один шаг в моем аппаратном восхождении. На заседании тройки я сказал: «Вы принимаете на Политбюро очень много хороших постановлений, но вы не знаете, как эти постановления выполняются, и зачастую – выполняются ли они. Конечно, нецелесообразно создавать какой-то добавочный аппарат контроля за выполнением решения – все в работе Политбюро абсолютно секретно, и нельзя увеличивать круг лиц, знакомых со всеми этими секретами. Между тем есть простой способ осуществить хотя бы в общих чертах этот контроль всех вопросов, обсуждаемых на Политбюро. Я хорошо знаком и с духом, и с буквой

постановлений Политбюро – я их записываю и часто формулирую. Поручите мне контроль за выполнением постановлений Политбюро – я буду обращаться к руководителям ведомств, которым выполнение поручено; как бы ни оценивать вес этого контроля, уже одно постоянное напоминание руководителям о том, что есть глаз Политбюро, постоянно следящий за выполнением, не может не иметь положительного влияния».

Каменев и Зиновьев нашли это вполне логичным и согласились. Сталин молчал; он прекрасно понимал, что это идет по линии усиления его власти – его помощник будет контролировать деятельность всех министров и членов Центрального комитета; это усиливает его значение. При этом он смотрел на меня тем же пытливым взглядом, который, кроме того, говорил: «Ну, ты, кажется, далеко пойдешь».

Контроль за исполнением постановлений Политбюро я вел так. Были приготовлены большие тетради; в них слева был наклеен текст каждого решения Политбюро, справа были мои отметки о результатах контроля. Работу контроля я вел самостоятельно и ни перед кем не отчитывался. Я брал трубку («вертушки») и звонил руководителю ведомства, которому было поручено выполнение. «Товарищ Луначарский, говорит Бажанов; такого-то числа Политбюро вынесло такое-то постановление; скажите, пожалуйста, что вами сделано во исполнение этого постановления». И товарищ Луначарский должен был, как школьник, отчитываться. По особенностям советской системы, общей халатности и неразберихе, выполнялась небольшая часть решений. Товарищ Луначарский должен был возможно убедительнее мне объяснять, что хотя выполнено мало, но ни он, ни его ведомство в этом не виноваты, а виноваты какие-то объективные причины.

Этим контролем я скоро поставил себя в особое положение и стал даже некоторой угрозой для всех, даже самых высокопоставленных членов большевистской верхушки. Это был классический пример силы. Я мог признать объяснения удовлетворительными и на этом дело прекратить, но мог признать их неудовлетворительными и доложить об этом тройке или Политбюро. И дело было, конечно, не в том, что по моему докладу Политбюро сейчас же поторопится снять провинившегося. Назначения и смещения происходили по совсем другим мотивам борьбы за власть и закулисным интригам. Но если была уже тенденция от кого-либо отделаться и снять его с занимаемого им крупного поста, то такой предлог для этого лучше, чем доклад секретаря Политбюро с фактами и доказательствами о том, что данный сановник систематически не выполняет постановлений Политбюро? Этот контроль я вел затем все время моей работы в Политбюро.

Я был молод и энергичен и скоро нашел себе одну побочную сферу интереса. Когда я был еще секретарем оргбюро, я присутствовал при утверждении организационным бюро состава Высшего совета физической культуры и некоторых общих директив для деятельности этого учреждения. Тогда же мне бросилась в глаза вздорность работы этого ведомства, но я был еще недостаточно крупным винтиком аппаратной машины, чтобы выступить с критикой.

Физическая культура понималась как какое-то полезное для здоровья трудящихся масс и для их дрессировки, почти обязательное массовое и скопом производимое размахивание руками и ногами, так сказать, какие-то коллективные движения для здоровья. Это и пытались внедрить во всяких рабочих клубах, загоняя трудящихся чуть ли не силой на эти демонстрации. Это, конечно, не вызывало ни малейшего интереса и рассматривалось как нечто не менее скучное, чем уроки политграмоты, от чего нужно было спасаться бегством. Спорт же, по идеям теоретиков этой «физкультуры», рассматривался как нездоровый пережиток буржуазной культуры, развивавший индивидуализм и, следовательно, враждебный коллективистским принципам культуры пролетарской. От физкультурной скучищи дошли мухи, и ее Высший совет влачил жалкое существование.

Когда я был уже секретарем Политбюро, я как-то сказал Сталину, что «физкультура» – это ерунда, никакого интереса у рабочих не вызывающая, и что

надо перейти к спорту, к соревнованиям, интерес к которым у трудящихся масс будет совершенно обеспечен. В Высший совет входит членом представитель ЦК; это заведующий Агитпропом ЦК, который, сознавая никчемность учреждения, там, кажется, ни разу не был.

«Назначьте меня представителем ЦК, и я поверну дело, проводя это как линию ЦК от физкультуры к спорту». Сталин согласился – он привык всегда со мной соглашаться по вопросам, которые его совершенно не интересовали (а интересовали его только власть и борьба за нее). Я провел сейчас же мое назначение через нужные инстанции ЦК и стал представителем ЦК в Высшем совете, к сожалению, сохранившем термин «физической культуры».

Высший Совет составлялся по положению из представителей очень многих ведомств. Между прочим, членом Высшего совета был и Ягода, как представитель ГПУ. Но работу должен был вести президиум Высшего совета. Он состоял из пяти человек: председателя, которым был нарком здравоохранения Семашко; заместителя председателя – им был представитель военного ведомства Мехоношин; и трех членов президиума – меня как представителя ЦК партии, молодого доктора Иттина, представителя ЦК комсомола, и представителя ВЦСПС Сеньюшкина.

Созвали пленум Высшего совета, и я выступил с докладом об изменении политики Совета – развитии спорта и связанной с этим заинтересованности трудящихся масс. Для начала надо было восстановить разрушенные революцией и закрытые старые спортивные организации, собрать в них разогнанных спортсменов и использовать их как инструкторов и воодушевителей спортивной деятельности. Затем втягивать рабочие массы.

Сейчас же с возражениями выступил Ягода. До революции спортом занимались главным образом представители буржуазного класса; спортивные организации были и будут сборищем контрреволюционеров; дать им возможность собираться и объединяться – опасно. Да и всякий спорт – это против коллективистических принципов.

Я принял бой, указывая, что новая линия, которую дает ЦК, принимает принцип соревнования, без которого нельзя возбудить интерес и привлечь к делу трудящихся. Что касается старых спортсменов, то политические их тенденции в данном случае не интересны: никакую контрреволюцию в футболе или беге на 100 метров не разведешь. Кроме того, политика партии всегда была направлена на использование специалистов. Инженеры и технические специалисты – в подавляющем большинстве выходцы из буржуазного класса, между тем они широко используются в народном хозяйстве, и даже Красная армия могла создаться и победить только благодаря привлечению в нее и использованию военных специалистов – старых царских офицеров, политически часто очень далеких и даже враждебных.

Совет целиком стал на мою точку зрения (кстати, это была «линия ЦК»). Когда Ягода пытался еще сказать, что спортивные клубы будут гнездами контрреволюции и что за ними надо смотреть в оба, Семашко перебил его: «Ну, это дело вашего ведомства, это нас не касается».

Дело двинулось быстро, клубы росли, массы с энтузиазмом увлекались спортом. Летом 1924 года была устроена первая всероссийская Олимпиада (по легкой атлетике), которая прошла с большим успехом. Я был ее главным судьей и очень интенсивно всем этим занимался.

ГПУ чинило нам большие затруднения – для него все старые спортсмены были врагами. Пришлось вести с ним войну, защищая отдельных спортсменов, не отличающихся особой любовью к коммунизму. Некоторых приходилось вырывать из пасти ГПУ зубами. Анатолий Анатольевич Переселенцев был лучшим гребцом России; в 1911–1912 годах на одиночке он выигрывал первенство Европы. Он был «выходец из буржуазных классов». ГПУ его терпеть не могло и пыталось

арестовать. Спасало его только мое заступничество и угроза поставить о нем вопрос в ЦК, если ГПУ его тронет или попытается создать против него какое-либо выдуманное дело. До 1927 года Переселенцев жил под моей защитой, знал это и меня благодарил. В 1927 году, собираясь бежать за границу, я повидал его в спортивном клубе и сказал ему, что я уезжаю на работу в провинцию, и, так как его некому будет защищать, ГПУ его немедленно съест; поэтому я советую ему все бросить, перестать мозолить глаза ГПУ и спрятаться где-нибудь в далекой глухой провинции. Он обещал моему совету последовать. Не знаю, выполнил ли он его и какова его судьба.

Скоро спортом начали заниматься (больше для здоровья) и члены большевистской верхушки. Правда, ни Сталин, ни Молотов спорту никогда никакой дани не отдали. Но Каганович бегал зимой на лыжах, а с Сокольниковым, бывшим в это время наркомом финансов, и с начальником бюджетного управления Наркомфина Рейнгольдом у нас образовалась частая партия в теннис; в ней иногда принимала участие и жена Сокольникова Галина Серебрякова. Сокольников будет расстрелян в 1941 году в Орловской тюрьме, Рейнгольд расстрелян еще в 1936–1937 годах, а Галина Серебрякова сослана на советскую каторгу – в концлагеря. После длительного пребывания там, после сталинской смерти вернулась и, видимо, «страха ради» написала скверную книгу о пережитом.

## Глава 7

### Я становлюсь антикоммунистом

*Завещание Ленина. Моя карьера. Я становлюсь противником коммунизма. Подлинный Ленин. Догматики и практики коммунизма, марксизм. Все пропитывающая ложь*

Между тем приближался XIII съезд партии. За несколько дней до его открытия методичная Крупская вскрыла пакет Ленина и прислала ленинскую бомбу («завещание») в ЦК. Когда Мехлис доложил Сталину содержание ленинского письма (где Ленин советовал Сталина снять), Сталин обругал Крупскую последними словами и бросился совещаться с Зиновьевым и Каменевым.

В это время Сталину тройка была еще очень нужна – сначала надо было добить Троцкого. Но теперь оказалось, что союз с Зиновьевым и Каменевым спасителен и для самого Сталина. Конечно, еще до этого в тройке было согласие, что на съезде Зиновьев будет снова читать политический отчет ЦК и таким образом иметь вид лидера партии; даже, чтобы подчеркнуть его вес и значение, тройка решила следующий, XIV съезд, созвать в его вотчине – Ленинграде (потом, с разрывом тройки, это решение было отменено). Но теперь, в связи с завещанием Ленина, главным было согласие Зиновьева и Каменева на то, чтобы Сталин остался генеральным секретарем партии. С поразительной наивностью полагая, что теперь Сталина опасаться нечего, так как завещание Ленина еще намного уменьшит его вес в партии, они согласились его спасти. За день до съезда, 1 мая 1924 года, был созван экстренный пленум ЦК специально для чтения завещания Ленина.

Пленум происходил в зале заседаний президиума ВЦИКа. На небольшой низенькой эстраде за председательским столом сидел Каменев и рядом с ним – Зиновьев. Рядом на эстраде стоял столик, за которым сидел я (как всегда, я секретарствовал на пленуме ЦК). Члены ЦК сидели на стульях рядами, лицом к эстраде. Троцкий сидел в третьем ряду у края серединного прохода, около него Пятаков и Радек. Сталин сел справа на борт эстрады лицом к окну и эстраде, так что члены ЦК его лицо видеть не могли, но я его все время мог очень хорошо наблюдать.

Каменев открыл заседание и прочитал ленинское письмо. Воцарилась тишина. Лицо Сталина стало мрачным и напряженным. Согласно заранее выработанному сценарию, слово сейчас же взял Зиновьев.

«Товарищи, вы все знаете, что посмертная воля Ильича, каждое слово Ильича для нас закон. Не раз мы клялись исполнить то, что нам завещал Ильич. И вы прекрасно знаете, что эту клятву мы выполним. Но есть один пункт, по которому мы счастливы констатировать, что опасения Ильича не оправдались. Все мы были свидетелями нашей общей работы в течение последних месяцев, и, как и я, вы могли с удовлетворением видеть, что то, чего опасался Ильич, не произошло. Я говорю о нашем генеральном секретаре и об опасностях раскола в ЦК» (передаю смысл речи).

Конечно, это была неправда. Члены ЦК прекрасно знали, что раскол в ЦК налицо. Все молчали. Зиновьев предложил переизбрать Сталина генеральным секретарем. Троцкий тоже молчал, но изображал энергичной мимикой свое крайнее презрение ко всей этой комедии.

Каменев со своей стороны убеждал членов ЦК оставить Сталина генеральным секретарем. Сталин по-прежнему смотрел в окно со сжатыми челюстями и напряженным лицом. Решалась его судьба.

Так как все молчали, то Каменев предложил решить вопрос голосованием. Кто за то, чтобы оставить товарища Сталина генеральным секретарем ЦК? Кто против? Кто воздержался? Голосовали простым поднятием рук. Я ходил по рядам и считал

голоса, сообщая Каменеву только общий результат. Большинство голосовало за оставление Сталина, против – небольшая группа Троцкого, но было несколько воздержавшихся (занятый подсчетом рук, я даже не заметил, кто именно; очень об этом жалею).

Зиновьев и Каменев выиграли (если б они знали, что им удалось обеспечить пулю в собственный затылок!).

Через полтора года, когда Сталин отстранил Зиновьева и Каменева от власти, Зиновьев, напоминая это заседание пленума, и как ему и Каменеву удалось спасти Сталина от падения в политическое небытие, с горечью сказал: «Знает ли товарищ Сталин, что такое благодарность?» Товарищ Сталин вынул трубку изо рта и ответил: «Ну, как же, знаю, очень хорошо знаю, это такая собачья болезнь».

Сталин остался генеральным секретарем. Пленум, кроме того, решил ленинское завещание на съезде не оглашать и текст его делегатам съезда не сообщать, а поручить руководителям делегаций съезда ознакомить с ним делегатов внутри рамок каждой делегации. Это постановление пленума было отредактировано нарочито неясно, так что это позволило руководителям делегаций просто рассказать делегатам о сути ленинского письма и решениях пленума, без того, чтобы они могли как следует ознакомиться с ленинским текстом.

История коммунистической власти в России так полна лжи и всякого рода фальсификаций, что уже совсем лишнее, когда более или менее добросовестные свидетели (и участники) событий, ошибаясь, еще запутывают истину былого. В частности, история ленинского завещания и так чрезвычайно запутана. Между тем Троцкий, вообще свидетель достоверный относительно имевших место фактов и дат, со своей стороны совершает грубую ошибку в описании истории завещания.

В своей книге о Сталине, написанной Троцким в последние месяцы его жизни, Троцкий (французский текст книги, страницы 514–515), описав заседание пленума ЦК, на котором было оглашено «завещание», продолжает: «На самом деле завещанию не только не удалось положить конец внутренней борьбе, чего хотел Ленин, оно ее в высшей степени усилило. Сталин не мог больше сомневаться, что возвращение Ленина к деятельности означало бы политическую смерть генерального секретаря».

Из этих строк можно только заключить, что Ленин был еще жив, когда произошло оглашение завещания. А так как завещание было оглашено на предсъездовском пленуме, то, значит, речь идет о пленуме ЦК 15 апреля 1923 года и о XII съезде, состоявшемся 17–25 апреля 1923 года. Между тем, это грубая ошибка. Завещание было прочитано на предсъездовском экстренном пленуме 21 мая 1924 года (XIII съезд происходил 22–31 мая 1924 года), то есть через четыре месяца после смерти Ленина. Что ошибается Троцкий, а не я, легко заключить из следующего: описывая пленум и оглашение завещания, Троцкий там же, в книге, ссылается на меня как на свидетеля и приводит мое описание: «Бажанов, другой бывший секретарь Сталина, описал заседание Центрального комитета, на котором Каменев прочел завещание: „Чрезвычайная неловкость парализовала присутствующих. Сталин, сидевший на ступеньке эстрады, чувствовал себя маленьким и жалким. Я внимательно смотрел на него“... и т. д.» Из этих текстов – Троцкого и моего, который цитирует Троцкий, ясно, что и Троцкий и я присутствовали на этом пленуме, я – как секретарь заседания. Но я действительно присутствовал на пленуме ЦК 21 мая 1924 года – в это время я был секретарем Политбюро. И я не мог присутствовать на апрельском пленуме ЦК 1923 года – в это время секретарем Политбюро еще не был. Следовательно, не подлежит никакому сомнению, что оглашение завещания произошло на пленуме ЦК 21 мая 1924 года, после смерти Ленина, и Троцкий ошибается.

На съезде Зиновьев прочел политический отчет ЦК. В самые последние дни перед съездом он просил меня сделать анализ работы Политбюро за истекший год, чтобы он мог использовать его для своего доклада. Я это проделал, разнеся тысячи постановлений Политбюро по разным категориям и приведя все это к некоторым

выводам (но все это было очень условно и относительно). Зиновьев мою работу в докладе использовал, но тут же в докладе три раза привел мою фамилию, ссылаясь на меня и благодаря за проделанную мной работу. У этого была скрытая цель, которую я хорошо понимал.

Я достигал какого-то очень высокого пункта в своей карьере. Я уже говорил, что в первые дни моей работы со Сталиным я все время ходил к нему за директивами. Вскоре я убедился, что делать это совершенно незачем – все это его не интересовало. «А как вы думаете, надо сделать? Так? Ага, ну, так и делайте». Я очень быстро к этому привык, видел, что можно прекрасно обойтись без того, чтоб его зря тревожить, и начал проявлять всяческую инициативу. Но дело в том, что руководители ведомств – все члены правительства – были вынуждены все время обращаться к Сталину или в Политбюро в порядке постановки вопросов, их согласования и т. д. Они скоро привыкли к тому, что обращаться к Сталину лично – безнадежно. Сталина все эти государственные дела не интересовали, он в них не так уж много и понимал, ими не занимался и ничего, кроме чисто формальных ответов, давать не мог. Если его спрашивали о ходе решения какой-либо проблемы, он равнодушно отвечал: «Ну, что ж, внесите вопрос – обсудим на Политбюро».

Начав вести контроль за исполнением постановлений Политбюро и все время находясь в контакте (через знаменитую «вертушку») со всеми руководителями ведомств по их проблемам, я очень быстро приучил их к тому, что есть секретарь Политбюро, который в курсе всех их дел, и что гораздо лучше обращаться к нему, потому что у него можно получить и сведения, в каком положении тот или иной вопрос, и каковы мнения и тенденции по этому вопросу в Политбюро, и что по этому вопросу лучше сделать. Я постепенно дошел до того, что в сущности делал то, что должен был делать Сталин, – указывал руководителям ведомств, что вопрос недостаточно согласован с другими ведомствами, что, вместо того чтобы его зря вносить на Политбюро, надо сначала сделать то-то и то-то, другими словами, давал дельные советы, сберегавшие время и работу, и не только по форме, но и по сути движения всяких государственных дел. Ко мне обращались все чаще и чаще. В конце концов я увидел, что я явно превышаю свои полномочия и делаю то, что по существу должен был бы делать генсек ЦК. Тогда я пошел к Сталину и сказал ему, что, кажется, зашел слишком далеко, слишком много на себя беру и выполняю, в сущности, его работу. Сталин на это мне ответил, что институт помощников секретарей ЦК именно для того и был создан по мысли Ленина, чтобы разгрузить секретарей ЦК от второстепенных дел, чтобы они могли сосредоточить свою работу на главном. Я возразил, что в том-то и дело, что я занимаюсь совсем не второстепенными вопросами, а важнейшими (конечно, я понимал, что для Сталина государственные дела вовсе не являются важнейшими; самое важное для него была борьба за власть, интриги и подслушивание разговоров соперников и противников). Сталин мне ответил: «Очень хорошо делаете, продолжайте».

В результате всего этого моя карьера стала принимать какие-то странные размеры (не надо забывать, что мне было всего двадцать четыре года). Венцом всего было то, что Зиновьев и Каменев вспомнили инициативу Ленина: «Мы, товарищи, пятидесятилетние, вы, товарищи, сорокалетние, нам надо готовить смену руководства: тридцатилетних и двадцатилетних». В свое время были выбраны два тридцатилетних: Каганович и Михайлов (я об этом уже говорил). Теперь решили, что пора выбрать двух «двадцатилетних». Этими двумя оказались Лазарь Шацкий и я. Нам, конечно, ничего не было официально сказано, но благодаря доброжелательной информации зиновьевских секретарей об этом узнал Шацкий, а от каменевских секретарей Музыки и Бабахана узнал и я. То, что Зиновьев три раза назвал мою фамилию в важнейшем политическом документе года – политическом отчете ЦК на съезде, – приобретало новый смысл.

Шацкий и я, мы постарались ближе познакомиться друг с другом. Шацкий был очень умный, культурный и способный юноша из еврейской крайне буржуазной семьи. Это он придумал комсомол и был его создателем и организатором. Сначала он был первым секретарем ЦК комсомола, но потом, копируя Ленина, который официально не возглавлял партию, Шацкий, скрываясь за кулисами руководства



комсомола, ряд лет им бессменно руководил со своим лейтенантом Тархановым. Шацкий входил в бюро ЦК КСМ, а формально во главе комсомола были секретари ЦК, которых Шацкий подбирал из комсомольцев не очень блестящих. Сейчас (1924 год) Шацкий по годам из комсомола уже вышел и пошел учиться в Институт красной профессуры. В годы ежовской чистки (1937–1938) он был расстрелян; перед расстрелом работал в Коминтерне.

Вся эта моя блестящая карьера, вместо того чтобы меня удовлетворять, приводила меня в большое затруднение. Дело в том, что я в этот год работы в Политбюро пережил большую, быструю и глубокую эволюцию, в которой уже доходил до конца, – из коммуниста становился убежденным противником коммунизма.

Коммунистическая революция представляет гигантский переворот. Классы имущие и правящие лишаются власти и изгоняются, у них отбираются огромные богатства, они подвергаются физическому истреблению. Вся экономика страны переходит в новые руки. Для чего все это делается?

Когда мне было девятнадцать лет и я вступал в коммунистическую партию, для меня, как и для десятков тысяч таких же идеалистических юнцов, не было никакого сомнения: это делается для блага народа. Иначе и быть не могло. Допустить, что какая-то группа профессиональных революционеров проходит через это море жертв и крови для того, чтобы захватить все богатства страны, пользоваться ими и пользоваться властью, и что это и есть цель социальной революции, – такая идея нам представлялась кощунственной. Для социальной революции, которая ведет к благу народа, мы готовы были рисковать жизнью и, если нужно, жертвовать ею.

Правда, во время всех этих колоссальных сдвигов, к которым привела революция во время Гражданской войны, и переделки всего строя жизни, мы сплошь и рядом видели, что происходят вещи, нам глубоко чуждые и даже враждебные. Мы объясняли это неизбежными издержками революции: «лес рубят – щепки летят»; народ малограмотен, дик и малокультурен; эксцессов избежать очень трудно. И, многое осуждая, мы были лишены возможности исправить то, что мы осуждали, – не от нас это зависело. Например, вся Украина была полна зловещих слухов о жестоком красном терроре, когда чекистские палачи, часто садисты и кокаиноманы, истребляли тысячи жертв самым зверским образом. Я думал, что это разгул местной сволочи, преступников, попавших в органы расправы и широко пользующихся своей страшной властью, а центр революции тут ни при чем и даже, вероятно, не представляет себе, что творится на местах именем революции.

Когда я попал в Центральный комитет, я стал близок к центру всех информации – здесь я получу верные и окончательные ответы на все те вопросы, на которые низовой коммунист дельного ответа получить не мог. Уже в оргбюро я стал ближе к центру событий и понял многие вещи, например, что группа партаппаратчиков во главе со Сталиным, Молотовым и Кагановичем совершает энергичную и систематическую работу по расстановке своих людей для захвата в свои руки центральных органов партии, следовательно, власти, но это была лишь часть проблемы – борьба за власть. А мне нужен был общий ответ на самый важный вопрос: действительно ли все делается для блага народа?

Став секретарем Политбюро, я наконец получил возможность иметь нужный ответ. Эти несколько людей, которые всем правили, которые вчера сделали революцию и сегодня ее продолжают, для чего и как они ее сделали и делают? В течение года я с чрезвычайной тщательностью наблюдал и анализировал мотивы их деятельности, их цели и методы. Конечно, самое интересное было бы начать с Ленина, основоположника большевистской революции, узнать и изучить его самого. Увы, когда я пришел в Политбюро, Ленин уже был разбит параличом и практически не существовал. Но он был еще в центре общего внимания, и я мог много о нем узнать от людей, которые все последние годы с ним работали, а также из всех секретных материалов Политбюро, которые были в моих руках. Я мог без труда отвести лживое и лицемерное прославление «гениального» Ленина, которое делалось правящей группой для того, чтобы превратить Ленина в икону и править его

именем на правах его верных учеников и наследников. К тому же это было нетрудно – я видел насквозь фальшивого Сталина, клявшегося на всех публичных выступлениях в верности гениальному учителю, а на самом деле искренне Ленина ненавидевшего, потому что Ленин стал для него главным препятствием к достижению власти. В своем секретариате Сталин не стеснялся, и из отдельных его фраз, словечек и интонаций я ясно видел, как он на самом деле относится к Ленину. Впрочем, это понимали и другие, например, Крупская, которая немного спустя (в 1926 году) говорила: «Если бы Володя жил, то он теперь сидел бы в тюрьме» (свидетельство Троцкого, его книга о Сталине, франц. текст, стр. 523).

Конечно, «что было бы, если бы» всегда относится к области фантазии, но я много раз думал о том, какова была бы судьба Ленина, если бы он умер на десяток лет позже. Тут, конечно, все зависело бы от того, удалил бы он вовремя (то есть в годах 1923–1924) Сталина с политической арены. Я лично думаю, что Ленин бы этого не сделал. В 1923 году Ленин хотел снять Сталина с поста генерального секретаря, но это желание было вызвано двумя причинами: во-первых, Ленин чувствовал, что умирает, и он думал уже не о своем лидерстве, а о наследстве (и поэтому исчезли все соображения о своем большинстве в ЦК и об отдалении Троцкого); и во-вторых, Сталин, видя, что Ленин кончен, распоясался и начал хамить и Крупской, и Ленину. Если бы Ленин был еще здоров, Сталин никогда не позволил бы себе таких выступлений, был бы ярым и послушным приверженцем Ленина, но втихомолку создал бы свое аппаратное большинство и в нужный момент сбросил бы Ленина, как он это сделал с Зиновьевым и Троцким.

И забавно представить себе, что бы потом произошло. Ленин был бы обвинен во всех уклонах и ошибках, ленинизм стал бы такой же ересью, как троцкизм, выяснилось бы, что Ленин – агент, скажем, немецкого империализма (который его и прислал для шпионской и прочей работы в Россию в запломбированном вагоне), но что революция все же удалась благодаря Сталину, который вовремя все выправил, вовремя разоблачил и выбросил «изменников и шпионов» Ленина и Троцкого. И смотришь, Ленин уже не вождь мировой революции, а темная личность. Возможно ли это? Достаточно сослаться на пример с Троцким, который, как оказывается, не был центральной фигурой октябрьского переворота, не был создателем и вождем Красной армии, а просто был иностранным шпионом. Почему бы и Ильичу? Ну, скажем, потом Ленина после смерти Сталина, может быть, «реабилитировали» бы. А Троцкого реабилитировали?

Когда я начал знакомиться с настоящими материалами о настоящем Ленине, меня поразила его общая черта со Сталиным: у обоих была маниакальная жажда власти. Вся деятельность Ленина пронизывает красной нитью лейтмотив: «во что бы то ни стало прийти к власти, во что бы то ни стало у власти удержаться». Можно предположить, что Сталин просто стремился к власти, чтобы ею пользоваться по-чингисхановски, и не очень отягощал себя другими соображениями, например: «А для чего эта власть?» – в то время как Ленин жаждал власти, чтобы иметь в руках мощный и незаменимый инструмент для построения коммунизма, и старался удержать власть в своих руках для этого. Я думаю, что это предположение близко к истине. Личные моменты играли в ленинском стремлении к власти меньшую роль, чем у Сталина, и во всяком случае иную.

Я пытался установить для себя, каков моральный облик Ленина, не того «исторического», «великого» Ленина, каким изображает его всякая марксистская пропаганда, а того, каким он был на самом деле. По самым подлинным и аутентичным материалам я должен был констатировать, что моральный уровень его был очень невысок. До революции лидер небольшой крайне революционной секты, в постоянных интригах, грызне и ругани с другими такими же сектами, в не очень красивой непрерывной борьбе за кассу, подачки братских социалистических партий и буржуазных благодетелей, овладение маленьким журнальчиком, изгнание и заушение соперников, не брезговавший никакими средствами, он вызывал отвращение Троцкого, кстати, морально более чистого и порядочного. К сожалению, нравы, которые ввел Ленин, определили и нравы партийной верхушки и после революции. Я их нашел и у Зиновьева, и у Сталина.

Но величие Ленина? Тут я был осторожен. Известно, что когда один человек убьет и ограбит свою жертву, он – преступник. Но когда одному человеку удастся ограбить всю страну и убить десять миллионов человек, он – великая и легендарная историческая фигура. И сколько ничтожных и отвратительных мегаломанов, если им удастся прийти к власти в большой стране, становятся великими людьми, сколько вреда бы они ни принесли своей стране, а заодно и другим странам!

Я пришел скорее к тому мнению, что Ленин был хороший организатор. То, что ему удалось взять власть в большой стране, при ближайшем рассмотрении говорит много о слабости его противников (чемпионов революционной разрухи), об их неумелости и отсутствии политического опыта, об общей анархии, в которой небольшая группа прилично организованных ленинских профессиональных революционеров оказалась более умелой и чуть ли не единственной чего-то стоящей организацией. Особого ленинского гения я как-то во всем этом найти не смог.

Чего Ленин хотел? Конечно, осуществления коммунизма. К этому после взятия власти Ленин и его партия шли напролом. Известно, что в течение трех-четырех лет это привело к полной катастрофе. В позднейших партийных изложениях это стыдливо изображается не как крах попытки построения коммунистического общества, а как крах «военного коммунизма». Это, конечно, обычная ложь и фальсификация. Провалился в эти годы коммунизм вообще. Как Ленин принял этот провал?

Официальные ленинские выступления говорят о том, как Ленин вынужден был изобразить отступление партии перед провалом. Меня интересовало, что Ленин на самом деле об этом провале думал. Ясное дело, откровенные мысли Ленина могло знать только его ближайшее окружение, в частности, две его секретарши, Гляссер и Фотиева, с которыми он работал весь день. Я хотел расспросить их о том, что Ленин говорил по этому поводу в откровенных разговорах с ними.

Это было сначала не так легко. Первое время для секретарш Ленина я был «человек Сталина». Но скоро, через несколько месяцев, все время сталкиваясь с ними по работе, я произвел на них другое впечатление: что я – «человек Политбюро», а сталинский помощник формально. Тогда я постепенно смог говорить с ними о Ленине. И наконец смог поставить вопрос, что Ленин на самом деле думал о нэпе, считал ли он, что мы перед крахом коммунистической теории или нет. Секретарши сказали мне, что они ставили Ленину вопрос именно так. Ленин отвечал, им: «Конечно, мы провалились. Мы думали осуществить новое коммунистическое общество по щучьему велению. Между тем, это вопрос десятилетий и поколений. Чтобы партия не потеряла душу, веру и волю к борьбе, мы должны изображать перед ней возврат к меновой экономике, к капитализму как некоторое временное отступление. Но для себя мы должны ясно видеть, что попытка не удалась, что так вдруг переменить психологию людей, навыки их вековой жизни нельзя. Можно попробовать загнать население в новый строй силой, но вопрос еще, сохранили ли бы мы власть в этой всероссийской мясорубке».

Я всегда думал об этих словах Ленина, когда через несколько лет Сталин начал осуществлять всероссийскую мясорубку, загонять народ в коммунизм силой. Оказалось, что, если не останавливаться перед десятками миллионов жертв, это может выйти. А власть при этом сохранить можно. Ленина остановил Кронштадт и Антоновское восстание. Сталин перед архипелагом Гулагом не остановился.

Интересная деталь. Я хотел узнать, какими книгами чаще всего пользовался Ленин. Как мне сказала Гляссер, среди этих книг была «Психология толпы» Густава Лебона. Остается гадать, пользовался ли ею Ленин как незаменимым практическим ключом к воздействию на массы или извлек из замечательного труда Лебона понимание того, что, вопреки наивным теориям Руссо, то сложное вековое переплетение элементов жизни декретами фантазеров и догматиков изменить совсем не так легко (отчего после всех блестящих революций и

возвращается всегда ветер «на круги своя»).

Было совершенно ясно, что Троцкий, как и Ленин, был фанатиком коммунистической догмы (только менее гибким). Его единственной целью также было установление коммунизма. О благе народа вопрос для него мог стоять лишь как какая-то отвлеченная норма далекого будущего, да и ставился ли?

Но тут пришлось мысленно разделить властителей России на три разные группы: первая – Ленин и Троцкий – фанатики догмы; они доминировали в годы 1917–1922, но сейчас они уже представляли прошлое. У власти и в борьбе за власть были две другие группы, не фанатики догмы, а практики коммунизма. Одна группа – Зиновьева и Каменева, другая – Сталина и Молотова. Для них коммунизм был методом. Оправдавшим себя методом завоевания власти и вполне продолжающим оправдывать себя методом властвования. Зиновьевы и Каменевы были практиками пользования властью; ничего нового не изобретая, они старались продолжать ленинские способы. Сталины и Молотовы стояли во главе аппаратчиков, постепенно захватывавших власть, чтобы ею пользоваться; как принято теперь говорить, группы «бюрократического перерождения» или «вырождения» партии. Для обеих групп, представлявших настоящее и будущее партии и власти, вопрос о благе народа никак не стоял, и его как-то даже неловко было ставить. Наблюдая их весь день в повседневной работе, я должен был с горечью заключить, что благо народа – последняя их забота. Да и коммунизм для них – только удачный метод, который никак нельзя покидать.

Пришлось сделать вывод, что социальная революция (была произведена не для народа. В лучшем случае (Ленин и Троцкий) – по теоретической догме, в среднем случае (Зиновьев и Каменев) – для пользования благами власти ограниченной группой, в худшем случае (Сталин) – для едва ли не преступного и голого пользования властью аморальными захватчиками.

Возьмем все же лучший случай. Революция совершена по марксистской догме. А как само Политбюро относится к этой догме? В первое же время моего секретарствования на Политбюро мое ухо уловило иронический смысл термина «образованный марксист». Оказалось, что когда говорилось «образованный марксист», надо было понимать: «болван и пустомеля».

Бывало и яснее. Народный комиссар финансов Сокольников, проводящий дежурную реформу, представляет на утверждение Политбюро назначение членом коллегии Наркомфина и начальником валютного управления профессора Юровского. Юровский – не коммунист, Политбюро его не знает. Кто-то из членов Политбюро спрашивает: «Надеюсь, он не марксист?» – «Что вы, что вы, – торопится ответить Сокольников, – валютное управление, там надо не языком болтать, а уметь дело делать». Политбюро утверждает Юровского без возражений.

Я стараюсь углубить свои познания в области марксистской теории. Что бросается в глаза, это то, что российская социальная революция произведена вопреки всем теориям и предсказаниям Маркса. И на «капиталистическом» Западе эти прогнозы полностью опровергнуты жизнью – вместо предсказанного жестокого обнищания пролетариата происходит постоянный и невиданный прежде подъем жизни трудящихся масс (я вспоминаю, что по знаменитой докладной записке маршала Бобана Людовику XIV в то время пятая часть населения Франции умирала от болезней, не от старости, а от голода; я сравниваю это с началом XX века и уровнем жизни рабочих на Западе). И уже никак не видел Маркс социальной революции в России, где 85 % населения были мелкие собственники – крестьяне, а рабочих было – смешно сказать, немногим более 1 % населения (в 1921 году население советской России в тогдашних пределах равнялось 134,2 миллиона; индустриальных рабочих было 1 миллион 400 тысяч; эти цифры взяты из официальной истории КПСС, том 4, стр. 8, год издания 1970).

Сказать правду, чем больше я углубляюсь в марксистскую теорию, тем более меня тошнит от этой галиматии, помпезно выдаваемой за экономическую науку. Приходится все же во всем этом разобраться, начиная от Адама Смита, который во

второй половине XVIII века, обуреваемый наилучшими намерениями, попытался найти научные основы экономической науки. Попытка была и преждевременна, и порочна. Преждевременна, потому что только определялись методы точных наук, и рано было пытаться их применить к такой сложной и твердой сфере, как область экономических явлений; порочна, потому что отнюдь не эти методы точных наук приложил Смит к анализу изучаемых экономических явлений; а методологию современной немецкой идеалистической философии, диалектику, ноумены и феномены и все прочее, из чего никакого научного познания экономики и возникнуть не могло. Из этого философского вздора родил Смит теорию трудовой стоимости, неверное и грубое детище немецких философских концепций. Чем определяется цена товаров? Искать реальные причины и следствия – не философский подход. Цена – это феномен. Это стоимость. Ею и следует заниматься. А она определяется трудом, физическим трудом, затраченным на производстве товара («позвольте, – возразили трезвые наблюдатели, – это неверно; вот тысяча примеров, когда это не так; а машина, которая производит такую же работу; а цена алмаза, найденного без всякого труда на берегу моря; и т. д.»). Смит поправился: стоимость определяется не простым трудом, а средним общественно необходимым трудом. Эта теория, претендовавшая на научность и бывшая абсолютно ложной, была замечательная в одном отношении: она показала, скольких миллионов человеческих жизней может стоить неудачное произведение человеческого ума. Потому что рожденный Адамом Смитом ублюдок начал жить собственной теоретической жизнью. За Смитом пришел Рикардо и сделал из смитовской теории все логические выводы: раз только физический труд, только рабочий создает ценности, то как может образоваться капитал? Ясно, что капиталист платит рабочему не полную плату за произведенное рабочим, а часть утаивает (прибавочная стоимость); накопление этой утаенной уворованной части и создаст капитал. Следовательно, провозгласил Карл Маркс, каждый капиталист – вор и мошенник, и всякий капитал – богатство, уворованное и награбленное у рабочих. И пролетарии всех стран должны соединиться, чтобы отобрать силой то, что у них уворовано.

На первый взгляд даже странно, как эта галиматья может считаться чем-то научным. По ней только движения рук рабочего создают ценности, полезные вещи, товары и двигают экономику. А работа ученого, работа изобретателя, работа инженера-техника, работа организатора предприятия? Это – работа не руками, а головным мозгом. Она ничего не создает, не играет никакой роли? Но руки у людей были всегда, между тем гигантское развитие благосостояния обществ и масс было достигнуто только тогда, когда мозги ученых и техников нашли, как надо двигать руками, да и машинами, чтобы достигнуть неизмеримо лучших результатов. Между тем, по Марксу, если вы не двигаете руками, вы вор и паразит. Какая все это жалкая чепуха! Как все опрокинуто вверх ногами в этом вздоре, который претендует на научность!

А между тем марксизм оказался фактором огромной силы в жизни нашего общества. Тут опять надо вспомнить гениальные формулы Лебона: «Разум создает познание, чувства движут историю». Марксистская теория, ничтожная для понимания экономической жизни, оказалась динамитом в эмоциональном отношении. Сказать всем бедным и обездоленным: вы бедны, вы нищи и вы несчастны потому, что вас обокрал и продолжает обкрадывать богатый, это – зажечь мировой пожар, возбудить такую зависть и такую ненависть, какую не залить и морем крови. Марксизм – ложь, но ложь необычайной взрывчатой силы. Вот на этом камне и воздвигнул Ленин свою «церковь» – в России.

Я скоро понял все оттенки отношения вождей коммунизма к марксистской теории. Как практики и прагматики, руководившие государством, они прекрасно понимали полную никчемность марксизма в области понимания и организации экономической жизни; отсюда их скептически-ироническое отношение к «образованным марксистам». Наоборот, они высоко ценили эмоционально-взрывную силу марксизма, приведшую их к власти и которая приведет их (как они не без основания надеялись) к власти во всем мире. Резюмируя в двух словах: как наука – вздор; как метод революционного руководства массами – незаменимое

оружие.

Я решил проверить немного глубже, как они относятся к марксизму. Официально его трогать нельзя, разрешается его только «истолковывать», и то только в смысле самом ортодоксальном.

Я часто бывал на дому у Сокольников. Григорий Яковлевич Сокольников (настоящая фамилия – Бриллиант) был в прошлом присяжным поверенным. Он принадлежал к зиновьевско-каменевской группе и был, бесспорно, один из самых талантливых и блестящих большевистских вождей. Какую бы роль ему ни поручали, он с ней справлялся превосходно. Во время Гражданской войны он успешно командовал армией. Народный комиссар финансов после нэпа, он прекрасно провел денежную реформу, создав твердый червонный рубль и быстро приведя в порядок хаотическое большевистское денежное хозяйство. После XIII съезда в мае 1924 года он был сделан кандидатом в члены Политбюро. На съезде 1926 года он выступил вместе с Зиновьевым и Каменевым и был единственным оратором, требовавшим с трибуны съезда снятия Сталина с поста генерального секретаря. Это ему стоило и поста наркомфина и места в Политбюро. На XV съезде, когда Сталин наметил свой преступный курс на коллективизацию, Сокольников выступил против этой политики и требовал нормального развития хозяйства, сначала в легкой промышленности.

Как-то (это было в 1925 году) я зашел к Сокольникову. Он был нездоров и не выходил из дому. Обычно в таких случаях мы говорили о финансах, об экономике. В этот раз я решил рискнуть и завел разговор о марксизме. Не отрицая революционной роли марксизма, я остановился на критике марксистской теории. Исходя из того, что теория создавалась почти век тому назад и что жизнь принесла много нового, что требует теорию пересмотреть и обновить, а также из того, что Политбюро, например, фактически этой теорией в сегодняшнем виде не пользуется как явно отставшей от жизни, я намечал под видом желательных улучшений довольно сильную ломку. Сокольников внимательно выслушал мою длинную речь, ничего не возражая. Когда я кончил, он сказал: «Товарищ Бажанов, в том, что вы говорите, много верного и интересного. Но есть табу, которых трогать нельзя. Дружеский совет: никогда никому не говорите того, что вы мне сказали». Конечно, этому совету я последовал.

Итак, я пришел к выводу, что вожди коммунизма пользуются им лишь как методом, чтобы быть у власти, совершенно презирая интересы народа. В то же время, пропагандируя коммунизм, распинаясь за него и стараясь раздуть мировой коммунистический пожар, они совершенно не верят в его догму, в его теорию. Тут был для меня ключ к пониманию еще одной чрезвычайно важной стороны дела, которая меня все время смущала.

Дело было в том, что кругом была ложь, и во всей коммунистической практике все насквозь было пропитано ложью. Почему? Теперь я понимал, почему. Вожди сами не верили в то, что они провозглашали как истину, как Евангелие. Для них это был лишь способ, а цели были другие, довольно низкие, в которых сознаться было нельзя. Отсюда ложь как постоянная система, пропитывающая все; не как случайная тактика, а как постоянная сущность.

По марксистской догме – у нас диктатура пролетариата. После семи лет коммунистической революции все население страны, ограбленное и нищее, – пролетариат. Конечно, все оно никакого отношения к власти не имеет. Диктатура установлена над ним, над пролетариатом. Официально у нас еще власть рабочих и крестьян. Между тем, всякому ребенку очевидно, что власть только в руках партии, и даже уже не у партии, а партийного аппарата. В стране куча всяких советских органов власти, которые являются на самом деле совершенно безвластными исполнителями и регистраторами решений партийных органов. Я – тоже винтик в этой машине лжи. Мое Политбюро – верховная власть, но это – чрезвычайно секретно, это должно быть скрыто от всего мира. Все, что относится к Политбюро, строго секретно: все его решения, выписки, справки, материалы; за разглашение секрета виновным угрожают всякие кары. Но ложь идет дальше, пропитывает все.

Профсоюзы – это официальные органы защиты трудящихся. На самом деле это органы контроля и жандармского принуждения, единственная задача которых заключается в том, чтобы заставить трудящихся как можно больше работать, как можно больше из них выдавить для рабовладельческой власти. Вся терминология лжива. Истребительная каторга называется «исправительно-трудовыми лагерями», и сотни лгунов в газетах поют дифирамбы необыкновенно мудрой и гуманной советской власти, которая перевоспитывает трудом своих злейших врагов.

И на заседаниях Политбюро я часто спрашиваю себя: где я? На заседании правительства огромной страны или в пещере Али-Бабы, на собрании шайки злоумышленников?

Например. Первыми вопросами на каждом заседании Политбюро обычно идут вопросы Наркоминдела. Обычно присутствует нарком Чичерин и его заместитель Литвинов. Докладывает обычно Чичерин. Он говорит робко и униженно, ловит каждое замечание члена Политбюро. Сразу ясно, что партийного веса у него нет никакого, – до революции он был меньшевиком. Литвинов, наоборот, держится развязно и нагло. Не только потому, что он – хам по натуре. «Я – старый большевик, я здесь у себя дома». Действительно, он старый соратник Ленина и старый эмигрант. Правда, наиболее известные страницы из его дореволюционной партийной деятельности заключаются в темных денежных махинациях – например, размен на Западе царских бумажных денег, награбленных экспроприаторами на Кавказе при вооруженном нападении на средства казначейства; номера крупных денежных билетов переписаны, и разменять их в России было нельзя. Ленин поручил их размен ряду темных личностей, в том числе Литвинову, который при размене попался, был арестован и сидел в тюрьме.

Вся семейка Литвинова, видимо, того же типа. Брат его в каких-то советских комбинациях во Франции, уже пользуясь тем, что его брат – заместитель наркома, пытался обмошенничать советские органы, и Советам пришлось обращаться во французский буржуазный суд и доказывать, что брат Литвинова – жулик и прохвост.

Чичерин и Литвинов ненавидят друг друга яркой ненавистью. Не проходит и месяца, чтобы я не получил «строго секретно, только членам Политбюро» докладной записки и от одного, и от другого. Чичерин в этих записках жалуется, что Литвинов – совершенный хам и невежда, грубое и грязное животное, допускать которое к дипломатической работе является несомненной ошибкой. Литвинов пишет, что Чичерин – педераст, идиот и маньяк, ненормальный субъект, работающий только по ночам, чем дезорганизует работу наркомата; к этому Литвинов прибавляет живописные детали насчет того, что всю ночь у дверей кабинета Чичерина стоит на страже красноармеец из войск внутренней охраны ГПУ, которого начальство подбирает так, что за добродетель его можно не беспокоиться. Члены Политбюро читают эти записки, улыбаются, и дальше этого дело не идет.

Итак, обсуждаются вопросы внешней политики, о какой-то из очередных международных конференций. «Я предлагаю, – говорит Литвинов, – признать царские долги». Я смотрю на него не без удивления. Ленин и советское правительство десятки раз провозглашали, что одно из главных завоеваний революции – отказ от уплаты иностранных долгов, сделанных Россией при царской власти (кстати сказать, при этом ничуть не пострадали французские банковские дельцы, сразу же при заключении займов клавшие в карман условленную комиссию, а пострадали французская мидинетка и мелкий служащий, копившие деньги на старость и поверившие заверениям банков, что нет более верного помещения для их сбережений). Кто-то из членов Политбюро попроще, кажется, Михалваныч Калинин, спрашивает: «Какие долги, довоенные или военные?» – «И те, и другие», – небрежно бросает Литвинов. «А откуда же мы возьмем средства, чтобы их заплатить?» Лицо у Литвинова наглое и полупрезрительное, папироса висит в углу рта. «А кто же вам говорит, что мы их будем платить? Я говорю – не платить, а признать». Михалваныч не сдается: «Но признать – это значит признать, что должны, и тем самым обещать уплатить». У Литвинова вид даже утомленный –

как таких простых вещей не понимают: «Да нет же, ни о какой уплате нет речи». Тут делом начинает интересоваться Каменев: «А как сделать, чтобы признать, не заплатить и лицо не потерять?» (Каменев, надо ему отдать справедливость, еще беспокоится о лице.) «Да ничего же не может быть проще, – объясняет Литвинов. – Мы объявляем на весь мир, что признаем царские долги. Ну, там всякие благонамеренные идиоты сейчас же подымут шум, что большевики меняются, что мы становимся государством, как всякое другое, и так далее. Мы извлекаем из этого всю возможную пользу. Затем в партийном порядке даем на места секретную директиву: образовать всюду общества жертв иностранной интервенции, которые бы собирали претензии пострадавших; вы же хорошо понимаете, что если мы дадим соответствующий циркуляр по партийной линии, то соберем заявления „пострадавших“ на любую сумму; ну, мы будем скромными и соберем их на сумму, немного превышающую царские долги. И, когда начнутся переговоры об уплате, мы предъявим наши контрпретензии, которые полностью покроют наши долги, и еще будем требовать, чтобы нам уплатили излишек».

Проект серьезно обсуждается. Главное затруднение – слишком свежи в памяти ленинские триумфальные заявления об отказе от уплаты царских долгов. Опасаются, что это внесет сумбур в идеи братских компартий за границей. Каменев даже вскользь замечает: «Это то, что Керзон называет большевистскими обезьяньими штучками». Пока решено от предложенного Литвиновым воздержаться.



## Глава 8

### Секретариат Сталина. Военные

*Сталинские списки. Товстуха и Мехлис. Борьба за власть продолжается.  
Троцкий снят с Красной Армии. Фрунзе, Ворошилов, Буденный*

Прошел XIII съезд, и Товстуха энергично занимается следующим «полутемным делом». Он забирает «для изучения» все материалы съезда. Но вскоре выясняется, что его интересуют не все материалы, а некоторые. Он изучает их вместе с каким-то темным чекистом, который оказывается специалистом по графологии.

Когда съезжаются делегаты съезда, они являются в мандатную комиссию съезда, которая проверяет их мандаты и выдает членские билеты съезда (с правом решающего голоса или совещательного). При этом каждый делегат съезда должен собственноручно заполнить длиннейшую анкету с несколькими десятками вопросов. Все подчиняются этой обязанности.

Пока идет съезд, мандатная комиссия производит статистическую работу анализа анкет и в конце съезда делает доклад: в съезде участвовало столько-то делегатов, столько-то мужчин, столько-то женщин; по социальному происхождению делегаты делятся так-то; по возрасту; по партийному стажу; и так далее, и так далее. Все делегаты понимают необходимость подробных анкет, которые они заполняли.

Но есть одна деталь, которой они не предвидят.

В конце съезда происходит избрание центральных партийных органов (ЦК, ЦКК, Центральной ревизионной комиссии). Перед этим собираются лидеры Центрального комитета с руководителями главнейших делегаций (Москвы, Ленинграда, Украины и т. д.). Это – так называемый «сеньорен-конвент», который все называют в просторечии не иначе как «синий конверт». Он вырабатывает в спорах проект состава нового Центрального комитета. Этот список печатается, и каждый делегат с правом решающего голоса получает один экземпляр списка. Этот экземпляр является избирательным бюллетенем, который будет опущен в урну при выборах ЦК, производящихся тайным голосованием. Но то, что есть только один список, вовсе не значит, что делегаты обязаны за него голосовать. Здесь партия, а не выборы советов. В партии еще некоторая партийная свобода, и каждый делегат имеет право вычеркнуть из списка любую фамилию и заменить ее любой другой по своему выбору (которую, заметим кстати, он должен написать своей рукой). Затем производится подсчет голосов. Очень мало шансов, чтобы намеченный «синим конвертом» оказался невыбранным; для этого нужен маловероятный сговор важных делегаций (столичных и других). Но хотя список весь обычно проходит, количество поданных голосов за выбранных варьирует в широких пределах. Если, скажем, делегатов 1000, то наиболее популярные в партии люди пройдут 950–970 голосами, а наименее приемлемые не соберут и 700. Это очень замечается и учитывается.

Что совсем при этом не учитывается и что никому не известно – это работа Товстухи. Больше всего интересуется Товстуху (т. е. Сталина), кто из делегатов в своих избирательных бюллетенях вычеркнул фамилию Сталина. Если б он ее только вычеркнул, его имя осталось бы покрытым анониматом. Но, вычеркнув, он должен был написать другую фамилию, и это дает данные о его почерке. Сравнивая этот почерк с почерками делегатов по их анкетам, заполненным их рукой, Товстуха и чекистский графолог устанавливают, кто голосовал против Сталина (и, следовательно, его скрытый враг), но и кто голосовал против Зиновьева, и кто против Троцкого, и кто против Бухарина. Все это для Сталина важно и будет учтено. А в особенности, кто скрытый враг Сталина. Придет время – через десяток лет – все они получат пулю в затылок. Товстуха подготавливает сейчас списки для будущей расплаты. А товарищ Сталин никогда ничего не забывает и никогда ничего не прощает.

Чтобы все сказать об этой работе Товстухи, я должен несколько забежать вперед. После XIII съезда партии, и в 1925, и в 1926, и в 1927 годах продолжается та же внутривнутрипартийная свобода, идет борьба с оппозицией в комитетах, на ячейках, на собраниях организаций, на собраниях партактива. Лидеры оппозиции яро приглашают своих сторонников выступать как можно больше, атаковать Центральный комитет – этим они подчеркивают силу и вес оппозиции.

Что меня удивляет, это то, что после XIV съезда Сталин и его новое большинство ЦК ничего не имеет против этой свободы. Это, казалось бы, совсем не в обычаях Сталина: проще запретить партийную дискуссию – вынести постановление пленума ЦК, что споры вредят партийной работе, отвлекают силы от полезной строительной деятельности.

Впрочем, я уже достаточно знаю Сталина и догадываюсь, в чем дело. Окончательное подтверждение я получаю в разговоре, который я веду со Сталиным и Мехлисом. Мехлис держит в руках отчет о каком-то собрании партийного актива и цитирует чрезвычайно резкие выступления оппозиционеров. Мехлис негодует: «Товарищ Сталин, не думаете ли вы, что тут переходят всякую меру, что напрасно ЦК позволяет так себя открыто дискредитировать? Не лучше ли запретить?» Товарищ Сталин усмехается: «Пускай разговаривают! Пускай разговаривают! Не тот враг опасен, который себя выявляет. Опасен враг скрытый, которого мы не знаем. А эти, которые все выявлены, все переписаны – время счетов с ними придет».

Это – следующая «полутемная» работа Товстухи. В своем кабинете «Института Ленина» он составляет списки, длинные списки людей, которые сейчас так наивно выступают против Сталина. Они думают: «Сейчас мы против, завтра, может быть, будем за Сталина – в партии была, есть и будет внутренняя свобода». Они не подумают, что Сталин у власти дает им возможность подписать свой смертный приговор: через несколько лет по спискам, которые сейчас составляет Товстуха, будут расстреливать пачками, сотнями, тысячами. Велика людская наивность.

Как я себя чувствую в секретариате Сталина – этом пункте редкой важности? Я не питаю ни малейшей симпатии ни к Каннеру, ни к Товстухе. О Каннере я думаю, что это опасная змея, и отношения у меня с ним чисто деловые. Видя мою карьеру, он старается держаться со мной очень любезно. Но никаких иллюзий у меня нет. Если завтра Сталин сочтет за благо меня ликвидировать, он поручит это Каннеру, и Каннер найдет соответствующую технику. Для меня Каннер – преступный субъект, и то, что он так нужен Сталину, немало говорит и о «хозяине», как любят его называть Мехлис и Каннер. Внешне Каннер всегда весел и дружелюбен. Он – небольшого роста, всегда в сапогах (неизвестно почему), черные волосы барашком.

Товстуха (Иван Павлович) высокий, очень сухощавый интеллигент, туберкулезный; от туберкулеза он и умрет в 1935 году, когда расстрел по его спискам только начнется. Жена его тоже туберкулезная. Ему лет тридцать пять-тридцать шесть. До революции он был эмигрантом, жил за границей, вернулся в Россию после революции. Неизвестно почему он стал в 1918 году секретарем Народного комиссариата по национальностям, где Сталин был наркомом (правда, ничего там не делал). Оттуда он перешел в аппарат ЦК, еще до того, как Сталин стал генсеком. Когда в 1922 году Сталин стал генсеком, он взял Товстуху в свои секретари, и практически до самой своей смерти Товстуха был в сталинском секретариате, выполняя важные «полутемные дела», хотя в то же время формально он был, как я уже говорил, и помощником директора Института Ленина, а потом Института Маркса, Энгельса и Ленина. В 1927 году Сталин сделает его своим главным помощником (я в это время уже не буду в секретариате, а Мехлис уйдет учиться в Институт красной профессуры). Тогда под его началом в секретариате Сталина будет и Поскребышев, который будет заведовать так называемым Особым сектором, а после смерти Товстухи займет его место; и Ежов, который будет заведовать «сектором кадров» сталинского секретариата (это он будет продолжать списки Товстухи; это он через несколько лет, став во главе ГПУ, будет расстреливать по этим спискам и зальет страну новым морем крови, конечно, по высокой инициативе своего шефа, великого и гениального товарища

Сталина); и Маленков, секретарь Политбюро которого все же из осторожности будут называть «протокольным секретарем Политбюро») и заместитель Поскребышева по Особому сектору; он заменит потом Ежова как начальник сектора кадров.

По мере того как Сталин все более и более будет становиться единоличным диктатором, этот его секретариат будет играть все более важную роль. Придет момент, когда в аппарате власти будет менее важно, что вы председатель Совета министров или член Политбюро, чем то, что вы – сталинский секретарь, который имеет к нему постоянный доступ.

Товстуха – мрачный субъект, смотрит исподлобья. Глухо покашливает – у него только пол-легкого. Сталин питает к нему полное доверие. Ко мне он относится осторожно («уж очень блестящую карьеру делает этот юноша»), но не может мне простить, что я заменил его (и Назаретяна) на посту секретаря Политбюро и продолжаю быть в самом центре событий, а он вынужден где-то за кулисами вести для Сталина какую-то грязную работу. Один раз он пытается меня укунить. Он говорит Сталину (не в моем присутствии, а при Мехлисе, который мне потом все рассказал): «Почему Бажанов называется секретарем Политбюро? Это вы, товарищ Сталин, – секретарь Политбюро. Бажанов же имеет право только называться техническим секретарем Политбюро». Сталин ответил уклончиво: «Конечно, ответственный секретарь Политбюро, выбранный Центральным комитетом, это я. Но Бажанов выполняет очень важную работу и разгружает меня от многого».

Я Товстуху не люблю – это темный субъект, завистливый интриган, готовый на выполнение самых скверных поручений Сталина.

Лев Захарович Мехлис возраста Товстухи. После Гражданской войны он перешел в Наркомрабкрестинспекции, другой наркомат, во главе которого стоял, ничего в нем не делая, Сталин; отсюда Сталин берет его в свои секретари в ЦК в 1922 году. Мехлис порядочнее Каннера и Товстухи, он избегает «темных» дел. Он даже создает себе удобную маску «идейного коммуниста». Я в нее не очень верю, я вижу, что он – оппортунист, который ко всему приспособится. Так оно и произойдет. В будущем никакие сталинские преступления его не смутят. Он будет до конца своих дней безотказно служить Сталину, но будет при этом делать вид, будто бы в сталинское превосходство верит. Сейчас он личный секретарь Сталина. Хороший оппортунист, он принимает все и всему подчиняется, принимает и мою карьеру и старается установить со мной дружелюбные отношения. В 1927 году Товстуха его выживает из сталинского секретариата. Он уйдет на три года учиться в Институт красной профессуры. Но в 1930 году он придет к Сталину и без труда докажет ему, что центральный орган партии «Правда» не ведет нужную работу по разъяснению партии, какую роль играет личное руководство Сталина. Сталин сейчас же назначит его главным редактором «Правды». И тут он окажет Сталину незаменимую услугу. «Правда» задает тон всей партии и всем партийным организациям. Мехлис в «Правде» начнет изо дня в день писать о великом и гениальном Сталине, о его гениальном руководстве. Сначала это произведет странное впечатление. Никто Сталина в партии гением не считает, в особенности те, кто его знает.

В 1927 году я не раз заходил в ячейку Института красной профессуры. Это был резерв молодых партийных карьеристов, которые не столько изучали науки и повышали свою квалификацию, сколько изучали и рассчитывали, на какую лошадь поставить в смысле делания своей дальнейшей карьеры. Потешаясь над ними, я говорил: «Одного не понимаю. Почему никто из вас не напишет книги о сталинизме? Хотел бы я видеть такой Госиздат, который эту книгу не издаст немедленно. Кроме того, ручаюсь, что не больше, чем через год, автор книги будет членом ЦК». Молодые карьеристы морщились: «Чего? О сталинизме? Ну, ты уж скажешь такое – циник». (Должен заметить, что говорил я это из чистого озорства: я был в это время убежденным врагом коммунизма и подготовлял свое бегство за границу.)

В 1927 году употреблять термин «сталинизм» – это казалось неприличным. В 1930

году время пришло, и Мехлис из номера в номер «Правды» задавал тон партийным организациям: «Под мудрым руководством нашего великого и гениального вождя и учителя Сталина». Это нельзя было не повторять партийным аппаратчикам на ячейках. Два года такой работы, и уже ни в стране, ни в партии о товарище Сталине нельзя было говорить, не прибавляя «великий и гениальный». А потом разные старатели изобрели и много другого: «отец народов», «величайший гений человечества» и т. д.

В 1932 году Сталин снова возьмет в свой секретариат Мехлиса. Но Товстуха Сталину все же удобнее, и Сталин постепенно пустит Мехлиса по советской линии. Перед войной он будет начальником ПУРа (Политического управления Красной армии), потом народным комиссаром Государственного контроля, во время войны – членом военных советов армий и фронтов (где он будет настоящим сталинцем – ни перед чем не отступающим, неукротимым пожирателем красноармейских жизней), после войны – снова министром Государственного контроля. Умрет он в собственной кровати в том же году, что и Сталин.

Сталинский секретариат растет и играет все более важную роль. Но основная битва Сталина за власть еще не выиграна. Только что, в мае 1924 года, Зиновьев и Каменев спасли Сталина, а он уже думает, как их предать.

На XII съезде произошел забавный эпизод. Чтобы продемонстрировать стране, что трудящиеся будто бы с благодарностью принимают мудрое руководство партии, на съезде было впервые инсценировано выступление беспартийных делегаций (в следующие годы это стало обычным спектаклем). Для начала выпустили беспартийную делегацию рабочих текстильной фабрики Москвы, известной Трехгорки (Трехгорная текстильная мануфактура). Как следует настропалили бойкую бабу с хорошо подвешенным языком, и она с трибуны съезда превосходно оттараторила и о мудром руководстве великой большевистской партии, и о том, что «мы, беспартийные рабочие, всецело одобряем и поддерживаем наших старших руководящих партийных товарищей и т. д.» Но замысел другой тут был. Ее, собственно, выпустили не для этого. Нужно было подчеркнуть стране, что ее ведут новые вожди. До сих пор обычный лозунг был: «Да здравствуют наши вожди Ленин и Троцкий!» Теперь надо было показать, что массы идут за новыми вождями. И хотя ловкую бабу учили и подготавливали, казалось бы, она все хорошо усвоила, а получился конфуз. «А в заключение скажу: да здравствуют наши вожди, товарищ (несколько неуверенно) Зиновьев и... (после некоторого раздумья и обращаясь в сторону президиума) извиняюсь, кажется, товарищ Каминов». Съезд бурно смеялся, и в особенности Сталин. Каменев в президиуме кисло улыбался. Кстати, организаторам и в голову не пришло включить в число «вождей» Сталина. Это бы показалось смехотворным.

Между тем, поскольку ни на предсъездовском пленуме, ни на съезде Троцкий против Сталина лично не выступал, Сталину пришлось в голову, нельзя ли сманеврировать: Зиновьев и Каменев были широко использованы для удаления Троцкого; нельзя ли теперь использовать Троцкого для ослабления Зиновьева и Каменева? Сталин произвел пробу – она не удалась.

17 июня на курсах секретарей уездных комитетов при ЦК Сталин сделал доклад, в котором довольно ясно объявил своим будущим аппаратчикам, что диктатура пролетариата сейчас в сущности заменяется диктатурой партии. Но в то же время, не называя Зиновьева и Каменева, направил огонь против них, обвиняя их в разных ошибках.

Зиновьев реагировал очень энергично. По его требованию было немедленно созвано совещание «руководящих партийных работников» (членов Политбюро и 25 членов ЦК), на котором Зиновьев и Каменев поставили вопрос ребром, и об атаке против них, и о сталинском тезисе о «диктатуре партии» как явной ошибке. Совещание, конечно, сталинский тезис осудило и осудило сталинское выступление против двух остальных членов тройки. Сталин увидел, что поторопился и совершил ошибку. Он заявил, что подает в отставку со своего поста генерального секретаря. Но совещание приняло это за формальную демонстрацию и отставки не приняло.

С другой стороны, Зиновьев и Каменев поняли сталинский маневр в сторону Троцкого и усилили атаки против Троцкого, требуя его исключения из партии. Но большинства в ЦК за исключение Троцкого не было. Зиновьев попробовал через своих молодцов выпустить на арену ЦК комсомола, который вдруг потребовал исключения Троцкого. Но тут Политбюро решительно вернулось к своей догме – это не дело комсомольского ума вмешиваться в политику, и в назидание разогнало ЦК комсомола, удалив из его состава полтора десятка руководящих работников.

Забавно, что в это время в ЦК Сталин тормозил атаки Зиновьева и Каменева против Троцкого. Зато в Коминтерне у Зиновьева была своя рука владыка, и на 5-м конгрессе Коминтерна, который произошел в конце июня – начале июля 1924 года, была проведена резолюция «по русскому вопросу» против Троцкого, а болгарин Коларов, который наиболее отличался в нападениях на Троцкого, был Зиновьевым выдвинут в генеральные секретари исполкома Коминтерна.

Но до конца года в борьбе против Троцкого внешне наступило некоторое затишье. Летом была засуха, урожай был очень плохой. В августе произошло восстание в Грузии. В Политбюро шли споры о политике по отношению к крестьянству. Строго говоря Политбюро не знало, какую политику по отношению к крестьянству принять. Политбюро хотело вступить на путь индустриализации страны. За какой счет ее производить; то есть за счет кого? (Постановка вопроса классически большевистская: чтобы что-то сделать, надо кого-то ограбить.) Ортодоксальные коммунисты во главе с Преображенским предлагали произвести «первоначальное социалистическое накопление» за счет крестьянства. Политбюро колебалось. Обсуждение проблемы на пленуме ЦК в конце октября ничего не дало, несмотря на принятие пышных деклараций о повороте «лицом к деревне». Захватить в свои руки деревню при помощи коллективизации, согнав крестьян в колхозы? Тут вспомнили, что еще недавно, в одной из своих последних статей, в статье «О кооперации», продиктованной 4 и 6 января 1923 года и опубликованной в «Правде» в конце мая, Ленин поставил вопрос о колхозах, но имел в виду только добровольное создание колхозов, и на пленуме ЦК 26 июня 1923 года этот вопрос обсуждался и ленинская директива была принята. Но Зиновьев и Каменев особенных результатов в это время ни от совхозов, ни от колхозов не ожидали, а Сталин вообще по этому поводу еще никакого мнения не имел.

Но в конце года центр внимания партийной жизни вдруг неожиданно опять перешел на борьбу с Троцким. Сталин от своей идеи использовать Троцкого против союзников отказался. А Троцкий написал книгу «1917», в предисловии к которой, названном «Уроки Октября», он энергично атаковал Зиновьева и Каменева, доказывая, что их поведение в октябре 1917 года (когда они, как известно, были против октябрьского вооруженного переворота) было отнюдь не случайно и что эти люди ни в какой мере не обладают качествами вождей революции. Эти «Уроки Октября» Троцкий опубликовал статьей в газетах. После этого Зиновьев и Каменев предложили снова мир и союз Сталину. Сталин поспешил согласиться, и тройка опять на время восстановилась. Кстати, в это время у Сталина произошел некоторый кризис – неуверенности в своих силах. Он увидел, что сделал ряд промахов, перенося бой на линию политической стратегии, где он был слаб; действовало на него и восстание в Грузии, бывшее явным результатом его грузинской национальной политики. Тут Сталин убедился, что не по линии большой политики (а как быть с деревней?) победит он соперников, а по вполне верной и испытанной линии подбора своих людей и захвата большинства в Центральном комитете; а пока это не будет сделано, маневрировать и тянуть.

Наоборот, Зиновьев в тройке яростно требовал окончательного свержения Троцкого. В январе 1925 года произошел пленум ЦК, на котором Зиновьев и Каменев предложили исключить Троцкого из партии. Сталин выступил против этого предложения, разыгрывая роль миротворца.

Сталин уговаривал пленум не только не исключать Троцкого из партии, но поставить его и членом ЦК, и членом Политбюро. Правда, выступления и политические позиции Троцкого были осуждены. Но, главное, наступил момент, чтобы удалить его от Красной армии. Замена ему была давно подготовлена в лице

его заместителя Фрунзе. Фрунзе Сталина не очень устраивал, но Зиновьев и Каменев были за него, и в результате длинных предварительных торгов на тройке Сталин согласился назначить Фрунзе на место Троцкого Наркомвоенном и председателем Реввоенсовета, а Ворошилова – его заместителем.

Ворошилов после Гражданской войны не без противодействия Троцкого был назначен командующим второстепенным Северо-Кавказским военным округом, но Сталин неуклонно следил за его выдвижением, и в результате последних реорганизаций военного ведомства в этот год он уже был командующим одним из самых важных военных округов – Московским. Сталин предложил пленуму, чтобы, оставляя Троцкого членом ЦК и Политбюро, ему одновременно было бы сделано предупреждение – «если он будет продолжать свою фракционную деятельность, то тогда он будет из Политбюро и из ЦК удален». Сняв его с поста Наркомвоенна, пленум назначил его председателем Главконцесскома и председателем особого совещания при ВСНХ по качеству продукции.

Назначения эти были и провокационны, и комичны. Во главе Главконцесскома Троцкий должен был обсуждать с западными капиталистами проекты предлагаемых им промышленных концессий внутри СССР. Между тем в Политбюро давно известно и для себя твердо установлено, что концессии эти были не чем иным, как грубыми жульническими ловушками. Западным капиталистам предлагались концессии на очень заманчиво выглядевших и внешне очень выгодных условиях. Условия договора хорошо соблюдались, пока концессионер ввозил и устанавливал в России машины, оборудование и пускал предприятие в ход. Вслед за тем при помощи любого трюка (каковых трюков у властей было сколько угодно) концессионер ставился в условия, при которых он договор выполнить не мог, договор расторгался, навезенное оборудование и налаженное предприятие переходило в собственность советского государства (я дальше расскажу подробно об одном из таких фокусов с «Лена Гольдфильдс», потому что эта история имела неожиданные и забавные последствия). Собственно, для этого трюк с концессиями и был создан. Троцкий мало подходил для этих мошеннических операций – поэтому, вероятно, его туда и назначили.

Еще меньше он подходил для наблюдения за качеством продукции советских заводов. Блестящий оратор и полемист, трибун трудных переломных моментов, он был смешон в качестве наблюдателя за качеством советских штанов и гвоздей. Впрочем, он сделал попытку добросовестно выполнить и эту задачу, возложенную на него партией; создал комиссию специалистов, объехал с ней ряд заводов и представил результаты изучения Высшему совету народного хозяйства; заключения его никаких последствий, понятно, не имели.

Во главе военного ведомства встал Фрунзе. Надо сказать, что еще в мае 1924 года были добавлены три кандидата в члены Политбюро: Фрунзе, Сокольников и Дзержинский.

Старый революционер, видный командир Гражданской войны, Фрунзе был очень способным военным. Человек очень замкнутый и осторожный, он производил на меня впечатление игрока, который играет какую-то большую игру, но карт не показывает. На заседаниях Политбюро он говорил очень мало и был целиком занят военными вопросами.

Уже в 1924 году, как председатель комиссии ЦК по обследованию состояния Красной армии, он доложил в Политбюро, что Красная армия в настоящем своем виде совершенно небоеспособна, представляет скорее распущенную банду разбойников, чем армию, и что ее надо всю распустить. Это и было проделано, к тому же в чрезвычайном секрете. Оставлены были только кадры – офицерские и унтер-офицерские. И новая армия была создана осенью из призванной крестьянской молодежи. Практически в течение всего 1924 года у СССР не было армии; кажется, Запад этого не знал.

Второе глубокое изменение, которое произвел Фрунзе, – он добился упразднения института политических комиссаров в армии; они были заменены помощниками

командиров по политической части с функциями политической пропаганды и без права вмешиваться в командные решения. В 1925 гоАУ Фрунзе дополнил все это перемещениями и назначениями, которые привели к тому, что во главе военных округов, корпусов и дивизий оказались хорошие и способные военные, подобранные по принципу их военной квалификации, но не по принципу их коммунистической преданности.

Я был уже в то время скрытым антикоммунистом. Глядя на списки высшего командного состава, которые провел Фрунзе, я ставил себе вопрос: «Если бы я был на его месте, такой как я есть, антикоммунист, какие кадры привел бы я в военную верхушку?» И я должен был себе ответить: «именно эти». Это были кадры, вполне подходившие для государственного переворота в случае войны. Конечно, внешне это выглядело и так, что это были очень хорошие военные.

Я не имел случая говорить со Сталиным по этому поводу, да и не имел ни малейшего желания привлекать его внимание к этому вопросу. Но при случае я спросил у Мехлиса, приходилось ли ему слышать мнение Сталина о новых военных назначениях. Я делал при этом невинный вид: «Сталин всегда так интересуется военными делами». – «Что думает Сталин?» – спросил Мехлис. – Ничего хорошего. Посмотри на список: все эти Тухачевские, корки, уборовичи, авксентьевские – какие это коммунисты. Все это хорошо для 18 брюмера, а не для Красной армии». Я поинтересовался: «Это ты от себя или это – сталинское мнение?» Мехлис надулся и с важностью ответил: «Конечно, и его, и мое».

Между тем Сталин вел себя по отношению к Фрунзе скорее загадочно. Я был свидетелем недовольства, которое он выражал в откровенных разговорах внутри тройки по поводу его назначения. А с Фрунзе он держал себя очень дружелюбно, никогда не критиковал его предложений. Что бы это могло значить? Не было ли это повторением истории с Углановым (о которой я расскажу дальше); то есть Сталин делает вид, что против зиновьевского ставленника Фрунзе, а на самом деле заключил с ним секретный союз против Зиновьева. Но это не похоже. Фрунзе не в этом роде, и ничего общего со Сталиным у него нет.

Загадка разъяснилась только в октябре 1925 года, когда Фрунзе, перенеся кризис язвы желудка (от которой он страдал еще от времени дореволюционных тюрем), вполне поправился. Сталин выразил чрезвычайную заботу об его здоровье. «Мы совершенно не следим за драгоценным здоровьем наших лучших работников». Политбюро чуть ли не силой заставило Фрунзе сделать операцию, чтобы избавиться от его язвы. К тому же врачи Фрунзе операцию опасной отнюдь не считали.

Я посмотрел иначе на все это, когда узнал, что операцию организует Каннер с врачом ЦК Погосянцем. Мои неясные опасения оказались вполне правильными. Во время операции хитроумно была применена как раз та анестезия, которой Фрунзе не мог вынести. Он умер на операционном столе, а его жена, убежденная в том, что его зарезали, покончила с собой. Общеизвестна «Повесть о непогашенной луне», которую написал по этому поводу Пильняк. Эта повесть ему стоила дорого.

Почему Сталин организовал это убийство Фрунзе? Только ли для того, чтобы заменить его своим человеком – Ворошиловым? Я этого не думаю: через год-два, придя к единоличной власти, Сталин мог без труда провести эту замену. Я думаю, что Сталин разделял мое ощущение, что Фрунзе видит для себя в будущем роль русского Бонапарта. Его он убрал сразу, а остальных из этой группы военных (Тухачевского и прочих) расстрелял в свое время.

Троцкий в своей книге «Сталин» категорически отрицает мою догадку о Фрунзе, но Троцкий искажает мою мысль. Он приписывает мне утверждение, что Фрунзе стоял во главе военного заговора. Я никогда ничего подобного не писал (тем более, что совершенно очевидно, что никакие заговоры в это время в советской России не были возможны). Я писал, что Фрунзе, по-моему, изжил свой коммунизм, стал до мозга костей военным и ожидал своего часа. Ни о каком заговоре здесь нет речи.

Но едва ли стоит по этому поводу спорить с Троцким – он отличался поразительным непониманием людей и поразительной наивностью. Дальше, говоря о нем, я приведу относящиеся сюда факты.

Конечно, после смерти Фрунзе руководить Красной армией был посажен Ворошилов. После XIV съезда в январе 1926 года он стал и членом Политбюро. Это был очень посредственный персонаж, который еще во время Гражданской войны пристал к Сталину и всегда поддерживал Сталина во время бунта сталинской вольницы против твердой организаторской руки Троцкого. Его крайняя ограниченность была в партии общеизвестна. Слушатели исторического отделения Института красной профессуры острили: «Вся мировая история разделяется на два резко ограниченных периода: до Климентия Ефремовича – и после». Он был всегда послушным и исполнительным подручным Сталина и служил еще некоторое время для декорации и после сталинской смерти.

Вся сталинская военная группа времен Гражданской войны пошла вверх. В ней трудно найти какого-либо способного военного. Но уже умело оркестрированная пропаганда некоторых из них произвела в знаменитости, например, Буденного.

Это был очень живописный персонаж. Типичный вахмистр царской армии, хороший кавалерист и рубака, он оказался в начале Гражданской войны во главе кавалерийской банды, сражавшейся против белых. Во главе – формально: манипулировали бандой несколько коммунистов. Банда разрасталась, одерживала успехи – конница была танками этих годов. В какой-то момент Москва, делавшая ставку на конницу, занялась вплотную Буденным.

Троцкий в это время бросил лозунг «Пролетарий, на коня!», звучавший довольно комично своей напыщенностью и нереальностью. Дело в том, что хорошую конницу делали люди степей – прирожденные кавалеристы, как, например, казаки. Можно еще было посадить на коня крестьянина, который, не будучи кавалеристом, все же лошадь знал, привык к ней и умел с ней обращаться. Но городской рабочий («пролетариат») на коне был никуда. Лозунг Троцкого звучал смешно.

В какой-то момент Буденный в знак внимания получил из Москвы подарки: автомобиль и партийный билет. Несколько встревоженный Буденный созвал главарей своей банды.

«Вот, братва, – доложил он, – прислали мне из Москвы автомобиль и вот это». Тут бережно, как хрупкую китайскую вазочку, положил он на стол партийный билет. Братва призадумалась, но по зрелом размышлении решила: «Автомобиль, Семен, бери; автомобиль – это хорошо. А „это“ (партибилет), знаешь, хай лежить: он хлеба не просит». Так Буденный стал коммунистом.

Банда Буденного скоро разрослась в бригаду, потом в конный корпус. Москва дала ему комиссаров и хорошего начальника штаба. Повышаясь в чинах и будучи командующим, Буденный в операционные дела и в командование не вмешивался. Когда штаб спрашивал его мнение по поводу задуманной операции, он неизменно отвечал: «А это вы как знаете. Мое дело – рубать».

Во время Гражданской войны он «рубал» и беспрекословно слушался приставленных к нему и командовавших им Сталина и Ворошилова. После войны он был сделан чем-то вроде инспектора кавалерии. В конце концов как-то решили пустить его на заседание знаменитого Политбюро. Моя память точно сохранила это забавное событие.

На заседании Политбюро очередь доходит до вопросов военного ведомства. Я распоряжаюсь впустить в зал вызванных военных, и в том числе Буденного. Буденный входит на цыпочках, но сильно грохоча тяжелыми сапогами. Между столом и стеной проход широк, но вся фигура Буденного выражает опасение – как бы чего не свалить и не сломать. Ему указывают стул рядом с Рыковым. Буденный садится. Усы у него торчат, как у таракана. Он смотрит прямо перед собой и явно ничего не понимает в том, что говорится. Он как бы думает: «Вот поди ж ты, это и



есть то знаменитое Политбюро, которое, говорят, все может, даже превратить мужчину в женщину».

Между тем с делами Реввоенсовета кончено. Каменев говорит: «Со стратегией покончили. Военные люди свободны». Сидит Буденный, не понимает таких тонкостей. И Каменев тоже чужак: «Военные люди свободны». Вот если бы так: «Товарищ Буденный! Смирно! Правое плечо вперед, шагом марш!» Ну, тогда все было бы понятно. Тут Сталин с широким жестом гостеприимного хозяина: «Сиди, Семен, сиди». Так, выпучив глаза и по-прежнему глядя прямо перед собой, просидел Буденный еще два-три вопроса. В конце концов я ему объяснил, что пора уходить.

Потом Буденный стал маршалом, а в 1943 году даже вошел в Центральный комитет партии. Правда, это был ЦК сталинского призыва, и если бы Сталин обладал чувством юмора, он бы заодно, по примеру Калигулы, мог бы ввести в Центральный комитет и буденновского коня. Но Сталин чувством юмора не обладал.

Надо добавить, что во время советско-германской войны ничтожество и Ворошилова и Буденного после первых же операций стало так очевидно, что Сталину пришлось их отправить на Урал готовить резервы.

## Глава 9

### Сталин

*Сталин. Характер. Качества и недостатки. Карьера. Аморальность. Отношение к сотрудникам и ко мне. Надя Аллилуева. Яшка*

Пора поговорить о товарище Сталине. Теперь я его хорошо знаю, даже, пожалуй, очень хорошо.

Внешность Сталина достаточно известна. Только ни на одном портрете не видно, что у него лицо изрыто оспой. Лицо невыразительное, рост средний, ходит вперевалку, все время посасывает трубку.

Разные авторы утверждают, что у него одна рука повреждена и он ею плохо владеет. Впрочем, дочь Светлана говорит, что у него плохо двигалась правая рука, а большевик Шумяцкий писал в советской печати, что Сталин не мог согнуть левую руку. По правде сказать, я никогда никакого дефекта такого рода у Сталина не замечал. Во всяком случае, я иногда видел, как он делал правой рукой широкие и размашистые жесты – ее он мог и согнуть и разогнуть. В конце концов, не знаю – никогда Сталин при мне никакой физической работы не делал – может быть и так, что его левая рука была не в порядке. Но я никогда не нашел случая это заметить.

Образ жизни ведет чрезвычайно нездоровый, сидячий. Никогда не занимается спортом, какой-нибудь физической работой. Курит (трубку), пьет (вино; предпочитает кахетинское). Во вторую половину своего царствования каждый вечер проводит за столом, за едой и питьем в компании членов своего Политбюро. Как при таком образе жизни он дожил до 73 лет, удивительно.

Всегда спокоен, хорошо владеет собой. Скрытен и хитер чрезвычайно. Мстителен необыкновенно. Никогда ничего не прощает и не забывает – отомстит через двадцать лет. Найти в его характере какие-либо симпатичные черты очень трудно – мне не удалось.

Постепенно о нем создались мифы и легенды. Например, о его необыкновенной воле, твердости и решительности. Это – миф. Сталин – человек чрезвычайно осторожный и нерешительный. Он очень часто не знает, как быть и что делать. Но он и виду об этом не показывает. Я очень много раз видел, как он колеблется, не решается и скорее предпочитает идти за событиями, чем ими руководить.

Умен ли он? Он неглуп и не лишен природного здравого смысла, с которым он очень хорошо управляется.

Например, на заседаниях Политбюро все время обсуждаются всякие государственные дела. Сталин малокультурен и ничего дельного и толкового по обсуждаемым вопросам сказать не может. Это очень неудобное положение. Природная хитрость и здравый смысл позволяют ему найти очень удачный выход из положения. Он следит за прениями, и когда видит, что большинство членов Политбюро склонилось к какому-то решению, он берет слово и от себя в нескольких кратких фразах предлагает принять то, к чему, как он заметил, большинство склоняется. Делает это он в простых словах, где его невежество особенно проявиться не может (например: «Я думаю, надо принять предложение товарища Рыкова; а то, что предлагает товарищ Пятаков, не выйдет это, товарищи, не выйдет»). Получается всегда так, что хотя Сталин и прост, говорит плохо, а вот то, что он предлагает, всегда принимается. Не проникая в сталинскую хитрость, члены Политбюро начинают видеть в сталинских выступлениях какую-то скрытую мудрость (и даже таинственную). Я этому обману не поддаюсь. Я вижу, что никакой системы мыслей у него нет; сегодня он может предложить нечто совсем не вяжущее с тем, что он предлагал вчера; я вижу, что он просто ловит мнение большинства. Что он плохо разбирается в этих вопросах, я знаю из разговоров с

ним «дома», в ЦК. Но члены Политбюро поддаются мистификации и в конце концов начинают находить в выступлениях Сталина смысл, которого в них на самом деле нет.

Сталин малокультурен, никогда ничего не читает, ничем не интересуется. И наука и научные методы ему недоступны и не интересны. Оратор он плохой, говорит с сильным грузинским акцентом. Речи его очень малосодержательны. Говорит он с трудом, ищет нужное слово на потолке. Никаких трудов он в сущности не пишет; то, что является его сочинениями, это его речи и выступления, сделанные по какому-либо поводу, а из стенограммы потом секретари делают нечто литературное (он даже и не смотрит на результат: придать окончательную статейную или книжную форму – это дело (секретарское). Обычно это делает Товстуха.

Ничего остроумного Сталин никогда не говорит. За все годы работы с ним я только один раз слышал, как он пытался сострить. Это было так. Товстуха и я, мы стоим и разговариваем в кабинете Мехлиса – Каннера. Выходит из своего кабинета Сталин. Вид у него чрезвычайно важный и торжественный; к тому же он поднимает палец правой руки. Мы умолкаем в ожидании чего-то очень важного. «Товстуха, – говорит Сталин, – у моей матери козел был – точь-в-точь как ты; только без пенсне ходил». После чего он поворачивается и уходит к себе в кабинет. Товстуха слегка подобострастно хихикает.

К искусству, литературе, музыке Сталин равнодушен. Изредка пойдет послушать оперу – чаще слушает «Аиду».

Женщины. Женщинами Сталин не интересуется и не занимается. Ему достаточно своей жены, которой он тоже занимается очень мало. Какие же у Сталина страсти?

Одна, но всепоглощающая, абсолютная, в которой он целиком, – жажда власти. Страсть маниакальная, азиатская, страсть азиатского сатрапа далеких времен. Только ей он служит, только ею все время занят, только в ней видит цель жизни.

Конечно, в борьбе за власть эта страсть полезна. Но все же на первый взгляд кажется трудно объяснимым, как с таким скудным арсеналом данных Сталин смог прийти к абсолютной диктаторской власти.

Проследим этапы этого восхождения. И нас еще более удивит, что отрицательные качества были ему более полезны, чем положительные.

Начинает Сталин как мелкий провинциальный революционный агитатор. Ленинская большевистская группа профессиональных революционеров ему совершенно подходит – здесь полагается не работать, как все прочие люди, а можно жить на счет какой-то партийной кассы. К работе же сердце Сталина никогда не лежало. Есть известный риск: власти могут арестовать и выслать на север под надзор полиции. Для социал-демократов дальше эти репрессии не идут (с эсерами, бросающими бомбы, власти поступают гораздо более круто). В ссылке царские власти обеспечивают всем необходимым; в пределах указанного городка или местности жизнь свободная; можно и сбежать, но тогда переходишь на нелегальное положение. Все ж таки жизнь рядового агитатора гораздо менее удобна (и ходу его немного), чем жизнь лидеров – Лениных и Мартовых в Женеве и Парижах: вожди уж совсем отказываются подвергать каким-либо неудобствам свои драгоценные персоны.

Лидеры в эмиграции заняты постоянно поисками средств – и для своей драгоценной жизни и для партийной деятельности. Средства дают и братские коммунистические партии (но скудно и нехотя), буржуазные благодетели. Например, Буревестник (он же Максим Горький), возвращающийся в Московском художественном театре, помог артистке МХАТа Андреевой пленить миллионера Савву Морозова, и золотая манна через Андрееву идет в ленинскую кассу. Но этого мало, всегда мало. Анархисты и часть социалистов-революционеров нашли способ добывать нужные средства – просто путем вооруженных ограблений капиталистов

и банков. Это на революционном деловом жаргоне называется «эксами» (экспроприациями). Но братские социал-демократические партии, давно играющие в респектабельность и принимающие часто участие в правительствах, решительно отвергают эту практику. Отвергают ее и русские меньшевики. Нехотя делает декларации в этом смысле и Ленин. Но Сталин быстро соображает, что Ленин только вид делает, а будет рад всяким деньгам, даже идущим от бандитского налета. Сталин принимает деятельное участие в том, чтобы соблазнить некоторых кавказских бандитов и перевести их в большевистскую веру. Наилучшим завоеванием в этой области является Камо Петросян, головорез и бандит отчаянной храбрости. Несколько вооруженных ограблений, сделанных бандой Петросяна, приятно наполняют ленинскую кассу (есть трудности только в размене денег). Натурально, Ленин принимает эти деньги с удовольствием. Организует эти ограбления петросяновской банды товарищ Сталин. Сам он в них из осторожности не участвует.

(Кстати, трус ли Сталин? Очень трудно ответить на этот вопрос. За всю сталинскую жизнь нельзя привести ни одного примера, когда он проявил бы храбрость, ни в революционное время, ни во время Гражданской войны, где он всегда командовал издали, из далекого тыла, ни в мирное время.)

Ленин чрезвычайно благодарен Сталину за его деятельность и не прочь подвинуть его по партийной лестнице; например, ввести в ЦК. Но сделать это на съезде партии нельзя, делегаты скажут: «То, что он организует для партии вооруженные ограбления, очень хорошо, но это отнюдь не основание, чтобы вводить его в лидеры партии». Ленин находит нужный путь: в 1912 году товарищ Сталин «кооптируется» в члены ЦК без всяких выборов. Поскольку он затем до революции живет в ссылке, вопрос о нем в партии не ставится. А из ссылки с февральской революцией он возвращается в столицу уже как старый член ЦК.

Известно, что ни в первой революции 1917 года, ни в Октябрьской Сталин никакой роли не играл, был в тени и ждал. Через несколько времени после взятия власти Ленин назначил его наркомом двух наркоматов, которые, впрочем, по ленинской мысли были обречены на скорый слом: наркомат рабоче-крестьянской инспекции, детище мертворожденное, который Ленин думал реорганизовать, соединив с ЦКК (что и было потом проделано), и наркомат по делам национальностей, который должен был тоже быть упразднен, передав свои функции Совету национальностей ЦИКа. Что думал Ленин о Сталине, показывает дискуссия, происшедшая на заседании, где Ленин назначал Сталина Наркомнацем. Когда Ленин предложил это назначение, один из участников заседания предложил другого кандидата, доказывая, что его кандидат человек толковый и умный. Ленин перебил его: «Ну, туда умного не надо, пошлем туда Сталина».

Наркомом Сталин только числился – в наркоматы свои почти никогда не показывался. На фронтах Гражданской войны его анархическая деятельность очень спорна, а во время польской войны, когда все наступление на Варшаву сорвалось из-за невыполнения им и его армиями приказов главного командования, и просто вредна. И настоящая карьера Сталина начинается только с того момента, когда Зиновьев и Каменев, желая захватить наследство Ленина и организовав борьбу против Троцкого, избрали Сталина как союзника, которого надо иметь в партийном аппарате. Зиновьев и Каменев не понимали только одной простой вещи – партийный аппарат шел автоматически и стихийно к власти. Сталина посадили на эту машину, и ему достаточно было всего лишь на ней удержаться – машина сама выносила его к власти. Но правду сказать, Сталин кроме того сообразил, что машина несет его вверх, и со своей стороны проделывал для этого все, что было нужно.

Сам собой напрашивается вывод, что в партийной карьере Сталина до 1925 года гораздо большую роль сыграли его недостатки, чем достоинства. Ленин ввел его в Центральный комитет в свое большинство, не боясь со стороны малокультурного и политически небольшого Сталина какой-либо конкуренции. Но по этой же причине сделали его генсеком Зиновьев и Каменев: они считали Сталина человеком политически ничтожным, видели в нем удобного помощника, но никак не

соперника.

Не будет никаким преувеличением сказать, что Сталин – человек совершенно аморальный. Уже Ленин был аморальным субъектом, к тому же с презрением отвергавшим для себя и для своих профессиональных революционеров все те моральные качества, которые по традициям нашей старой христианской цивилизации мы склонны считать необходимым цементом, делающим жизнь общества возможной и сносной: порядочность, честность, верность слову, терпимость, правдивость и т. д.

По Ленину, все это мораль буржуазная, которая отвергается; морально лишь то, что служит социальной революции, другими словами, что полезно и выгодно коммунистической партии. Сталин оказался учеником, превзошедшим учителя. Тщательно разбирая его жизнь и его поведение, трудно найти в них какие-либо человеческие черты. Единственное, что я мог бы отметить в этом смысле, это некоторая отцовская привязанность к дочке – Светлане. И то до некоторого момента. А кроме этого, пожалуй, ничего.

Грубость Сталина. Она была скорее натуральной и происходила из его малокультурности. Впрочем, Сталин очень хорошо умел владеть собой и был груб, лишь когда не считал нужным быть вежливым. Интересны наблюдения, которые я мог сделать в его секретариате. Со своими секретарями он не был нарочито груб, но если, например, он звонил, и курьерша была в отсутствии (относила, например, куда-нибудь бумаги), и на звонок появлялся в его кабинете Мехлис или Каннер, Сталин говорил только одно слово: «чаю» или «спички». Помощники говорили ему «вы» и называли его не по имени-отчеству а обращаясь к нему, говорили «товарищ Сталин». Он говорил «ты» и Товстухе, и Мехлису, и Каннеру. Только мне он говорил «вы», а я был моложе всех. Никакой привязанности ни к одному из его сотрудников у него не было, но он ценил их по степеням полезности; и надо сказать, что все оказывали ему большие услуги – Каннер по делам почти уголовным, Товстуха тоже по делам довольно мрачным, Мехлис, которого он вначале не очень ценил, сделал все нужное, чтобы Сталин стал «великим и гениальным». И я был очень нужен как секретарь Политбюро. Все же отношение ко мне было не то, что к другим. Остальные помощники были «его» люди, преданные и державшиеся за свои места. Я был не «свой», ни преданности, ни уважения к Сталину у меня никаких не было, и я представлял для него некоторую загадку – я совсем не держался ни за место, ни за причастность к власти.

Только один раз он попытался быть со мной грубым. Это было на заседании Политбюро. Как всегда, я записываю резолюции на картонной карточке и передаю ее ему через стол, а он, прочтя, возвращает ее мне. По каким-то разногласиям с членами Политбюро (не имевшим ко мне ни малейшего отношения) он рассердился и хотел показать членам Политбюро свое плохое расположение духа. Для этого он не нашел ничего лучшего, как не возвращать мне через стол карточки, а швырять их через стол. Моя реакция была немедленной – следующую карточку я тоже не передал ему через стол, а бросил. Он удивленно посмотрел на меня и сразу перестал бросать карточки.

Он совсем перестал понимать меня, когда в один прекрасный день в результате моей внутренней эволюции, став антикоммунистом, я потерял желание быть полезным винтиком этой Политбюровской машины. Я сказал ему, что хотел бы перейти работать в Наркомфин (Сокольников предлагал мне руководить Финансово-экономическим бюро Наркомфина, заменившим Ученый совет царского министерства финансов). Сталин удивился: «Почему?» Настоящую причину я ему, конечно, сказать не мог, и ответил, что хотел бы усовершенствоваться в государственных делах финансово-экономического порядка. Он ответил, что я могу это делать, продолжая мою работу, и она от этого только выиграет. «И потом, партия поручает вам очень важную и ответственную работу; нет никакого резона от нее отказываться». Я начал работать и в Наркомфине (я дальше об этом расскажу), но для Сталина, для которого власть была всем, мое равнодушие к власти и готовность от нее уйти были загадкой. Он видел, что во мне чего-то не понимает. Может быть, поэтому он был всегда со мной отменно вежлив.

В те времена (20-е годы) Сталин ведет очень простой образ жизни. Одет он всегда в простой костюм полувоенного образца, сапоги, военную шинель. Никакого тяготения ни к какой роскоши или пользованию благами жизни у него нет. Живет он в Кремле, в маленькой, просто меблированной квартире, где раньше жила дворцовая прислуга. В то время как Каменев, например, знает уже толк в автомобилях и закрепил за собой превосходный «роллс-ройс», Сталин ездит на мощном, но простом «руссо-балте» (впрочем, дорог для автомобилей нет, ездить можно практически только по Москве, а выехать за город можно только чуть ли не по одному Ленинградскому шоссе). Конечно, для него, как и для других большевистских лидеров, вопрос о деньгах никакой практической роли не играет. Они располагают всем без денег – квартирой, автомобилем, проездами по железной дороге, отдыхами на курортах и т. д. Еда готовится в столовой Совнаркома и доставляется на дом.

Обычные регулярные заседания Политбюро начинались утром и заканчивались к обеду. Члены Политбюро расходились обедать, а я оставался в зале заседания, чтобы сформулировать и записать постановления по последним обсуждающимся вопросам. Сделав это, я отправлялся к Сталину. Обычно в это время он начинал обедать. За столом были он, его жена Надя и старший сын Яшка (от первой жены – урожденной Сванидзе). Сталин просматривал карточки, и я отправлялся в ЦК заканчивать протокол.

Первый раз, когда я попал к его обеду, он налил стакан вина и предложил мне. «Я не пью, товарищ Сталин». – «Ну стакан вина, это можно; и это – хорошее, кахетинское». – «Я вообще никогда ничего алкогольного не пил и не пью». Сталин удивился: «Ну, за мое здоровье». Я отказался пить и за его здоровье. Больше он меня вином никогда не угощал.

Но часто бывало так, что, выйдя из зала заседаний Политбюро, Сталин не отправлялся прямо домой, а гуляя по Кремлю, продолжал разговор с кем-либо из участников заседания. В таких случаях, придя к нему на дом, я должен был его ждать. Тут я познакомился и разговорился с его женой, Надей Аллилуевой, которую я просто называл Надей. Познакомился довольно близко и даже несколько подружился.

Надя ни в чем не была похожа на Сталина. Она была очень хорошим, порядочным и честным человеком. Она не была красива, но у нее было милое, открытое и симпатичное лицо. Она была приблизительно моего возраста, но выглядела старше, и я первое время думал, что она на несколько лет старше меня. Известно, что она была дочерью питерского рабочего большевика Аллилуева, у которого скрывался Ленин в 1917 году перед большевистским переворотом. От Сталина у нее был сын Василий (в это время ему было лет пять), потом, года через три, еще дочь, Светлана.

Когда я познакомился с Надей, у меня было впечатление, что вокруг нее какая-то пустота – женщин-подруг у нее в это время как-то не было, а мужская публика боялась к ней приближаться – вдруг Сталин заподозрит, что ухаживают за его женой, – сживет со свету. У меня было явное ощущение, что жена почти диктатора нуждается в самых простых человеческих отношениях. Я, конечно, и не думал за ней ухаживать (у меня уже был в это время свой роман, всецело меня поглощавший). Постепенно она мне рассказала, как протекает ее жизнь.

Домашняя ее жизнь была трудная. Дома Сталин был тиран. Постоянно сдерживая себя в деловых отношениях с людьми, он не церемонился с домашними. Не раз Надя говорила мне, вздыхая: «Третий день молчит, ни с кем не разговаривает и не отвечает, когда к нему обращаются; необычайно тяжелый человек». Но разговоров о Сталине я старался избегать – я уже представлял себе, что такое Сталин, бедная Надя только начинала, видимо, открывать его аморальность и бесчеловечность и не хотела сама верить в эти открытия.

Через некоторое время Надя исчезла, как потом оказалось, отправилась проводить последние месяцы своей новой беременности к родителям в Ленинград. Когда она

вернулась и я ее увидел, она мне сказала: «Вот, полюбуйтесь моим шедевром». Шедевр было месяца три, он был сморщенным комочком. Это была Светлана. Мне было разрешено в знак особого доверия подержать ее на руках (недолго, четверть минуты – эти мужчины такие неловкие).

После того как я ушел из секретариата Сталина, я Надю встречал редко и случайно. Когда Орджоникидзе стал председателем ЦКК, он взял к себе Надю третьим секретарем; первым был добродушный гигант Трайнин. Зайдя как-то к Орджоникидзе, я в последний раз встретился с Надей. Мы с ней долго и по-дружески поговорили. Работая у Орджоникидзе, она ожила – здесь атмосфера была приятная, Серго был хороший человек. Он тоже принял участие в разговоре; он был со мной на «ты», что меня немного стесняло – он был на двадцать лет старше меня (впрочем, он был на «ты» со всеми, к кому питал мало-мальскую симпатию). Больше я Надю не видел.

Ее трагический конец известен, но, вероятно, не во всех деталях. Она пошла учиться в Промышленную академию. Несмотря на громкое название, это были просто курсы для переподготовки и повышения культурности местных коммунистов из рабочих и крестьян, бывших директорами и руководителями промышленных предприятий, но по малограмотности плохо справляющихся со своей работой. Это был 1932 год, когда Сталин развернул гигантскую всероссийскую мясорубку – насильственную коллективизацию, когда миллионы крестьянских семей в нечеловеческих условиях отправлялись в концлагеря на истребление. Слушатели Академии, люди, приехавшие с мест, видели своими глазами этот страшный разгром крестьянства.

Конечно, узнав, что новая слушательница – жена Сталина, они прочно закрыли рты. Но постепенно выяснилось, что Надя превосходный человек, добрая и отзывчивая душа; увидели, что ей можно доверять. Языки развязались, и ей начали рассказывать, что на самом деле происходит в стране (раньше она могла только читать лживые и помпезные репортажи в советских газетах о блестящих победах на сельскохозяйственном фронте). Надя пришла в ужас и бросилась делиться своей информацией к Сталину. Воображаю, как он ее принял – он никогда не стеснялся называть ее в спорах душой и идиоткой. Сталин, конечно, утверждал, что ее информация ложна и что это контрреволюционная пропаганда. «Но все свидетели говорят одно и то же». – «Все?» – спрашивал Сталин. «Нет, – отвечала Надя, – только один говорит, что все это неправда. Но он явно кривит душой и говорит это из трусости; это секретарь ячейки Академии – Никита Хрущев».

Сталин запомнил эту фамилию. В продолжавшихся домашних спорах Сталин, утверждая, что заявления, цитируемые Надей, голословны, требовал, чтобы она назвала имена: тогда можно будет проверить, что в их свидетельствах правда. Надя назвала имена своих собеседников. Если она имела еще какие-либо сомнения насчет того, что такое Сталин, то они были последними. Все оказавшие ей доверие слушатели были арестованы и расстреляны. Потрясенная Надя наконец поняла, с кем соединила свою жизнь, да, вероятно, и что такое коммунизм; и застрелилась. Конечно, свидетелем рассказанного здесь я не был; но я так понимаю ее конец по дошедшим до нас данным.

А товарищ Хрущев начал с этого периода свою блестящую карьеру. В первый же раз, когда в Московской организации происходили перевыборы районных комитетов и их секретарей, Сталин сказал секретарю Московского комитета: «Там у вас есть превосходный работник – секретарь ячейки Промышленной академии – Никита Хрущев; выдвиньте его в секретари райкома». В это время слово Сталина было уже закон, и Хрущев стал немедленно секретарем райкома, кажется, Краснопресненского, а затем очень скоро и секретарем Московского комитета партии. Так пошел вверх Никита Хрущев, дошедший до самого верха власти.

На квартире Сталина жил и его старший сын – от первого брака – Яков. Почему-то его никогда не называли иначе как Яшка. Это был очень сдержанный, молчаливый и скрытный юноша; он был года на четыре моложе меня. Вид у него был забитый. Поражала одна его особенность, которую можно назвать нервной глухотой. Он был

всегда погружен в свои какие-то скрытные внутренние переживания. Можно было обращаться к нему и говорить – он вас не слышал, вид у него был отсутствующий. Потом он вдруг реагировал, что с ним говорят, спохватывался и слышал все хорошо.

Сталин его не любил и всячески угнетал. Яшка хотел учиться – Сталин послал его работать на завод рабочим. Отца он ненавидел скрытной и глубокой ненавистью. Он старался всегда остаться незамеченным, не играл до войны никакой роли. Мобилизованный и отправленный на фронт, он попал в плен к немцам. Когда немецкие власти предложили Сталину обменять какого-то крупного немецкого генерала на его сына, находившегося у них в плену, Сталин ответил: «У меня нет сына». Яшка остался в плену и в конце немецкого отступления был гестаповцами расстрелян.

Я почти никогда не видел сына Сталина от Нади – Василия. Тогда он был младенцем; выросши, стал дегенеративным алкоголиком. История Светланы хорошо известна. Как и мать, она поняла, что представлял Сталин, а, кстати, и коммунизм, и, бежав за границу, нанесла сильный удар коммунистической пропаганде («Ну и режим: родная дочь Сталина не выдержала и сбежала»). Конечно, резюмируя все сказанное о Сталине, можно утверждать, что это был аморальный человек с преступными наклонностями. Но я думаю, что случай Сталина подымает другой, гораздо более важный вопрос: почему такой человек мог проявить все свои преступные наклонности, в течение четверти века безнаказанно истребляя миллионы людей? Увы, на это можно дать только один ответ. Коммунистическая система создала и выдвинула Сталина. Коммунистическая система, представляющая всеобъемлющее и непрерывное разжигание ненависти и призывающая к истреблению целых групп и классов населения, создает такой климат, когда ее держатели власти всю свою деятельность изображают как борьбу с какими-то вымышленными врагами – классами, контрреволюционерами, саботажниками, объясняя все неудачи своей нелепой и нечеловеческой системы как происки и сопротивление мнимых врагов и неустанно призывая к репрессиям, к истреблению, к подавлению (всего: мысли, свободы, правды, человеческих чувств). На такой почве Сталины могут процветать пышным цветом.

Когда руководящая верхушка убеждается, что при этом и ей самой приходится жить с револьвером у затылка, она решает немного отвинтить гайку, но не очень, и зорко следя, чтобы все основное в системе осталось по-старому. Это – то, что произошло после Сталина.

Когда я хорошо понял Ленина и Сталина, мне пришлось спросить себя: правильно ли делает коммунистическая власть, называя «урок» «социально близким элементом»? Не вернее было бы сказать: «Морально близкий элемент»?



## Глава 10

### Члены политбюро. Троцкий

*Троцкий. Его качества. Оратор. Мужество. Поза. Организатор. Наркомпутъ. Красная Армия. Теоретик. Теория перманентной революции. Социализм в одной стране. Основная проблема. «Небольшевизм» Троцкого. Социализм с волчьей мордой. Наивность Троцкого*

Когда Троцкий писал обо мне, он был почти всегда несправедлив: я – антикоммунист, значит враг, «реакционер», и по большевистскому кодексу можно со мной не церемониться. Я не хочу отплатить ему той же монетой и постараюсь быть объективным в его описании.

Из большевистских вождей Троцкий производил на меня впечатление более крупного и одаренного. Но справедливость требует тут же сказать, что он был одарен отнюдь не всесторонне и наряду с выдающимися качествами обладал немалыми недостатками.

Он был превосходным оратором, но оратором типа революционного – зажигательно-агитаторского. Он умел найти и бросить нужный лозунг, говорил с большим жаром и пафосом и зажигал аудиторию. Но он умел вполне владеть своим словом, и на заседаниях Политбюро, где обычно никакого пафоса не полагалось, говорил сдержанно и деловито.

У Троцкого было очень острое перо, он был способный, живой и темпераментный публицист.

Он был человек мужественный и шел на все риски, связанные с его революционной деятельностью. Достаточно указать на его поведение, когда он председательствовал в 1905 году на Петроградском Совете рабочих депутатов; до конца он держался храбро и вызывающе и прямо с председательской трибуны пошел в тюрьму и ссылку.

Но еще более показательна история с «клемансистским тезисом» 1927 года. Власть уже была целиком в руках Сталина, который продолжал шумиху с оппозицией, выявляя (как я уже писал выше) скрытых врагов. На ноябрьском пленуме ЦК 1927 года, на котором Сталин предложил в конце концов исключить Троцкого из партии, Троцкий взял слово и, между прочим, сказал, обращаясь к группе Сталина (передаю смысл): «Вы – группа бездарных бюрократов. Если станет вопрос о судьбе советской страны, если произойдет война, вы будете совершенно бессильны организовать оборону страны и добиться победы. Тогда, когда враг будет в 100 километрах от Москвы, мы сделаем то, что сделал в свое время Клемансо, – мы свергнем бездарное правительство; но с той разницей, что Клемансо удовлетворился взятием власти, а мы, кроме того, расстреляем эту тупую банду ничтожных бюрократов, предавших революцию. Да, мы это сделаем. Вы тоже хотели бы расстрелять нас, но вы не смеете. А мы посмеем, так как это будет совершенно необходимым условием победы». Конечно, в этом выступлении много и наивности, и непонимания Сталина, но как не снять шляпу перед этим выступлением?

Благодаря темпераменту Троцкого, его мужеству и его решительности, он был несомненно человеком острых критических моментов, когда он брал на себя ответственность и шел до конца. Именно поэтому он сыграл такую роль во время Октябрьской революции, когда он был незаменимым исполнителем ленинского плана захвата власти; Сталины куда-то попрятались, Каменевы и Зиновьевы перед риском отступили и выступили против, а Троцкий шел до конца и смело возглавил акцию (кстати, Ильич большой храбрости не показал и немедленно уступил доводам окружающих, что ему не следует рисковать своей драгоценной жизнью, и поспешил спрятаться; а Троцкий этим доводам не уступал; так же и до этого, после

неудачного июньского восстания Ленин сейчас же скрылся, а Троцкий не бежал, а пошел в тюрьму Керенского.)

Но здесь надо указать и на один важный недостаток Троцкого. Он был слишком человеком позы. Убежденный, что он вошел в Историю, он все время для этой Истории (с большой буквы) позировал. Это было не всегда удачно. Иногда это была большая поза, оправданная ролью, которую играл Троцкий и его социальная революция в мировых событиях; к примеру, когда советская власть во время Гражданской войны висела на волоске – «Мы уйдем, но так хлопнем дверью, что весь мир содрогнется» – это тоже для позы и для истории; иногда это было менее оправдано; еще было терпимо, когда Троцкий принимал парады своей Красной армии, стоя на броневике; но бывало и так, что поза была не к месту и была смешна. Троцкий не всегда это замечал – вспомните, например, случай с дверью на пленуме ЦК, о котором я рассказывал выше.

Стратегией Гражданской войны руководил, конечно, больше Ленин, чем Троцкий. Но в организации Красной армии Троцкий сыграл несомненно очень большую роль. Здесь надо отметить одну черту, характерную не для одного Троцкого. В процессе управления страной, отдельными сторонами в организации борьбы и хозяйства способные люди быстро росли и учились. Красины, Сокольниковы и Сырцовы с каждым годом становились все более государственными людьми. В государственной школе даже и менее способные росли и учились. Например, небезызвестный Михалваныч Калинин, которого Ленин ввел в Политбюро отчасти большинства ради, отчасти для того, чтобы постоянно иметь под рукой человека, знающего деревню и психологию крестьян – в этом смысле оказывал несомненные услуги. Но когда он пробовал принимать участие в прениях, требовавших некоторых знаний и культуры, он первое время нес такую чепуху, что члены Политбюро невольно улыбались. И что же? Через два-три года Михалваныч значительно поумнел, во многом разобрался и, не будучи лишен от природы здравого смысла, часто выступал очень толково и перестал быть комиком труппы.

Способный Троцкий, бывший вначале талантливым агитатором, тоже сильно вырос в организаторской и руководящей работе. Но не раз и срывался. После окончания Гражданской войны, когда транспорт был совершенно разрушен и железнодорожники, не получавшие практически никакого жалованья, должны были, чтобы не умереть с голоду, культивировать овощи и заниматься мешочничеством, им некогда было заниматься поездами, и поезда не ходили, Ленин назначил Троцкого народным комиссаром путей сообщения (не без скверной задней мысли – чтобы поставить Троцкого в глупое положение). По вступлении в должность Троцкий написал патетический приказ: «Товарищи железнодорожники! Страна и революция гибнут от развала транспорта. Умрем на нашем железнодорожном посту, но пустим поезда!» В приказе было больше восклицательных знаков, чем иному делопроизводителю судьба отпускает на всю жизнь. Товарищи железнодорожники предпочли на железнодорожном посту не умирать, а как-нибудь жить, а для этого нужно было сажать картошку и мешочничать. Железнодорожники мешочничали, поезда не ходили, и Ленин, достигший своей цели, прекратил конфуз, сняв Троцкого с поста Наркомпути.

Не подлежит сомнению, что и первое время организации Красной армии Троцким все шло в лозунгах и речах, о солдатских комитетах, выборных командирах, бестолковщине, демагогии и бандитизме. Но скоро Троцкий сообразил, что никакой армии без минимальных военных знаний и без минимальной дисциплины создать нельзя. Он привлек специалистов – старых офицеров царской армии; одни были куплены высокими чинами, других просто мобилизовали и заставили отдавать их умение под строгим надзором коммунистических комиссаров. А в борьбе за дисциплину пришлось всю Гражданскую войну бороться против Сталиных и Ворошиловых. И сам Троцкий при этом многому научился и из агитатора постепенно превратился в организатора. Но больших высот в этом деле он все же не достиг: не говоря о конфузе с транспортом, когда пришлось организовать борьбу за власть, ничего дельного здесь Троцким создано не было, и в смысле организации посредственные молоты били его по всей линии. Правда,

Троцкий считал, что самое важное в этой политической борьбе – это большие вопросы политической стратегии, «политика дальнего прицела», борьба в сфере идей. Тут он явно шел за Лениным, пытаясь копировать ленинские схемы и ленинские рецепты, явно демонстрируя свою слабость по сравнению с Лениным, который, конечно, занимался, и очень занимался, вопросами политической стратегии, но придавал не меньшее значение и вопросам организационным (в Петербургском перевороте 1917 года организация сыграла большую роль, чем политика).

Здесь приходится коснуться еще одного слабого места Троцкого – его слабости как теоретика и мыслителя.

Я бы сказал, что Троцкий – тип верующего фанатика. Троцкий уверовал в марксизм; уверовав затем в его ленинскую интерпретацию. Уверовал прочно и на всю жизнь. Никаких сомнений в догме и колебаний у него никогда не было видно. В вере своей он шел твердо. Он мог только капитулировать перед всей партией, которую он считал совершенным орудием мировой революции, но он никогда не отказывался от своих идей и до конца дней своих в них твердо верил; верил с фанатизмом. Из людей этого типа выходят Франциски Ассизские, и Петры Отшельники, и Савонаролы; но и Троцкие, и Гитлеры. Не теоретики, не мыслители, такие фанатики оказывают гораздо большее влияние на судьбу человечества, чем столпы разума и мудрости.

Если попытаться восстановить, какова была основная политическая мысль Троцкого, то не так легко разобраться в горе ложных обвинений, которую беспрерывно громоздили против него сначала зиновьевцы, потом сталинцы, потом сталинские наследники. Во всяком случае, уже в то время, когда эта борьба происходила внутри партии и я был ее свидетелем, для меня, как и для всех большевистских верхов, была ясна лживость и надуманность большинства разногласий. Нужно было повергнуть соперника и завладеть властью. Но нельзя было иметь такой вид, что это безыдейная борьба пауков в банке. Надо было делать вид, что борьба высокоидейная и разногласия необычайно важны: от того или другого их решения зависит будто бы чуть ли не все будущее революции.

Между тем, обычно это были неопределенные споры о словах. В особенности много таких пустых и тенденциозных споров было проведено вокруг знаменитой теории «перманентной революции» Троцкого и сталинского «построения социализма в одной стране». На самом деле идея Троцкого заключалась в том, что с Октябрьской революцией в России началась эпоха мировой социальной революции, которая будет вспыхивать и в других странах. Имея всегда эту цель в виду, надо рассматривать коммунистическую Россию как плацдарм, базу, позволяющую вести и продолжать подготовительную революционную работу в других странах. Это совершенно не означает, что имея в виду цель мировой революции, можно не придавать никакого значения тому, что будет происходить в России. Наоборот, по мысли Троцкого, надо активно строить коммунизм в России; но по его мнению (и надо сказать, что Ленин до революции целиком это мнение разделял), одна изолированная русская революция едва ли долго устоит перед натиском остальных «капиталистических» стран, которые постараются подавить ее силой оружия.

Совершенно ясно видно, что хотя Троцкий и изгнан, убит, осужден и предан анафеме, эта общая идея перманентной мировой революции всегда продолжала русским коммунизмом проводиться, продолжает проводиться и будет всегда основной стратегической линией коммунизма.

Правда, под давлением фактов и опыта, русский коммунизм должен был пересмотреть некоторые первоначальные пессимистические прогнозы Ленина и Троцкого. Руководители крупных «капиталистических» держав не только вопреки всякому здравому смыслу не свергли русский коммунизм силой оружия, но предавая западную цивилизацию, как Черчилль и Рузвельт, сделали все для спасения коммунизма, когда ему стала угрожать опасность, и сделали все, чтобы он захватил полмира и стал основной мировой угрозой для человечества. Предвидеть такую степень предательства и политического кретинизма

действительно было очень трудно; здесь я должен заступиться за Ленина и Троцкого: они делали предположения, исходя из того, что имеют дело с противниками нормальными и здравомыслящими. Как тут не процитировать талантливого русского поэта Георгия Иванова:

Рассказать вам о всех мировых дураках, Что судьбу человечества держат в руках. Рассказать вам о всех мировых подлецах, Что уходят в историю в светлых венцах.

Точно такой же характер надуманности имеют и споры о сталинской теории «построения социализма в одной стране». Сталин, желая иметь вид, что у него тоже в основном идейные разногласия с Троцким, в начале 1925 года обвинил Троцкого в том, что он не придает значения, «не верит» в возможность построить социализм в одной стране, то есть в России, где коммунистическая революция уже произведена. На беду в этот момент (март 1925 года) опять началась грызня между Зиновьевым и Сталиным: Зиновьев не терпел экскурсий Сталина в область общей стратегии и находил смехотворными его попытки выступать в роли теоретика и стратега. На мартовском пленуме произошли стычки, и Сталин отомстил Зиновьеву, показавши ему, что большинство в ЦК стоит больше, чем какая-то там стратегия. На пленуме тезисы Зиновьева к исполкому Коминтерна были отвергнуты по вздорным мотивам спора о словах – идет ли речь об «окончательной» победе социализма или нет. В апреле Зиновьев и Каменев на Политбюро удвоили атаки против сталинского социализма в одной стране – надо было не допустить, чтобы Сталин ставил свою кандидатуру в стратеги и вожди революции. В конце апреля Сталин созвал XIV партийную конференцию, на которой этот вопрос сугубо обсуждался.

Опять-таки споры шли о словах и были надуманы. Может ли быть социализм построен в одной стране? Вопрос в конце концов шел о том, свергнут ли его враги силой оружия. На восьмом году революции уже можно было разглядеть, что пока его никто свергать не собирается. Сделать ли из этого символ веры? Какой в этом смысл? Или считать, что пока надо усиливаться, а там видно будет, это в сущности никакого значения не имело. А сколько потом, поссорившись со Сталиным, вылил зиновьевский блок чернил на Сталина, доказывая, что он не революционер, забросил мировую революцию и погряз только в местных делах и т. д.

Кроме всего этого, надуманного, были, конечно, и проблемы капитальной важности. Самая важная, которая встала в 1925–1926 годах, была: продолжать ли нэп, мирное соревнование между элементами «капиталистическими» (то есть свободного рынка, хозяйственной свободы и инициативы) и коммунистическими, или вернуться к политике 1918–1919 годов и вводить коммунизм силой. От того, по какому пути пойдет власть, зависела жизнь десятков миллионов людей.

Практически это был прежде всего вопрос о деревне. Дать возможность как-то медленно эволюционировать крестьянству и его хозяйству, не разрушая их, или разгромить крестьянство, ни перед чем не останавливаясь (по марксистской догме крестьянство – это мелкие собственники, элемент мелкобуржуазный). Тут, конечно, был и вопрос, есть ли возможность это сделать. Ленин опасался, что власть не обладает достаточными силами, и предпочитал решение постепенное с добровольным и медленным вовлечением крестьянства в колхозы («кооперативы»). Сейчас по оценке Сталина гигантский полицейский аппарат (с опорой на армию) достиг такой силы, что создание искомой всероссийской каторги было возможно.

Но каков лучший путь? Кое-чему научившиеся практики Бухарин и Рыков считали, что надо продолжать ленинский путь нэпа. В апреле 1925 года Бухарин на собрании московского актива сделал свое знаменитое заявление, что «коллективизация – не столбовая дорога к социализму» и что надо ставить ставку на развитие крестьянского хозяйства, бросив даже крестьянам лозунг «обогащайтесь!». Строго говоря, это был выбор: идти ли по дороге человеческой, здравого смысла (и тогда эта дорога не коммунистическая) или пойти по дороге коммунистической мясорубки. Характерно, что самые талантливые бухарины,

Сокольниковы, Красины, сырцовы поняли (как, видимо, понял и Ленин), что налицо был провал коммунизма и что надо переходить на дорогу здравого смысла. Яркие фанатики, как Троцкий, бесчестные комбинаторы, искавшие лишь власти, как Зиновьев, и вполне аморальная публика, как Сталин, из разных соображений сошлись на том же: продолжать силой внедрение коммунизма.

Но это произошло не сразу. В 1925 году зиновьевский клан ничего не имел против бухаринской позиции. Понадобилось его удаление от власти в 1926 году, чтобы он сделал вольт-фас и стал защищать рецепты Троцкого о сверхиндустриализации и нажиме на деревню. А Сталин, не особенно углубляясь в идеи, больше подчинял все своим комбинациям. В 1926 году, выбросив Зиновьева и Каменева, он поддержал против них позицию Бухарина. И до конца 1927 года, громя зиновьевско-троцкистский блок, он занимает эту позицию. Но в конце 1927 года он решает отделаться от старых членов Политбюро – Бухарина, Рыкова и Томского. И тогда он без всякого смущения берет всю политику Зиновьева и Троцкого, которую он все время осуждал и громил. Теперь он и за сверхиндустриализацию, и за насильственную коллективизацию и разгром деревни. И когда декабрьский съезд 1927 года дает ему наконец твердое и непоколебимое большинство в ЦК (плод многих лет неустанной работы), он эту попытку принимает, выбрасывает старых членов Политбюро и теперь уже спокойно через горы трупов идет к своему коммунизму.

По существу здесь пути Сталина и Троцкого сошлись. Троцкий тоже коммунист, последовательный и недоступный здравому смыслу.

Между тем, надо вспомнить, что даже в своем завещании Ленин писал о «небольшевизме» Троцкого (который он, впрочем, советовал не особенно ему ставить в вину). Фактически это означает, что до революции Троцкий никогда не принадлежал к ленинской партии профессиональных революционеров. Известно, что приехав в Россию после февральской революции, он сначала вошел в группу «межрайонцев», с которыми летом 1917 года и влился в конце концов в ленинскую организацию. То есть Троцкий до революции не был большевиком. Надо сказать, что это – большой комплимент. Члены ленинской большевистской организации были публикой, погрязшей в интригах, грызне, клевете, компания аморальных паразитов. Троцкий не выносил ни нравов, ни морали этой компании. И даже жил не за счет партийной кассы и буржуазных благодетелей, как Ленин, а зарабатывал на жизнь трудом журналиста (еще до войны я читал его статьи в «Киевской мысли»). Не приняв специфической морали Ленина, он был в отличие от него человеком порядочным. Хотя и фанатик, и человек нетерпимый в своей вере, он был отнюдь не лишен человеческих чувств – верности в дружбе, правдивости, элементарной честности. Он действительно не был ленинским большевиком. Когда я уже хорошо его знал, я узнал с удивлением, что он был сыном крестьянина. Как это ни кажется странным, в 80-х годах прошлого века были еще в России еврей-крестьяне, пахавшие землю и жившие крестьянским трудом. Таков был и его отец. Он был хорошим крестьянином (по большевистской изуверской терминологии – кулак, по человеческой – старательный, работающий и зажиточный крестьянин). Какое влияние на Троцкого оказала эта близость к деревне и правде природы? Можно только гадать.

Но Троцкий поставил передо мной и большую человеческую проблему. Уйдя от коммунизма и продолжая о коммунизме думать, я невольно ставил себе некоторые общие вопросы. В частности такой.

Наше время наполняет борьба коммунизма со старой христианской цивилизацией. Я так определял ее социальную суть. Двадцать веков тому назад, во время римской империи, человек человеку был волк. Пришло христианство и предложило: «Почему бы нам не устроить человеческое общество так, чтобы человек был человеку не волк, а друг и брат?» В этом все социальное значение христианства (я совершенно не касаюсь здесь его чрезвычайно важной религиозной стороны). И в течение двадцати веков, плохо ли, хорошо ли, эти идеи вошли все же в сознание как идеал, к которому нужно стремиться (и порожденная христианством социалистическая идея, конечно, в ее настоящем, не марксистском виде, вышла

отсюда же). Но человеческая натура плоха; долгое развитие этих идей не помешало еще в XX веке передовым христианским нациям миллионами истреблять друг друга. Во всяком случае, вся наша многовековая цивилизация пыталась нас вести к этому идеалу. Коммунизм и марксизм являются его прямым отрицанием. Здесь убийство, насилие, массовое истребление вводятся в закон. Человек человеку снова волк. И коммунистическая партия, аппарат создания этого нового общества, или, если хотите, социализма с волчьей мордой, сама построена по принципу волчьей стаи. Здесь нет ни друга, ни брата, здесь есть только «товарищ». Что такое «товарищ»? Это тот, кто идет с вами рядом (волк волку тоже товарищ); но до известного момента; он может двадцать лет идти с вами рядом участвовать с вами в боях и невзгодах, но если он нарушил закон волчьей стаи или стал почему-то стае не подходить, на него набрасываются и мгновенно его загрызают (вам это ничего не напоминает из истории коммунистической партии?): он не друг, не брат, он только «товарищ», не больше.

Почему и для чего коммунизм так решительно отвергает идею дружбы и братства между людьми? Почему стремится он установить это волчье царство? И почему он побеждает, почему за ним идут? Сомнения начинают смущать мою не так уж искусственную молодость. А может быть, вообще идеал братства – совершенно неосуществимая утопия; может быть, светлая мечта, рожденная в земле Галилейской, не более, чем мечта, осужденная историей?

Я знаю, что мужчина всегда был грубым животным и насильником, был ли в течение веков солдатом, охотником, диким кочевником и даже земледельцем, всегда в борьбе против опасностей, врагов, природы, диких зверей, соседей, всегда убийца. Христианская идея нашла прямой отклик скорее у женщин. По самому своему биологическому существу женщина, дающая и продолжающая жизнь, склонна к любви, заботе о слабом; вся ее жизнь – сплошное самопожертвование для своих детей.

Христианская идея любви и жалости ей близка. Я убежден, что христианство победило против железных легионов Рима благодаря женщине. А мужскому роду, может быть, более подходит насилие, этот волчий мир, который с таким успехом устанавливает коммунизм?

Вот Троцкий, человек убежденный и искренний. Когда коммунисты уверяют, что они переворачивают мир якобы для того, чтобы упразднить эксплуатацию человека человеком, до смешного ясно, что это ложь. При первой возможности и без малейшего стеснения они заменяют то, что они называют капиталистической эксплуатацией (будто бы рабочему не все доплачивают за его труд) такой социалистической эксплуатацией, какая рабочему раньше и не снилась. Речь идет уже не о доплачивании, речь идет о даровом труде миллионов каторжников, об их бесчеловечном истреблении. Но Троцкий – человек искренний и в свои идеи верующий. Ведь он понимает, что все это ложь. Как же он был вместе с Лениным вдохновителем террора, как предлагал он «трудовые армии» с железной дисциплиной, где отказ от работы означал бы немедленный расстрел?

А между тем Троцкий не лишен человеческих качеств. Он – хороший семьянин, очень любит своих детей, которые преклоняются перед ним, преданы ему и слепо идут за ним. Я был знаком с его дочкой Зиной, очень на него похожей, худенькой и хрупкой туберкулезной молодой женщиной, так же возбужденной и вспыхивающей, как отец. Отец для нее был все. Она, конечно, погибла в сталинских тюрьмах.

И еще одна черта меня всегда поражала в Троцком – его удивительная наивность и непонимание людей. Можно подумать, что он всю жизнь прошел, видя только абстракции и не видя живых людей, как они есть. В частности, он ничего не понял в Сталине, о котором написал толстую книгу.

В 1930 году, будучи за границей, я написал по поводу высылки Троцкого из СССР, что я очень удивлен и не узнаю моего Сталина, которого я так хорошо изучил. Гораздо более в его нравах было поступить с Троцким, как, например, с Фрунзе. В

сталинском распоряжении сколько угодно способов отравить Троцкого (ну, не прямо, это было бы подписано, а при помощи вирусов, культур микробов, радиоактивных веществ), и потом хоронить его с помпой на Красной площади и говорить речи. Вместо этого он выслал его за границу. Я заканчивал свое изложение так: «В общем, непонятно, почему Сталин не следовал своему обычному методу, который так отвечает его привычкам и его характеру. Но в конце концов вполне возможно, что Сталин находит более выгодным убить Троцкого не в СССР, а за границей».

Это было написано в 1930 году. В 1940 году последней работой Троцкого была книга о Сталине, которую смерть не дала ему закончить. Он успел написать 584 страницы этой книги. Следовательно, 579-ю и 580-ю страницы он писал, вероятно, в последние дни или недели своей жизни. Вот что он пишет на этих страницах: «По поводу моей высылки в феврале 1929 года в Турцию Бажанов пишет...» Далее идет на полстраницы цитата из моей книги. Вслед за тем Троцкий продолжает: «В 1930 году, когда появилась книга Бажанова, я рассматривал это как простое литературное упражнение. После московских процессов я ее более принял всерьез». И далее он приводит догадки, что в сталинском секретариате, который я покинул в 1926 году, я что-то по этому поводу слышал и знаю. То есть то, что было для меня ясно еще 1930 году, и в чем я не сомневался, а именно, что Сталин в нужный момент его убьет (а с началом войны для Сталина это принимало характер срочности), Троцкий «начинал принимать всерьез» лишь незадолго до своей смерти. И для этого еще нужно было допускать, что Бажанов что-то слышал в сталинском секретариате в 1926 году. А нельзя было просто сообразить, что такое Сталин? Какая поразительная наивность и какое непонимание людей!

## Глава 11

### Члены политбюро

*Зиновьев. Каменев. Рыков. Томский. Бухарин. «Реабилитация». Калинин. Молотов*

В течение трех лет Григорий Евсеевич Зиновьев был «номером первым» коммунизма и затем в течение десяти лет постепенно спускался в подвал Лубянки, где он и закончил свою жизнь. Заменив Ленина на посту лидера, он все же партией, как настоящий вождь, принят не был. На первый взгляд может показаться, что это облегчило его поражение. На самом деле победа или поражение в этой борьбе за власть определялись другими причинами, чем популярность, чем признание превосходства. Среди этих причин есть и очень важные, но до сих пор мало учтенные, но об этом речь будет дальше.

Зиновьев был человек умный и культурный; ловкий интриган, он прошел длинную ленинскую дореволюционную большевистскую школу. Порядочный трус, он никогда не склонен был подвергаться рискам подполья, и до революции почти вся его деятельность протекала за границей. Летом 1917 года он также не очень был увлечен риском революционного переворота и занял позицию против Ленина. Но после революции Ленин простил ему довольно быстро и в начале 1919 года поставил его во главе Коминтерна.

С этого времени Зиновьев благоразумно занимает позицию ленинского ученика и последователя. Эта позиция была удобна и чтобы претендовать на ленинское наследство. Но ни в каком отношении, ни в смысле теории, ни в смысле большой политики, ни в области организационной стороны борьбы Зиновьев не оказался на высоте положения. Как теоретик, он не дал ничего; попытки 1925–1926 годов (философия эпохи по Зиновьеву – стремление к равенству) не вязались ни с целями, ни с практикой коммунизма и были приняты партией с равнодушием. В области большой политической стратегии он подчинял все мелкой тактике борьбы за власть, яростно стараясь отвергать все, что говорил Троцкий, а отброшенный от власти сразу принял все позиции Троцкого (прямо противоположные), чтобы блокироваться с ним против Сталина. Наконец, в области организационной он только сумел крепко захватить в свои руки вторую столицу, Ленинград; но этого было слишком недостаточно для успеха. Он держал в своих руках и Коминтерн; но это было еще менее важно. Тот, кто был хозяином в Кремле, мог посадить кого угодно руководить Коминтерном (одно время Сталин посадил даже Молотова).

Выдвинув весной 1922 года Сталина на пост генерального секретаря партии, Зиновьев считал, что позиции, которые он сам занимал в Коминтерне и в Политбюро, явно важнее, чем позиция во главе партийного аппарата. Это был просчет и непонимание происходивших в партии процессов, сосредоточивавших власть в руках аппарата. В частности, одна вещь для людей, боровшихся за власть, должна быть совершенно ясной. Чтобы быть у власти, надо было иметь свое большинство в Центральном комитете. Но Центральный комитет избирается съездом партии. Чтобы избрать свой Центральный комитет, надо было иметь свое большинство на съезде. А для этого надо было иметь за собой большинство делегаций на съезд от губернских, областных и краевых партийных организаций. Между тем эти делегации не столько выбираются, сколько подбираются руководителями местного партийного аппарата – секретарем губкома и его ближайшими сотрудниками. Подобрать и рассадить своих людей в секретари и основные работники губкомов, – и таким образом будет ваше большинство на съезде. Вот этим подбором и занимаются систематически уже в течение нескольких лет Сталин и Молотов. Не всюду это проходит гладко и просто. Например, сложен и труден путь ЦК Украины, у которого несколько губкомов. Приходится комбинировать, смещать, перемещать, то сажать на ЦК Украины первым секретарем Кагановича, чтоб навел в аппарате порядок, то перемещать, выдвигать и удалять строптивых украинских работников. Но в 1925 году основное в



этом рассаживании людей проделано. Зиновьев увидит это тогда, когда уже будет поздно. Казалось, можно было раньше сообразить смысл этой сталинской работы.

На съезде 1924 года Зиновьев второй раз (и последний) делает свой лидерский политический отчет ЦК. За несколько дней до съезда он еще явно не знает, о чем он будет докладывать. Он спрашивает меня, не могу ли я ему сделать анализ работы Политбюро за истекший год. Я его делаю и представляю в виде развернутых материалов к съезду о том, чем в основном занималось Политбюро за год. Я никак не ожидаю, что все это может играть большую роль как материалы. На большую роль они, конечно, и не претендуют. К моему большому удивлению, Зиновьев ухватывается за эти материалы и так примерно строит свой доклад: «Вот, товарищи, за этот год мы занимались тем-то и тем-то и сделали то-то».

Я поражен. Настоящий вождь и лидер должен был выделить основные и узловые проблемы жизни страны, путей революции. Вместо этого – неглубокий отчет. Случайно мои материалы служат канвой для этого бухгалтерского отчета. Я убеждаюсь, что настоящего размаха и настоящей глубины у Зиновьева нет.

Трудно сказать почему, но Зиновьева в партии не любят. У него есть свои недостатки, он любит пользоваться благами жизни, при нем всегда клан своих людей; он трус; он интриган; политически он небольшой человек; но остальные вокруг не лучше, а многие и много хуже. Формулы, которые в ходу в партийной верхушке, не очень к нему благосклонны (а к Сталину?): «Берегитесь Зиновьева и Сталина: Сталин предаст, а Зиновьев убежит».

При всем том у него есть общая черта с Лениным и Сталиным: он остро стремится к власти; конечно, у него это не такая всепоглощающая страсть, как у Сталина, он не прочь и жизнью попользоваться, но все же это у него относится к области самого важного в жизни, совсем не так, как у малочестливого Каменева.

На свое несчастье, Лев Борисович Каменев находится на поводу у Зиновьева, который увлекает его и затягивает во все политические комбинации. Сам по себе он не властолюбивый, добродушный и довольно «буржуазного» склада человек. Правда, он старый большевик, но не трус, идет на риски революционного подполья, не раз арестовывается; во время войны в ссылке; освобождается лишь революцией. Здесь он попадает в орбиту Зиновьева и теперь всегда идет за ним, в частности, против ленинского плана захвата власти; потом предлагает создание коалиционного правительства с другими партиями и подает в отставку; но скоро он опять же вслед за Зиновьевым появляется на поверхности, возглавляя Московский совет, а потом становится чрезвычайно полезным для Ленина его заместителем по всем хозяйственным делам. А с болезнью Ленина он и фактически руководит всей хозяйственной жизнью. Но Зиновьев втягивает его в тройку, и три года он во всем практическом руководстве заменяет Ленина: председательствует на Политбюро, председательствует в Совнаркоме и в Совете труда и обороны.

Человек он умный, образованный, с талантами хорошего государственного работника (теперь сказали бы «технократа»). Если бы не коммунизм, быть бы ему хорошим социалистическим министром в «капиталистической» стране.

Женат он на сестре Троцкого, Ольге Давыдовне. Сын его, Лютик, еще очень молод, но уже широко идет по пути, который в партии называется «буржуазным разложением». Попойки, пользование положением, молодые актрисы. В партии есть еще люди, хранящие веру в идею; они возмущаются. Написана даже пьеса «Сын наркома», в которой выведен Лютик Каменев, и пьеса идет в одном из московских театров; при этом по разным деталям не трудно догадаться, о ком идет речь. Каннеру звонят из Агитпропа ЦК – за директивой; Каннер спрашивает у Сталина, как быть с пьесой; Сталин говорит: «Пусть идет». Каменев поднимает на тройке вопрос о том, что пьесу надо запретить – это явная дискредитация члена Политбюро. Зиновьев говорит, что лучше не обращать внимания: запретив пьесу, Каменев распишется, что речь идет о нем; Зиновьев напоминает историю с «Господами Обмановыми» – роман запрещен не был (до войны при царской власти революционный писатель Амфитеатров опубликовал довольно гнусный пасквиль на

царскую семью – семью Романовых; и хотя там была масса деталей, по которым было видно, о ком идет речь, царь признал ниже своего достоинства запрещением романа признать, что речь идет о его семье; и роман свободно циркулировал).

«Благодарю вас, Генрих», – отвечает Каменев (это из Шекспира); «И известно, чем это кончилось» (это из Каменева). В конце концов решено не запрещать пьесу, но оказать нужное давление, чтобы она была снята с репертуара.

В области интриг, хитрости и цепкости Каменев совсем слаб. Официально он «сидит на Москве» – столица считается такой же его вотчиной, как Ленинград у Зиновьева. Но Зиновьев в Ленинграде организовал свой клан, рассадил его и держит свою вторую столицу в руках. В то время как Каменев этой технике чужд, никакого своего клана не имеет и сидит на Москве по инерции. Мы скоро увидим, как он ее потеряет (вместе со всем прочим).

Ольга Давыдовна руководит ВОКСом – обществом культурной связи с заграницей – местом, где даются субсидии выезжающим для подкормки за границу советским литераторам (доверенным, типа Маяковского и Эренбурга) и приезжающим подкормиться и восхититься советскими потемкинскими деревнями заграничным литераторам и прочим «деятелям культуры» пореволюционное. Учреждение имеет вид большой театральной постановки. Ольга Давыдовна с ней справляется успешно.

Из остальных членов Политбюро ни Рыков, ни Томский лидерами не являются и на лидерство не претендуют. Алексей Иванович Рыков до революции вел подпольную работу в России, был и с Лениным в эмиграции. После революции он стал министром внутренних дел, но эта работа явно не для него: революции нужна Чека, стенка, «Алмаз». Рыков же человек мирный, толковый и способный технократ. Он становится председателем Высшего совета народного хозяйства, а после смерти Ленина – номинальным главой правительства. У него есть слабость: он любит выпить. Население, впрочем, называет водку «рыковкой». Это его обижает. Выпивши в тесном кругу советских вельмож, он говорит, заикаясь как всегда: «Не понимаю, почему они называют ее р-рыковкой?» Ни особенных талантов, ни особенных недостатков у него нет. Здравый смысл есть несомненно. Он его и погубит, когда Сталин затеет свою кошмарную коллективизацию. Несмотря на свою умеренность и осторожность, Рыков не может согласиться с таким разгромом деревни и сельского хозяйства. Тогда он вступит на путь оппозиции, а при Сталине этот путь ведет в лубянский подвал; туда он и придет в 1938 году после всех унижительных комедий, которыми Сталин наслаждается при истреблении своих жертв.

Миша Томский стоит во главе советских профсоюзов. В ЦК он входит с 1919 года, в оргбюро – с 1921-го, в Политбюро – с 1922-го. Он принадлежит к числу осторожных цекистов, в борьбе за власть участия не принимает, переходит на сторону победителей (когда победители уже вполне ясны). У него есть слабое место – он глохнет, слышит плохо, на заседаниях Политбюро по особенно интересующим его вопросам становится перед самым оратором, чтобы слышать то, что он говорит. Он бесцветен, как бесцветно в советской системе представляемое им учреждение. Хотя он вовремя переходит на сторону Сталина, придет момент, когда он начнет стеснять Сталина самым фактом, что он старый член Политбюро ленинских времен, знающий все о Сталине, и, несмотря на все внешние признаки подчинения, в душе никаких качеств за «великим и гениальным» вождем не признающий. И хотя Томский будет стараться держаться в стороне от оппозиционной шумихи, наступит момент (1936), когда Сталин решит, что пора ликвидировать и его. Впрочем, он по обычному пути сталинских жертв не пойдет – когда придут его арестовывать, он предпочтет застрелиться.

Николай Иванович Бухарин – один из самых способных членов Политбюро. Лицо редькой, живой, остроумный, он привлекает в партии все симпатии. Даже Ленин в «завещании» называет его «любимцем» партии. Он тоже давний большевик, общался с Лениным за границей, но умудрился не очень погрязнуть в интригах и мелкой закулисной борьбе. Он – прежде всего и больше всего человек пера.

Журналист, публицист. Главный редактор «Правды» – центрального органа партии, он превратил ее в газету, постоянно задающую тон по всей линии руководства. Член ЦК он давно, но кандидатом в члены Политбюро стал лишь после десятого съезда в 1921 году. Тогда он был избран третьим кандидатом в Политбюро. Но в следующем году после съезда он стал уже первым кандидатом, и так как с этого времени Ленин практически из Политбюро выбыл и на заседаниях отсутствует, то Бухарин участвует в работе Политбюро как полноправный член. В 1924 году после смерти Ленина он станет членом Политбюро.

В партии распространена неверная характеристика Бухарина как схоласта и догматика. На самом деле он совсем не догматик и совсем не теоретик. В первые два года коммунизма, веруя (как и все прочие вожди), что строится новое коммунистическое общество, он, обладая хорошим пером вульгаризатора, написал труд с изложением всех марксистских благоглупостей «Экономика переходного периода», а затем вместе с Преображенским – очень популярную «Азбуку коммунизма», по которой вся партия, и в особенности новая партийная молодежь учились коммунизму. В сущности, в этих книгах написано то, что в это время говорили и другие вожди, до Ленина включительно. Но когда обозначился быстрый крах коммунизма и Ленин должен был сделать нэповский поворот, остальные вожди вышли из этой истории с тем преимуществом, что они таких трудов не писали, а Бухарина и его скороспелое коммунистическое общество пришлось дезавуировать и даже эти две книги втихомолку скупать, собирать и уничтожать. А к Бухарину приклеили этикетку увлекающегося теоретика и догматика. На самом деле ему просто не повезло. Профессия его – писать. То, что другие думали и говорили, он писал. То, что делалось, изменили, а «то, что написано пером, того не вырубишь топором». И оппозиционеры грубо острят: «Замечательное у нас Политбюро: два заикало (это Молотов и Рыков, оба заикаются), один ошибало (Бухарин) и один вышибало (это, конечно, товарищ Сталин)».

Между тем, Бухарин человек умный и способный. На заседаниях Политбюро никаких марксистских глупостей он не произносит, а наоборот, выступает толково и дельно. И дело говорит, и острит, и мыслью играет. Что он умело скрывает, это глубину своих стремлений к власти. Здесь он ленинский ученик, и ленинская школа не прошла для него бесследно. Но в настоящем периоде, когда все решается взятием в руки партийного аппарата, у него никаких шансов, кроме того, чтобы быть на вторых ролях и участвовать в верхушечных партийных интригах. Во всяком случае, первый трудный выбор (между Зиновьевым и Сталиным) удастся ему легко – он проходит это узкое место с успехом – в лагере победителя.

В Институте красной профессуры, который представляет собой резерв молодых партийных карьеристов, чрезвычайно занятых решением проблемы, на какую лошадь поставить, большинство склоняется в сторону Бухарина. Он импонирует своей талантливостью. Троцкий тоже талантлив, но он явно бит. Зиновьева не считают вождем, к Сталину не питают никакого ни уважения, ни доверия. Вокруг Бухарина образуется группа молодых, довольно культурных и часто способных членов партии. В течение нескольких лет, пока Бухарин близок к вершинам, из них будут щедро черпаться те кадры, где нужна некоторая культурность: отсюда выйдут и заведующие Агитпропом и Отделом печати ЦК, и редакторы «Правды», и руководители советской истории философии и т. д. Это Стэн, братья Слепковы, Астров, Марецкий, Стецкий, Карев, Ломинадзе, Пospelов, Митин и другие. Оппозиция называет их презрительно и собирательно «Стецкие-Марецкие». Несколько лет они будут задавать тон в печати, но с падением Бухарина последует их безжалостная чистка, и в 1932 году большинство их будет исключено из партии, а в 1937–1938 расстреляно.

Не приняв сторону Зиновьева в решающей борьбе 1925–1926 годов, Бухарин вознаграждается тем, что он становится во главе Коминтерна вместо Зиновьева. Для Сталина это назначение – временное. Сталину неприятно, что во главе Коминтерна стоит русский член Политбюро: формально Коминтерн ведь как будто бы высшая инстанция мирового коммунизма и формально стоит над Сталиным. Скоро Бухарин будет заменен послушным Молотовым и, наконец, болгарин

Димитровым.

К чести Бухарина надо сказать, что сталинскую мясорубку – идти напролом к коммунизму и прежде всего разгромить крестьянство – он не принимает. Он бы мог, как все остальные молотовы и кагановичи, дуть в дудку нового хозяина. Тем более, что в сущности к троцкистско-зиновьевской оппозиции он симпатии не питает, не видя большой разницы между их политикой и сталинской.

И когда Сталин окончательно выбирает свой путь – упразднение нэпа и разгром деревни, Бухарин энергично выступает против. Сталин удаляет его от власти, и Бухарин переходит в оппозицию. Но хотя сталинские подручные старательно приклеивают его к троцкизму, амальгама эта целиком выдумана, по существу Бухарин чужд как троцкистско-зиновьевскому блоку, так, конечно, и сталинской политике. Многие годы Сталин преследует его умеренно: он исключен из ЦК только в феврале 1937 года. Но наступает и бухаринский черед. И после обычной низкой сталинской судебной комедии в марте 1938 года спускается в лубянский подвал и Бухарин.

Читающий официальную историю ВКП в 1976 году может удивиться: Сталин давно с пьедестала сброшен, Сталинград давно стал Волгоградом. Почему не отброшены все глупые и нелепые сталинские обвинения против Бухарина, да, кстати, и против многих других видных коммунистов? Тем более, что ряд видных партийцев подвергся «реабилитации», то есть публично признано, что выдвинутые против них сталинскими прислужниками обвинения были ложны.

Ключ к пониманию того, почему одного «реабилитируют», других нет, заключается в следующем.

Раз навсегда партией установлен принцип, что она никогда не ошибается, что она всегда права. От этого принципа она никогда не отступает, и вся ее официальная история покоится на этом принципе. Возьмем случай с видным и способным крупным деятелем партии, например, Бухариным. Положим, в важные переломные моменты партийной истории он выступал с правильными и толковыми предупреждениями. Партийными съездами, конференциями и пленумами ЦК его мнения были «осуждены». То есть, другими словами, сборище трепещущих перед Сталиным его слуг по его указке принимало продиктованные им решения. Эти решения и есть решения съездов и конференций. Если бы Сталину было благоугодно продиктовать решения прямо противоположные, послушное сборище «с энтузиазмом» и «нескончаемыми овациями» проголосовало бы за эти противоположные решения. То есть по существу то, что это решения съездов и конференций – это чистая фикция. И вожди партии, и партийные историки это прекрасно знают. Но в числе разнообразных и многосторонних видов лжи, на которой построена и живет коммунистическая партия, это играет свою служебную роль. Его задача – подтверждать принцип, что партия всегда права и никогда не ошибается. Нужды нет, что это была не партия, а сборище трусливых и терроризированных холуев, которые подымали руки по сталинской указке. Для соблюдения лживого принципа – «это непогрешимое решение партии». А мнения Бухарина были против. Значит «анафема», и навсегда Бухарин останется в партийной истории врагом. Почитайте ее. Вам будут все время объяснять, что Бухарин неправ, всегда ошибался, всегда выступал против партии и т. д. Конечно, прошли сталинские времена, когда это принимало формы совершенно нелепые, когда всякие эйзенштейны второго сорта, чтобы угодить Сталину, стряпали «исторические» фильмы, в которых гениальный и мудрый Сталин величаво шагает по страницам истории, а маленький гнусный предатель Бухарин бежит за ним и кому-то в сторону предательски нашептывает: «Только на кулака надо ставить; иначе мы погибли...» и т. д. в этом же роде. Теперь стиль другой, но «реабилитация» Бухарина, то есть признание, что его густо облепили подлой партийной ложью, по-прежнему невозможна.

По этим же причинам невозможна «реабилитация» всякого видного партийца, против которого в сталинские времена принимались резолюции партийными инстанциями.

Наоборот, возьмем случай с Тухачевским, Блюхером, Егоровым. Это были военные, стоящие вдалеке от партийной жизни, никакой роли в ней не игравшие и в нее не вмешивающиеся. Сталин считал за благо их расстрелять: они были объявлены какими-нибудь немецкими, японскими или иными шпионами, как Троцкий. Но партийные съезды и конференции их ни в каких уклонах не обвиняли. И когда пришла пора признать, что товарищ Сталин в «культе личности» зашел уж очень далеко, ничто не мешает Тухачевского и Блюхера «реабилитировать». Была какая-то ошибка (сталинская, или ежовская, или еще какая-то иная), но ошибка какого-то человека или органа, но не партии. Значит, можно дело пересмотреть, признать, что кто-то ошибся (лучше, если мелкая сошка), но это ничуть не наносит ущерба основному принципу, что партия всегда права.

Вот поэтому ряд партийцев, не принимавших видного участия в признанных оппозициях, могут быть реабилитированы, но реабилитировать других, как Троцкого или Зиновьева, совершенно невозможно. И будет создатель Красной армии или первый председатель Коминтерна продолжать числиться в иностранных шпионах и врагах коммунизма.

(А вдруг это изменится, и в один прекрасный день о них можно будет в партии говорить и писать правду? Тогда сможете иметь все основания считать, что эта партия уже не коммунистическая.)

Скажем несколько слов об остальных двух кандидатах в члены ленинского Политбюро: Калинин и Молотове.

Собственно, много говорить о Калинин не приходится. Фигура совершенно бесцветная, декоративный «всероссийский староста», был Лениным введен в Политбюро зря. Здесь его терпели и совсем с ним не считались. На официальных церемониях он выполнял свои сусально-крестьянские функции. Никогда он не имел никаких претензий ни на какую самостоятельность и всегда покорно шел за тем, кто был у власти. На всякий случай ГПУ, чтобы иметь о нем компрометирующий материал, подсовывало ему молоденьких балерин из Большого театра, не без того, чтобы эти операции были одобрены товарищем Каннером. По неопытности Михалваныч довольствовался самым третьим сортом. Компрометацию эту организовывали и из лишнего служебного усердия, так как в сущности ни малейшей надобности в ней не было – Михалваныч никогда не позволил бы себе каких-нибудь выступлений против власти имущих. Даже позже, когда Сталин проводил гигантское истребление деревни, Михалваныч, хорошо знавший деревню, делал вид, что ничего особенного не происходит, самое большее, не выходил из этого добродушного стариковского ворчания, к которому Политбюро давно привыкло как к чему-то, не имеющему никакого значения. Короче говоря, был Михаил Иванович ничтожен и труслив, почему и прошел благополучно все сталинские времена, умер в своей постели и удостоился того, что город Кенигсберг стал называться Калининград. В 1937 году Сталин приказал арестовать его жену, Михаил Иванович и глазом не моргнул: трудные были времена.

О Вячеславе Михайловиче Молотове мне выше не раз приходилось говорить. В истории сталинского восхождения к вершинам власти он сыграл очень крупную роль. Но сам он на амплу первой скрипки никогда не претендовал. Между тем, он прошел очень близко от этой роли. В марте 1921 года он избирается ответственным секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. В течение года у него в руках будет весь аппарат ЦК. Но в марте 1922 года Зиновьев, организуя свою тройку, захочет посадить на аппарат ЦК Сталина, сделав его генеральным секретарем и отодвинув в аппарате Молотова на второе место – второго секретаря ЦК. Расчет Зиновьева: нужно сбросить Троцкого, а Сталин – явный и жестокий враг Троцкого. Зиновьев и Каменев предпочитают Сталина. И Молотов не только подчиняется, но и становится верным лейтенантом Сталина, из-под которого он никогда не пытается выбраться; Зиновьеву же и Каменеву он мстит потом с удовольствием, а также Троцкому, который почему-то Молотова невзлюбил (впрочем, не «почему-то»: Троцкий живет абстракциями; из Молотова он создал воплощение «бюрократического перерождения партии»).

Вслед за тем Молотов всегда и постоянно идет за Сталиным; он проводит всю самую серьезную работу по подбору людей партийного аппарата – секретарей крайкомов и губкомов – и созданию сталинского большинства в ЦК. Он десять лет будет вторым секретарем ЦК. Когда Сталину нужно, он будет председателем Совнаркома и СТО; когда нужно, будет стоять во главе Коминтерна; когда нужно, будет министром иностранных дел.

Замечательно, что и с ним Сталин проделывает тот же прием, что и со многими другими своими лейтенантами – арест жены, в то время как сам сталинский приближенный продолжает находиться в его милости; мы уже видели, что это было проделано и с Калининым, и с Поскребышевым. Жена Молотова – еврейка. Под партийной кличкой Жемчужина, она, видная партийка, стоит во главе парфюмерной промышленности. Сталин арестовывает ее и отправляет в ссылку (а ссылка эта совсем не типа царской). Молотов, конечно, терпеливо это переносит. Но это не удивительно. Замечательно другое. Когда Сталин умер и жена Молотова из ссылки вернулась, и она, и Молотов – твердые сталинцы. Молотов неодобрительно относится к предпринятой Хрущевым десталинизацией. И он, и Каганович, и Маленков – убежденные сталинцы, и при первом же удобном случае (1957 г.) пытаются свергнуть Хрущева. Что им не удастся и стоит окончательной потери всех постов и мест в партийной иерархии с окончательным выходом в тираж.

Почему Молотов хочет возвращения сталинских методов? Ностальгия по временам, когда в руках была власть чингисхановская, когда все дрожало и никто в стране пикнуть не смел? Может быть, и более реальный расчет. Коммунистический строй, чтобы держаться, требует насилия над всем населением, требует гигантского полицейского аппарата, системы террора. Чем сильнее террор, тем власть прочнее. В сталинские времена население боялось даже того, чтобы какая-нибудь еретическая мысль пришла в голову, а уж о какой-либо акции против власти и речи быть не могло. А теперь Хрущев отвинчивает гайку; люди начинают думать, говорить, не соглашаться. До чего это может дойти? В сталинские времена таких рисков не было.

Между тем Молотов, может быть, представляет удивительный пример того, что делает из человека коммунизм. Я много работал с Молотовым. Это очень добросовестный, не блестящий, но чрезвычайно работоспособный бюрократ. Он очень спокоен, выдержан. Ко мне он был всегда крайне благожелателен и любезен и в личных отношениях со мной очень мил. Да и со всеми, кто к нему приближается, он корректен, человек вполне приемлемый, никакой грубости, никакой заносчивости, никакой кровожадности, никакого стремления кого-либо унижить или раздавить.

Через десять лет Сталин не только сам будет одобрять списки арестуемых и расстреливаемых. Для своего рода круговой поруки эти списки будут проходить через руки Молотова и Кагановича. Конечно, Молотов их подписывает вслед за Сталиным. Но вот какая-либо фамилия бросается ему в глаза. Он пишет рядом «ВМН». Это значит – высшая мера наказания. Этого достаточно – человек будет расстрелян.

Что это? Мимикрия перед Сталиным? Или это опьяняющее чувство своей мощи – вот я записал три буквы – и нет человека. И сколько тысяч смертей в этих списках одобрил спокойный, не волнуемый бюрократ. И никаких сожалений. Наоборот, Сталин умер, хорошо бы вернуть сталинские времена.

Неужели из человека все можно сделать? Дайте его в руки Сталина, возвысьте его в системе, где человек человеку волк, и он равнодушно будет смотреть, как гибнут в жестоких страданиях миллионы людей. Поставьте его рядовым чиновником в хорошей человеческой системе общества, и он ночами будет работать, изыскивая средства помощи пострадавшим от недорода крестьянам деревни Нееловки, Алексинского уезда. Эта проблема еще много раз будет передо мной стоять во времена моих странствий по большевистской верхушке. Насчет Молотова персонально у меня еще особое ощущение.

В двадцатых годах я был свидетелем всего, что происходило в большевистском центре. Прошло полвека, и если поставить вопрос, кто еще из живых людей на поверхности земли видел и знает все это, то на этот вопрос один ответ: Молотов (есть Каганович, но он в эти годы стоял от центра событий дальше, чем Молотов). Я говорю только о двадцатых годах. Дальше я в большевистском центре больше не был, а Молотов, наоборот, продолжал в следующие три-четыре десятилетия быть в центре событий, и никто сейчас не знает лучше, чем он, как эти события протекали. Но обо всем этом он не может ни написать, ни опубликовать ни одной строчки, которая была бы в несогласии с официальной ложью. То есть никакую правду ни о чем сказать не может.

## Глава 12

### Сталинский переворот

*Первая поездка за границу. Финансово-экономическое бюро Наркомфина. Кондратьев. 1925 год. Борьба Сталина и Зиновьева. Подготовка съезда. Съезд-переворот. Другой смысл переворота*

Кроме работы в ЦК, я работаю и в Высшем совете физической культуры, и в Наркомфине. В Высшем совете это скорее развлечение, чем работа. Я участвую в заседаниях президиума и руковожу двумя секциями: летом – секцией легкой атлетики, зимой – секцией зимнего спорта (коньки и лыжи). На президиуме работа идет легко и дружно. Председатель Совета Семашко (он же нарком здравоохранения) – человек умный, культурный, и с ним работать нетрудно. Кроме того, он хорошо понимает, что надо держаться линии ЦК, а эту линию делаю я. На заседания президиума приходит Крыленко, бывший главковерх, потом кровожадный прокурор республики, сейчас нарком юстиции. Он страстный шахматист, и мы его поставили во главе шахматно-шашечной секции. По ее делам он и приходит. Пока обсуждаются другие вопросы и ему делать нечего, я беру лист бумаги, пишу: «1. е2 – е4» и пододвигаю лист ему. Сейчас же между нами начинается партия в шахматы, не глядя на доску. Но через семь-восемь ходов он, не глядя на доску, уже играть не может, достает из портфеля крохотные дорожные шахматы и углубляется в игру. Семашко смотрит на нас с укоризной, но вырвать Крыленко из начатой партии уже почти невозможно. Когда выясняется, что он проигрывает, он очень это переживает.

Секция зимнего спорта дает мне повод для моей первой поездки за границу. Советские коньки и лыжи из рук вон плохи. Решено закупить партию коньков и лыж в Норвегии. Совет просит меня съездить в Норвегию на очень короткое время, посмотреть материал на месте и выбрать, что приобрести. В декабре 1924 года я совершаю короткое путешествие, которое производит на меня сильное впечатление. Я за границей первый раз, и вижу нормальную человеческую жизнь, которая совершенно отличается от советской. Кроме того, эти три скандинавские страны, через которые я проезжаю, – Финляндия, Швеция и Норвегия, дышат чем-то не известным в Совдепии. Это страны поразительной честности и правдивости. Я не сразу к этому привыкаю. В Норвегии я хочу осмотреть окрестности столицы. Над Осло возвышается гора Хольменколлен, широко используемая для зимнего спорта и для прогулок. Я поднимаюсь на нее с сотрудником посольства, который приставлен ко мне в качестве гида. Довольно тепло – всего градуса два мороза, и скоро мы разогреемся от подъема (мы тепло одеты) и нам становится жарко. Сотрудник посольства снимает теплый вязаный пиджак, кладет его у дороги на камень, пишет что-то на бумажке, кладет бумажку на пиджак и фиксирует ее камнем. Я интересуюсь: «Что вы делаете?» – «Очень жарко, – говорит мой спутник. – Я оставил пиджак. Когда будем спускаться, я его возьму». – «Ну, – говорю я, – плакал ваш пиджачок, попрощайтесь с ним». – «А нет, – говорит сотрудник посольства, я оставил записку: пиджак не потерян; просят не трогать». Я смотрю на это как на странный фарс. Дорога оживленная, ходит много народу. Мы спускаемся через два часа – пиджак на месте. Сотрудник объясняет мне, что здесь никогда ничего не пропадает. Если в городе случается кража, в конце концов выясняется, что виновник – матрос с иностранного парохода. В Финляндии в деревнях на дверях нет замков и запоров – что такое кража, здесь неизвестно.

В Швеции в полпредстве я разговариваю с советником посольства Асмусом и его женой Королевой. Они с семилетним сыном только что приехали из России. Воскресенье. Мимо здания посольства проходит рабочая демонстрация протеста против чего-то. Хорошо одетые люди в чистых костюмах и шляпах идут чинно, степенно и спокойно. Семилетний сынишка долго смотрит в окно на эту процессию и в конце концов спрашивает у матери: «Мама, куда все эти буржуи идут?»



На обратном пути я проезжаю советскую границу у Белоострова – до Ленинграда 30 километров. Проводник напоминает: «Граждане, вы уже в советской России – присматривайте за багажом». Я смотрю в окно на пейзаж. Одна перчатка у меня на руке, другую я кладу на сиденье. Через минуту я смотрю и обнаруживаю, что эту другую перчатку уже сперли.

Я возвращаюсь к привычному подсоветскому быту. В Народном комиссариате финансов постоянная большая статья расходов – закупка новых лампочек. У населения острая нехватка электрических лампочек, и сотрудники наркомата их вывинчивают и уносят домой. Нарком Сокольников находит гениальный выход: заводу, поставляющему лампочки, предписано гравировать на каждой лампочке: «украдено в Наркомфине». Кражи сразу прекращаются, уносящий к себе лампочку свою кражу подписывает.

Из скандинавских стран я возвращаюсь со странным впечатлением, как будто я высунул голову в окно и подышал свежим воздухом.

В отличие от Высшего совета моя работа в Наркомфине серьезна и меня порядком затягивает.

До революции при Министерстве финансов был Ученый комитет, группировавший лучших финансовых специалистов, в большинстве профессоров. Нарком финансов Сокольников создает при Наркомфине в качестве одного из его управлений финансово-экономическое бюро, выполняющее функций Ученого комитета. Оно делится на Институт экономических исследований и Конъюнктурный институт. Сокольников приглашает в них лучших специалистов, в большинстве старых консультантов довоенного Министерства финансов. Марксистов и коммунистов среди них нет. Сокольников ставит их в хорошие условия, их мнения высоко ценятся, и, слушая их советы, блестяще проводится трудная и сложная денежная реформа, создается твердый золотой рубль и упорядочиваются финансы. Наблюдает за деятельностью этого Бюро член Коллегии Наркомфина профессор Мечислав Генрихович Бронский. Впрочем, когда я спрашиваю у Сокольникова, действительно ли Бронский профессор, Сокольников отвечает, улыбаясь: «Каждый может считаться профессором, поскольку не доказано обратное». Настоящая фамилия Вронского – Варшавский. Он – польский еврей, очень культурный и начитанный, старый эмигрант (был с Лениным), занимавшийся журнализмом. Большевицкого духа у него очень мало. Административных талантов тоже никаких. За Финансово-экономическим бюро он никак не надзирает. Главное его занятие, и оно единственное, которое его интересует, – это издание толстейшего ежемесячного журнала «Социалистическое хозяйство». По мысли Вронского, он должен быть лучшим экономическим журналом в советской России. Так оно, вероятно, и есть. Кроме того, Бронский редактирует ежедневную «Финансовую газету». Но Финансово-экономическое бюро предоставлено самому себе, и пока как будто никакого ущерба от этого нет. Сокольников предлагает мне им руководить. Он, кроме всего прочего, имеет в виду мою Политбюровскую осведомленность по всем вопросам хозяйства и рассчитывает, что я смогу сделать работу Бюро более близкой к текущей финансово-экономической практике. Действительно, будучи далекими от органов практических решений, профессора Бюро более склонны к абстрактной теоретической работе, чем к практической.

Собственно, я прихожу на эту работу уже антикоммунистом. Все профессора в сущности тоже антикоммунисты. Но они меня считают доверенным коммунистом режима и смотрят на меня как на врага. Самое забавное то, что они питают иллюзии, будто с коммунистическим режимом можно работать и делать полезную работу для страны. Я на этот счет гораздо осведомленнее их.

Во всяком случае, назначение в качестве их начальства очень молодого коммуниста они воспринимают как тяжелую угрозу их вольной и независимой жизни. Директор Института экономических исследований Шмелев приходит от их имени к Сокольникову и говорит, что профессора собираются оставить Наркомфин, не видя возможности работать в обстановке, которую создаст новый начальник, молодой коммунист, который по возрасту также не может иметь для них никакого

авторитета. Сокольников улыбается и говорит: «Давайте возобновим этот разговор через месяц. Вы насчет вашего нового начальства совершенно ошибаетесь».

В течение первых же двух недель все меняется. Старые и опытные основные профессора, бывшие еще консультантами царского министерства финансов, – Гензель, Соколов, Шмелев – с удивлением обнаруживают на заседаниях Института, что я не только превосходно разбираюсь во всех финансово-экономических проблемах, но имею перед ними огромное преимущество – я знаю, что реально, что подходит для правительственной политики, куда и как нужно практически направить работу (все это я знаю по работе в Политбюро). На заседаниях Конъюнктурного института я тоже даю нужные указания, которые направляют в нужную сторону работу института; но и по их специфической отрасли, в которой они считают себя непревзойденными специалистами, я с ними в сущности на равной ноге – на первом же заседании я предлагаю ввести в число конъюнктурных индексов предсказания эволюции рынка индекс проходимости дорог гужевого транспорта, который сразу же оказывается одним из самых ценных для предсказания эволюции по рынку пищевых продуктов. Кроме того, у меня с ними быстро устанавливаются превосходные отношения. Ячейка и мелкие коммунисты уже пытались их грызть, проявляя партийную бдительность по отношению ко всем этим «подозрительным спецам». Я одергиваю ячейку – по моей работе в ЦК я для нее авторитет – и заставляю ее оставить профессоров в покое.

Через две недели Шмелев приходит к Сокольникову и заявляет, что профессора берут все свои заявления о новом начальнике обратно и что работа с ним превосходно наладилась.

Она будет идти все время образцово. С Бронским у меня тоже превосходные отношения – он человек симпатичный, большевистского в нем почти ничего нет. Кстати, он занимает часть той большой квартиры, в которой живут Вениамин Свердлов и его жена, у которых я бываю.

Едва ли не самым симпатичным из моих новых подчиненных является директор Конъюнктурного института профессор Николай Дмитриевич Кондратьев. Он – крупный ученый, человек глубокого ума. Конъюнктурный институт создавал он, и в новом в России конъюнктурном деле своими наблюдениями и контролем над эволюцией хозяйства оказывает крупнейшие услуги руководящим экономическим органам и прежде всего Наркомфину. Конечно, в основе его работы лежит та же наивная иллюзия, что с большевистской властью можно работать: не совсем же они дураки и должны понимать, что знающие люди и специалисты нужны и полезны. Как и другие крупные специалисты-консультанты Наркомфина, он верит в пользу своей работы и не понимает волчьей сущности коммунизма. Он работает также в сельскохозяйственной секции Госплана.

Скоро ему приходится узнать, с какой властью он имеет дело. В Госплане, стремясь к разумной сельскохозяйственной политике, он исходит в своих советах из того, что стране нужно увеличение крестьянской продукции, а для этого надо не дергать крестьянство непрерывным науськиванием сельских лентяев и паразитов против работающих и хозяйственных крестьян, что составляет суть большевистской «классовой борьбы» в деревне, а дать возможность спокойно работать.

Но в Госплане бдит и хватает спецов за ноги коммунистическая ячейка. Там нет Бажанова, который мог бы на нее цыкнуть. И коммунисты поднимают дикий вой – Кондратьев рекомендует отказаться от большевистской борьбы в деревне, «кондратьевцы» требуют ставки на кулака, «кондратьевщина» – вот как выглядит сегодня контрреволюция в деревне. Поднимается шум, печатаются статьи в «Правде», объявляется поход против «кондратьевщины». Какая-то мелкая коммунистическая рвань из всех сил старается делать карьеру на своей бдительности – открыли и разоблачили скрытого классового врага. Добить его! Конечно, на всю эту травлю, ведущуюся на страницах печати, бедный Кондратьев не имеет возможности ответить ни одной строчки – за ним «Правда» права голоса не признает. Он очень удручен. Ячейка Наркомфина тоже пытается в него вцепиться – ведь сигнал дан «Правдой».

Я не позволяю им устроить травлю в Наркомфине. Я объясняю ячейке, что речь идет о сельском хозяйстве и сельскохозяйственной секции Госплана, откуда и вся эта история. У нас же в Наркомфине Кондратьев работает в совсем другой области – по конъюнктуре, что не имеет ничего общего с его политическими установками насчет деревни, здесь его работа безукоризненна и полезна, и здесь надо его оставить в покое. Пока я в Наркомфине, здесь его действительно не смеют тронуть. Но травля его идет уже во всероссийском масштабе, и после начала коллективизации проходит, наконец, момент, когда сталинская коллективизация, разрушая сельское хозяйство, приводит к недостатку продуктов и к голоду. Тогда по установленной коммунистической практике надо открыть врагов, на которых свалить вину.

В 1930 году ГПУ «открывает» «трудовую крестьянскую партию», совершенно нелепую чекистскую выдумку. Руководит этой партией профессор Кондратьев вместе с профессором Чаяновым и Юровским (Юровский, кстати, еврей, экономист, специалист по валюте и денежному обращению, никогда никакого отношения ни к каким крестьянам и ни к какой деревне не имел). ГПУ широко раздувает кадилло: в «партии» не то сто тысяч членов, не то двести тысяч. Готовится громкий процесс, который объяснит стране, почему нет хлеба – это саботаж Кондратьевых; и бедный Кондратьев на процессе, конечно, должен был бы сознаться во всех своих преступлениях. Но в последний момент Сталин решил, что все это выглядит недостаточно убедительно, процесс отменил и приказал ГПУ осудить руководителей и членов «трудовой крестьянской партии» «в закрытом порядке», то есть по приговору какой-то чекистской тройки их послали погибать в советской истребительской каторге – концлагерях. Так погиб большой ученый и прекрасный человек профессор Кондратьев. Погиб, конечно, прежде всего, жертвой иллюзий, что с советской властью и коммунистами можно сотрудничать, полагая, что при этом приносится какая-то польза стране. Увы, это глубокое заблуждение. Власть использует таких носителей иллюзий, пока ей это выгодно, и грубо их уничтожает, когда приходит нужный момент и надо на кого-то свалить вину за бессмысленную и нелепую разрушительную марксистскую практику.

1925 год был годом борьбы за власть между Зиновьевым и Сталиным. Тройка, на время восстановленная для завершения борьбы с Троцким, окончательно распалась в марте. В апреле на заседаниях Политбюро Зиновьев и Каменев энергично нападали на сталинскую «теорию построения социализма в одной стране». Тройка больше не собиралась. Сталин утверждал сам проект повестки Политбюро. В течение нескольких месяцев Политбюро работало как орган коллегиальный внешне как будто бы под руководством Зиновьева и Каменева. Такой внешний вид определялся в особенности тем, что Сталин, как всегда (по невежеству), мало принимал участия в обсуждении разных вопросов. Каменев же по-прежнему руководил всем хозяйством страны, а хозяйственные вопросы занимали всегда много места в работе Политбюро. Троцкий делал вид, что корректно принимает участие в текущей работе. И на Политбюро царил худой мир.

Не будучи вполне уверенным, что большинство членов ЦК последует за ним, Сталин не искал окончательного боя на Пленуме ЦК и ждал завершающего решения от ближайшего съезда, вел свою подспудную подготовительную работу и не только ничего не форсировал, но, наоборот, всячески оттягивал дату съезда. Летом, как всегда, было некоторое политическое затишье. Но осенью Троцкий опубликовал брошюру «К социализму или к капитализму?», возобновляя политическую борьбу против большинства ЦК, которое, в свою очередь, начинало делиться. Стараясь удержать позицию политического лидера, Зиновьев сейчас же ответил брошюрой «Ленинизм», в которой проводил свою теорию философии равенства. В самом начале октября на Политбюро решался вопрос о дате съезда, и кто будет делать на съезде политический отчет ЦК. Съезд было решено созвать на середину декабря, и по предложению Молотова большинство Политбюро голосовало за поручение политического отчета ЦК на съезде Сталину. Большинство на Политбюро было для Зиновьева и Каменева потеряно. Они немедленно подали заявление в Политбюро с требованием открытия дискуссии. На открывшемся сейчас же после этого пленуме ЦК выяснилось, что вся

подготовительная работа Сталина принесла свои плоды – пленум подтвердил, что делать политический отчет на съезде поручается Сталину, и отказался открыть дискуссию, которую Зиновьев считал своим главным шансом. Пленум, кроме того, сделал вид, что главное значение придает сейчас «работе партии среди деревенской бедноты» и, чтобы открыть заблаговременно подготовку кампании против зиновьевско-каменевской группы, осудил и правый уклон, «кулацкий», и левый, «антисередняцкий». На базе этой резолюции партийный аппарат начал энергично грызть «новую оппозицию». Конечно, как всегда перед съездом, ЦК должен был огласить тезисы к съезду, и по ним должна была быть открыта дискуссия. Всю эту дискуссию Сталин и Молотов полностью смазали (Сталин побаивался политической дискуссии) и заменил ее простой «проработкой» резолюций октябрьского пленума, на основе которой и должны были произойти выборы на съезд. Только 15 декабря предсъездовский пленум ЦК утвердил тезисы к съезду, а 18 декабря открылся съезд. Но, конечно, в декабре в организациях и на партийных конференциях шла полемика. Выборы делегатов на съезд, происшедшие в начале декабря на краевых и губернских партийных конференциях, предрешили и состав съезда, и поражение Зиновьева. Не имея возможности контролировать весь местный партийный аппарат (чем могли заниматься только Сталин и Молотов, сидя в ЦК), Зиновьев и Каменев рассчитывали на поддержку трех основных и ведущих организаций – двух столичных, московской и ленинградской, и самой важной из провинциальных – украинской. Посланный секретарем ЦК КПУ Каганович сделал все нужное, чтобы украинская организация была для Зиновьева и Каменева потеряна. Наоборот, ленинградскую организацию Зиновьев продолжал держать в руках. Хотя Сталин добился снятия секретаря Ленинградского комитета Залуцкого, слишком рано и остро выступившего против Сталина и Молотова и их большинства, обвиняя их в «термидорианском перерождении», но Евдокимов, секретарь Северо-Западного бюро ЦК, был правой рукой Зиновьева и вел ленинградскую организацию за ним.

Но совершенно неожиданным и катастрофичным для Зиновьева и Каменева был переход на сторону Сталина главной организацией – московской. В основе этого перехода лежала хитро и заблаговременно подготовленная Сталиным измена Угланова.

Я рассказал уже, как в конце 1923 года, когда разразилась правая оппозиция, Политбюро было недовольно секретарем Московского комитета партии Зеленским. Летом 1924 года тройка, еще действуя в согласии, перевела его первым секретарем Среднеазиатского бюро ЦК. Все члены тройки были согласны, что для Москвы он слишком слаб. Но кого посадить на Москву – важнейшую организацию партии? Каменев, как всегда мало заинтересованный в этих организационных вопросах, предоставил инициативу Зиновьеву. Сталин предпочел бы, чтобы на московскую организацию был посажен Каганович, но Зиновьев, который был в это время номером первым и задавал тон, хотел, чтобы первым секретарем МК был его доверенный человек. Он предложил на этот пост Угланова. Разговор об этом шел на тройке, где я присутствовал, как всегда, четвертым.

Угланов работал в 1922 году в Ленинграде у Зиновьева, был ему верным человеком, и когда встал вопрос о первом секретаре Нижегородского губкома, Зиновьев настоял на том, чтобы туда был выдвинут Угланов. Это было первое время тройки, Сталин не всегда еще поднимал голос и должен был на это назначение согласиться. Но вслед за тем Молотов занялся обработкой Угланова, и летом 1924 года я, как-то прийдя к Сталину и не застав его в кабинете, решил, что он находится в следующем, промежуточном кабинете (совещательная комната между кабинетом Сталина и Молотова). Я открываю туда дверь и вхожу. Я вижу Сталина, Молотова и Угланова. Угланов, увидя меня, побледнел, и вид у него был крайне испуганный. Сталин его успокоил: «Это товарищ Бажанов, секретарь Политбюро – не бойся, от него нет секретов, он в курсе всех дел». Угланов с трудом успокоился.

Я сразу сообразил, в чем дело. Накануне, на заседании тройки, Зиновьев предложил посадить руководителем московской организации Угланова. Сталин возражал: достаточно ли Угланов силен, чтобы руководить важнейшей столичной

организацией? Зиновьев настаивал, Сталин делал вид, что он против, и согласился против воли и с большой неохотой. На самом же деле Угланов был подвергнут молотовской предварительной обработке, и сейчас заключался между Сталиным и Углановым тайный пакт против Зиновьева.

В соблюдение этого пакта Угланов почти полтора года вел двойную игру, заверяя Зиновьева и Каменева в своей преданности, а во второй половине 1925 года и в своей враждебности Сталину. На самом деле он подготовил и подобрал соответствующие кадры, и на Московской предсъездовской партийной конференции 5 декабря 1925 года вдруг со всем багажом и со всей партийной верхушкой Москвы перешел на сторону Сталина. Это был окончательный удар, и поражение Зиновьева было предreshено.

Как развернулись события на этом съезде (XIV), происходившем до конца декабря, известно. Сталин прочел политический отчет, скучный и тусклый. Ленинградская делегация потребовала содоклада Зиновьева, который и был ему предоставлен. Содоклад ровно ничего не изменил. За Сталина послушно голосовал весь съезд, за Зиновьева – одна ленинградская делегация. Доклад Каменева «Об очередных вопросах хозяйственного строительства» был с повестки съезда снят. За оппозицию высказались, кроме Зиновьева, – Каменев, Сокольников, Евдокимов, Лашевич (Евдокимов будет расстрелян в 1936 году, Лашевич покончит самоубийством в 1928 году).

Но даже из ленинградской делегации многие поспешили «сменить вехи» и повернули за колесницей победителя: и Шверник, секретарь Ленинградского комитета, и Москвин, заместитель секретаря Северо-Западного бюро ЦК, и Комаров, председатель Ленинградского губернского исполкома советов.

Троцкий на съезде молчал и со злорадством наблюдал, как повергается ниц его главный враг – Зиновьев. Через четыре месяца – в апреле 1926 года Зиновьев и Каменев избраны в члены ЦК. Конечно, всякие организационные выводы все же на первом послесъездовском пленуме ЦК в январе 1926 года делаются: Каменев удален от руководства советским хозяйством; он снят и с поста председателя Совета труда и обороны, и с поста заместителя председателя Совнаркома СССР. И он переведен из членов Политбюро в кандидаты Политбюро. Председателем СТО назначается Рыков. Состав Политбюро расширяется: из кандидатов в члены переходят Молотов и Калинин, и сразу членом Политбюро становится Ворошилов. Зиновьев и Троцкий остаются членами Политбюро. Кандидатами Политбюро, кроме Каменева и Дзержинского, бывшего и раньше кандидатом, вводятся Рудзутак, Угланов (в награду за операцию) и Петровский (формальный возглавитель советской власти на Украине). Сталин переизбран генеральным секретарем, Молотов – вторым, Угланов – третьим, Станислав Коссиор – четвертым. На Ленинград Сталин сажает Кирова, бывшего до этого секретарем Азербайджанского ЦК.

Следующий 1926 год наполнен постепенным изживанием «новой оппозиции». Всеми миру ясно, что в коммунистической России и в мировом коммунизме произошла смена руководства. Но мало кто видит и понимает, что произошел настоящий государственный переворот, и к руководству Россией и коммунизмом пришли новые круги и слои. Это требует пояснения.

В России до революции евреи, ограниченные в правах, в большинстве были настроены оппозиционно, а еврейская молодежь поставляла в большом числе кадры для революционных партий и организаций. И в руководстве этими партиями евреи всегда играли большую роль. Большевицкая партия не представляла исключения из этого правила, и в большевицком Центральном комитете около половины членов были евреи.

После революции довольно быстро получилось так, что именно в руках этой группы евреев в ЦК сосредоточились все главные позиции власти. Тут сказалась, вероятно, многовековая привычка еврейской диаспоры держаться дружно и друг друга поддерживать, в то время как у русских чекистов таких привычек не было.

Во всяком случае, все важнейшие центральные посты власти были заняты несколькими евреями: Троцкий – глава Красной армии и второй политический лидер (после Ленина); Свердлов – формально возглавляющий советскую власть и бывший до своей смерти правой рукой и главным помощником Ленина; Зиновьев – ставший во главе Коминтерна и бывший практически всесильным наместником второй столицы, Петербурга; Каменев – первый заместитель Ленина по Совнаркому, фактический руководитель советского хозяйства, и кроме того, наместник первой столицы, Москвы. Таким образом, евреи, составляя примерно половину состава Центрального комитета, имели гораздо больше влияния в нем и власти, чем неевреи.

Это положение длилось от 1917 года до конца 1925-го. На XIV съезде в конце 1925 года Сталин не только отстранил от центральной власти еврейских лидеров партии, но и сделал главный шаг в полном отстранении от центральной власти еврейской части верхушки партии. Но удаленные от главного руководства Троцкий, Зиновьев и Каменев еще все же вошли на этом съезде в состав Центрального комитета. На следующем съезде (в 1927 году) их уже исключили из партии, и евреи, избранные в состав ЦК, были уже единичными исключениями. Никогда позже еврейская часть верхушки к руководству не вернулась, и отдельные евреи в составе Центрального комитета стали (теми же) единичными исключениями. Это были, впрочем, тот же Каганович и тот же Мехлис, открыто афишировавшие, что они себя евреями не считают. В последующие (тридцатые) годы Сталин вводил иногда в кандидаты ЦК некоторых из наиболее послушных и преданно исполнявших его волю евреев, как Ягоду, но вслед за тем расстрелял и этих нововведенных. И в последние десятилетия никакой еврей не вступил в ЦК партии, а со смертью Мехлиса (1953) и с удалением из ЦК Кагановича (1957) ни одного еврея в ЦК партии (есть, кажется, теперь на 400 членов и кандидатов ЦК один кандидат Дымшиц).

В сущности говоря, Сталин произвел переворот, навсегда удалив от руководства доминировавшую раньше еврейскую группу.

Но это было сделано осторожно и не имело вида, что удар наносится именно по евреям. Во-первых, это не имело вида русской национальной реакции хотя бы потому, что власть переходила в руки грузина; во-вторых, всегда нарочито подчеркивалось, что борьба идет с оппозицией и что дело только в идейных разногласиях: Зиновьев, Каменев и их единомышленники были устранены-де потому, что иначе смотрели на возможности построения социализма в одной стране.

Этот вид не только хорошо был соблюден, но в дальнейшем его, казалось, подтверждали две характерные особенности: с одной стороны, удалив евреев из Центрального комитета, Сталин не продолжил эту чистку сверху донизу, а остановил ее, и в ближайшие несколько лет евреи еще занимали менее важные посты – замнаркомов, членов коллегий наркоматов, членов ЦКК; с другой стороны, когда с середины 30-х годов начался массовый расстрел руководящих кадров партии, расстреливались в достаточном количестве и евреи, и неевреи.

И наблюдая все это, можно было предположить, что в порядке обычной борьбы за власть Сталин разделался с конкурентами, а то, что они были евреями, дело случая.

Я не могу принять эту точку зрения. По двум причинам.

Во-первых, потому, что Сталин был антисемитом. Когда это надо было скрывать, Сталин это тщательно скрывал, и это у него прорывалось лишь изредка, как, например, в том случае с Файвиловичем, о котором я рассказывал выше. С 1931–1932 годов, чтобы скрывать это, у Сталина были серьезные политические соображения – в Германии приходил к власти открытый антисемит Гитлер, и, предвидя возможность столкновения с ним, Сталин не хотел возбуждать враждебность к себе еврейского мира.

Эта игра оказалась очень полезной и до и после войны. Только к 1948 – 50 годам надобности в ней больше не было, и Сталин дал партии почти открытую антисемитскую линию, а в 1952 – 53 обдумывал план полного уничтожения евреев в России, и только его неожиданная смерть спасла русских евреев от истребления. Антисемитизм его, впрочем, подтверждается и Светланой (вспомнить хотя бы, как он загнал на каторгу еврея, который за ней ухаживал, и совершенно охладил к ней, когда она вышла замуж за другого еврея). Общеизвестна и история с еврейским «заговором белых халатов».

Во-вторых, потому, что наблюдая подготовку к перевороту XIV съезда, я был в особом положении – мог видеть, что скрытая работа Сталина идет по особой, совершенно специфической линии.

Надо сказать, что состав партии с 1917 года очень изменился и непрерывно продолжал меняться. Если в 1917 году евреи были в партии относительно очень большой количественно группой, то группа эта отражала социальный состав самого еврейства – они были ремесленниками, торговцами, интеллигентами, но рабочих среди них почти не было, а крестьян не было совсем. С 1917 года начался большой количественный рост партии, широко привлекавшей прежде всего рабочих, а затем крестьян. Чем дальше, тем больше еврейская часть партии тонула в этой массе. Между тем, она продолжала сохранять руководящие позиции, создавая видимость какого-то узкого привилегированного слоя. По этому поводу в партии росло недовольство, и на этом недовольстве Сталин стал умело играть. Когда еврейская группа разделилась на воюющие между собой группу Троцкого и группу Зиновьева, у Сталина получился удобный камуфляж: он подбирал на нужные посты в партийном аппарате тех, кто был недоволен, «затерт» руководящей еврейской группой, но официально это камуфлировать подбором явных антитроцкистов (и немного при этом вообще антисемитов). Я внимательно наблюдал, кого в эти годы Сталин и Молотов подбирали в секретари губкомов и крайкомов; все это были завтрашние члены ЦК, а может быть, и завтрашнего Политбюро. Все они жаждали сбросить руководящую еврейскую верхушку и занять ее место. Быстро вырабатывалась нужная фразеология: из сталинского центра по партийному аппарату давалась линия: настоящие партийцы – это те, кто из рабочих и крестьян, партия должна орабочиваться; для вступления в партию и продвижения в ней все большую роль должно играть социальное происхождение;

это было отражено и в уставе; ясно, что еврейские лидеры, происходившие из интеллигентов, торговцев и ремесленников, уже рассматривались как что-то вроде попутчиков. Тренировка и подготовка произошли на преследовании «троцкистского клана». Но к концу 1925 года нужные кадры были уже на месте и для того, чтобы ударить по второй группе еврейской верхушки – группе Зиновьева и Каменева.

Все видные работники партийного аппарата, помогавшие Сталину в этом ударе, с удовольствием заняли освободившиеся места.

Переворот прошел удачно, и до 1947–1948 годов камуфляж продолжался. Только в эти годы начали раскрывать карты, сначала осторожно, кампанией против «сионистов», потом «космополитов» и, наконец, введением метки в паспорте о национальности – «иудейская», чтобы окончательно поставить евреев в особое положение внутренних врагов.

Очень характерно, что антиеврейскую линию Сталина мировая еврейская диаспора до самой войны не поняла. Неосторожный антисемит Гитлер рубил с плеча, осторожный антисемит Сталин все скрывал. И до самого «заговора белых халатов» еврейское общественное мнение просто не верило, что коммунистическая власть может быть антисемитской. Да и с этим «заговором» все было приписано лично Сталину. И еще понадобилось немало лет, чтобы наконец был понят этот смысл политики сталинских преемников, которые не видели никаких резонов, чтобы менять сталинскую линию.

Порядочную часть советских и антисоветских анекдотов сочинял Радек. Я имел

привилегию слышать их от него лично, так сказать, из первых рук. Анекдоты Радека живо отзывались на политическую злобу дня. Вот два характерных радековских анекдота по вопросу об участии евреев в руководящей верхушке.

Первый анекдот: два еврея в Москве читают газеты. Один из них говорит другому: «Абрам Осипович, наркомом финансов назначен какой-то Брюханов. Как его настоящая фамилия?» Абрам Осипович отвечает: «Так это и есть его настоящая фамилия – Брюханов». «Как! – восклицает первый.

Настоящая фамилия Брюханов? Так он – русский?» – «Ну, да, русский». – «Ох, слушайте, – говорит первый, – эти русские – это удивительная нация: всюду они пролезут».

А когда Сталин удалил Троцкого и Зиновьева из Политбюро, Радек при встрече спросил меня: «Товарищ Бажанов, какая разница между Сталиным и Моисеем? Не знаете. Большая: Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из Политбюро».

Это выглядит парадоксально, но к старым видам антисемитизма (религиозному и расистскому) прибавился новый – антисемитизм марксистский. Можно предсказать ему большое будущее.



## Глава 13

### ГПУ. суть власти

*ГПУ. Дзержинский. Коллегия ГПУ. Ягода, Ванда Зведре. Анна Георгиевна. Что мне делать? Эволюция власти. Ее суть*

ГПУ... Как много в этом слове для сердца русского слилось...

В год, когда я вступал в коммунистическую партию (1919), в моем родном городе была власть большевиков. В апреле в день Пасхи вышел номер ежедневной коммунистической газеты с широким заголовком «Христос воскрес». Редактором газеты был коммунист Сонин. Настоящая фамилия его была Крымерман, он был местный еврей, молодой и добродушный. Этот пример религиозной терпимости и даже доброжелательности мне очень понравился, и я его записал коммунистам в актив. Когда через несколько месяцев в город прибыли чекисты и начали расстрелы, я был возмущен, и для меня само собой образовалось деление коммунистов на доброжелательных, «идейных», желающих построения какого-то человеческого общества, и других, представляющих злобу, ненависть и жестокость, убийц и садистов, что дело не в людях, а в системе.

Во время моего последующего пребывания на Украине я узнал много фактов о жестоком кровавом терроре, проводимом чекистами. В Москву я приехал с чрезвычайно враждебными чувствами по отношению к этому ведомству. Но мне практически не пришлось с ним сталкиваться до моей работы в оргбюро и Политбюро. Здесь я прежде всего встретился с членами ЦКК Лацисом и Петерсом, бывшими в то же время членами коллегии ГПУ. Это были те самые знаменитые Лацис и Петерс, на совести которых были жестокие массовые расстрелы на Украине и других местах Гражданской войны – число их жертв исчислялось сотнями тысяч.

Я ожидал встретить исступленных, мрачных фанатиков-убийц. К моему великому удивлению, эти два латыша были самой обыкновенной мразью, заискивающими и угодливыми маленькими прохвостами, старающимися предупредить желания партийного начальства. Я опасался, что при встрече с этими расстрельщиками я не смогу принять их фанатизм. Но никакого фанатизма не было. Это были чиновники расстрельных дел, очень занятые личной карьерой и личным благосостоянием, зорко следившие, как помахивают пальцем из секретариата Сталина. Моя враждебность к ведомству перешла в отвращение к его руководящему составу.

Но дело обстояло не так просто с председателем ГПУ Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Старый польский революционер, ставший во главе ЧК с самого ее возникновения, он продолжал формально ее возглавлять до самой своей смерти, хотя практически мало принимал участия в ее работе, став после смерти Ленина председателем Высшего совета народного хозяйства (вместо Рыкова, ставшего председателем Совнаркома). На первом же заседании Политбюро, где я его увидел, он меня дезориентировал и своим видом, и манерой говорить. У него была наружность Дон-Кихота, манера говорить – человека убежденного и идейного. Поразила меня его старая гимнастерка с залатанными локтями. Было совершенно ясно, что этот человек не пользуется своим положением, чтобы искать каких-либо житейских благ для себя лично. Поразила меня вначале и его горячность в выступлениях – впечатление было такое, что он принимает очень близко к сердцу и остро переживает вопрос партийной и государственной жизни. Эта горячность контрастировала с некоторым холодным цинизмом членов Политбюро. Но в дальнейшем мне все же пришлось несколько изменить мое мнение о Дзержинском.

В это время внутри партии была свобода, которой не было в стране; каждый член партии имел возможность защищать и отстаивать свою точку зрения. Так же свободно происходило обсуждение всяких проблем на Политбюро. Не говоря уже

об оппозиционерах, таких как Троцкий и Пятаков, которые не стеснялись резко противопоставлять свою точку зрения мнению большинства, – среди самого большинства обсуждение всякого принципиального или делового вопроса происходило в спорах. Сколько раз Сокольников, проводивший денежную реформу, восставал против разных решений Политбюро по вопросам народного хозяйства, говоря: «Вы мне срываете денежную реформу; если вы примете это решение, освободите меня от обязанностей Наркома финансов». А по вопросам внешней политики и внешней торговли Красин, бывший наркомом внешней торговли, прямо обвинял на Политбюро его членов, что они ничего не понимают в трактуемых вопросах, и читал нечто вроде лекций.

Но что очень скоро мне бросилось в глаза, это то, что Дзержинский всегда шел за держателями власти, и если отстаивал что-либо с горячностью, то только то, что было принято большинством. При этом его горячность принималась членами Политбюро как нечто деланное и поэтому неприличное. При его горячих выступлениях члены Политбюро смотрели в стороны, в бумаги, и царило впечатление неловкости. А один раз председательствовавший Каменев сухо сказал: «Феликс, ты здесь не на митинге, а на заседании Политбюро». И, о чудо! Вместо того, чтобы оправдать свою горячность («принимаю, мол, очень близко к сердцу дела партии и революции»), Феликс в течение одной секунды от горячего взволнованного тона вдруг перешел к самому простому, прозаическому и спокойному. А на заседании тройки, когда зашел разговор о Дзержинском, Зиновьев сказал: «У него, конечно, грудная жаба; но он что-то уж очень для эффекта ею злоупотребляет». Надо добавить, что когда Сталин совершил свой переворот, Дзержинский с такой горячностью стал защищать сталинские позиции, с какой он поддерживал вчера позиции Зиновьева и Каменева (когда они были у власти).

Впечатление у меня в общем получалось такое: Дзержинский никогда ни на йоту не уклоняется от принятой большинством линии (а между тем, иногда можно было бы иметь и личное мнение); это выгодно, а когда он, горячо и задыхаясь, защищает эту ортодоксальную линию, то не прав ли Зиновьев, что он использует внешние эффекты своей грудной жабы?

Это впечатление мне было довольно неприятно. Это был 1923 год, я еще был коммунистом, и для меня кто-кто, а уж человек, стоявший во главе ГПУ, нуждался в ореоле искренности и порядочности. Во всяком случае, было несомненно, что в смысле пользования житейскими благами упреков ему сделать было нельзя – в этом смысле он был человеком вполне порядочным. Вероятно, отчасти поэтому Политбюро сохраняло его формально во главе ГПУ, чтобы он не позволял подчиненным своего ведомства особенно расходиться: у ГПУ, обладавшего правом жизни и смерти над всем беспартийным подсоветским населением, соблазнов было сколько угодно. Не думаю, что Дзержинский эту роль действительно выполнял: от практики своего огромного ведомства он стоял довольно далеко, и Политбюро довольствовалось здесь скорее фикцией желаемого, чем тем, что было на самом деле.

Первый заместитель Дзержинского (тоже поляк), Менжинский, человек со странной болезнью спинного мозга, эстет, проводивший свою жизнь лежа на кушетке, в сущности тоже очень мало руководил работой ГПУ. Получилось так, что второй заместитель председателя ГПУ Ягода был фактически руководителем ведомства.

Впрочем, из откровенных разговоров на заседаниях тройки я быстро выяснил позицию лидеров партии. Держа все население в руках своей практикой террора, ГПУ могло присвоить себе слишком большую власть вообще. Сознательно тройка держала во главе ГПУ Дзержинского и Менжинского как формальных возглавителей, в сущности от практики ГПУ далеких, и поручала вести все дела ГПУ Ягоде, субъекту малопочтенному, никакого веса в партии не имевшему и создававшему свою полную подчиненность партийному аппарату. Надо было, чтобы ГПУ было всегда и во всем подчинено партии и никаких претензий на власть не имело.

Этот замысел лидеров партии осуществлялся без труда. ГПУ из подчинения аппарату не выходило. Но озабоченные только отношениями ГПУ и партии, руководители относились с полным безразличием к непартийному населению и фактически отдали всю его огромную массу в полный произвол ГПУ. Лидеров интересовала власть; они были заняты борьбой за власть внутри партии. Вне партии был выставлен против населения заслон ГПУ, вполне действительный и запрещающий населению какую бы то ни было политическую жизнь; следовательно, ликвидировавший малейшую угрозу власти партии. Партийное руководство могло спать спокойно, и его очень мало занимало, что население все больше и больше схватывается в железные клещи гигантского аппарата политической полиции, которому коммунистический диктаторский строй предоставляет неограниченные возможности.

Первый раз я увидел и услышал Ягоду на заседании комиссии ЦК, на которой я секретарствовал, а Ягода был в числе вызванных к заседанию. Все члены комиссии не были еще в сборе, и прибывшие вели между собой разговоры. Ягода разговаривал с Бубновым, бывшим еще в это время заведующим Агитпропом ЦК. Ягода хвастался успехами в развитии информационной сети ГПУ, охватывавшей все более и более всю страну. Бубнов отвечал, что основная база этой сети – все члены партии, которые нормально всегда должны быть и являются информаторами ГПУ; что же касается беспартийных, то вы, ГПУ, конечно, выбираете элементы, наиболее близкие и преданные советской власти. «Совсем нет, – возражал Ягода, мы можем сделать сексотом кого угодно, и в частности людей, совершенно враждебных советской власти». – «Каким образом?» – любопытствовал Бубнов. – «Очень просто, – объяснял Ягода. – Кому охота умереть с голоду? Если ГПУ берет человека в оборот с намерением сделать из него своего информатора, как бы он ни сопротивлялся, он все равно в конце концов будет у нас в руках: уволим с работы, а на другую нигде не примут без секретного согласия наших органов. И в особенности, если у человека есть семья, жена, дети, он вынужден быстро капитулировать».

Ягода произвел на меня отвратительное впечатление. Старый чекист Ксенофонов, бывший раньше членом коллегии ВЧК, а теперь работавший управляющим делами ЦК и выполнявший все темные поручения Каннера, Лацис и Петерс, наглый и развязный секретарь коллегии ГПУ Гриша Беленький дополняли картину – коллегия ГПУ была бандой темных прохвостов, прикрытая для виду Дзержинским.

Как раз в это время приехал в Москву, чтобы меня видеть, мой знакомый, помощник начальника железнодорожной станции в Подолии. Это был превосходный, в высшей степени порядочный человек. Он был женат на моей троюродной тетке, знал меня гимназистом и продолжал говорить мне «ты», несмотря на все мои высокие чины и ранги (я продолжал говорить ему «вы»). Он был очень удручен и приехал просить у меня совета и помощи. Местные органы ГПУ на железной дороге требовали от него вступления в число секретных сотрудников, то есть чтобы он шпионил и доносил на своих сослуживцев. Его, вероятно, наметили как легкую добычу – он был обременен семьей и был человек очень мягкий. Но быть сексотом ГПУ он отказывался. Местный чекист раскрыл карты – выбросим со службы, скажете «ау» железной дороге и вообще никуда вас не примут; когда семья начнет пухнуть с голоду, все равно согласитесь.

Он приехал ко мне: что делать? На его счастье, в моем лице у него была защита – аппаратчик высокого ранга. Я взял печатный бланк ЦК и написал на нем записку железнодорожному чекисту с требованием оставить моего родственника в покое. Бланк ЦК сыграл свою роль, и его больше не тревожили. Этот эпизод иллюстрировал для меня систему Ягоды по охвату страны информационной сетью.

Через некоторое время я прямо столкнулся с Ягодой на заседаниях Высшего совета физической культуры. Так как я был представителем ЦК в Высшем совете, то, как я уже писал выше, я без труда провел линию, противоположную мнениям ГПУ. Ягода был бит и унижен. Но и, кроме того, имея определенное мнение о коллегии ГПУ, я не скрывал своего чрезвычайно недружелюбного отношения ко всей этой публике. Это вызвало в коллегии ГПУ переполох. Иметь врага в лице

помощника Сталина, который к тому же секретарь Политбюро, коллегия ГПУ нашла для себя крайне неудобным. Обдумывали, как быть. В конце концов решили, что выгоднее эту обоюдную вражду сделать открытой и официальной, ставя этим под подозрение всякий удар, какой я мог бы им нанести. Конечно, они справедливо опасались, что секретарству на заседаниях тройки и Политбюро, будучи постоянно в контакте с секретарями ЦК и членами Политбюро, я могу быть им очень опасен.

Кроме того, они решили сыграть и на чрезвычайной подозрительности Сталина. Ягода написал Сталину письмо от имени коллегии ГПУ. В письме коллегия ГПУ считала своим долгом предупредить Сталина и Политбюро, что секретарь Политбюро Бажанов, по их общему мнению – скрытый контрреволюционер. Они, к сожалению, не могут еще представить никаких доказательств и основываются больше на своем чекистском чутье и опыте, но считают, что их обязанность – довести их убеждение до сведения ЦК. Письмо подписал Ягода.

Сталин протянул мне письмо и сказал: «Прочтите». Я прочел. Мне было 23 года. Сталин, считавший себя большим знатоком людей, внимательно на меня смотрел. Если здесь есть доля правды, юноша смутится и начнет оправдываться. Я, наоборот, улыбнулся и вернул Сталину письмо, ничего не говоря. «Что вы по этому поводу думаете?» – спросил Сталин. «Товарищ Сталин, – ответил я с легким оттенком укоризны, – Вы ведь знаете Ягodu – ведь это же сволочь». – «А все-таки, – сказал Сталин, – почему же он это пишет?» – «Я думаю, по двум причинам: с одной стороны, хочет заронить какое-то подозрение насчет меня; с другой стороны, мы с ним сталкивались на заседаниях Высшего совета физической культуры, где я, как представитель ЦК и проводя линию ЦК, добился отмены его вредных позиций. Но он не только хочет мне отомстить вот этим способом, но чувствуя, что я к нему не испытываю ни малейшего уважения и ни малейшей симпатии, хочет заранее скомпрометировать все, что я о нем могу сказать вам или членам Политбюро».

Сталин нашел это объяснение вполне правдоподобным. Кроме того, зная Сталина, я ни секунды не сомневался, что весь этот оборот дела ему очень нравится: секретарь Политбюро и коллегия ГПУ в открытой вражде; можно не сомневаться, что ГПУ будет внимательно следить за каждым шагом секретаря Политбюро и чуть что – немедленно его известит; а секретарь Политбюро, со своей стороны, не упустит никакого случая поставить его в известность, если узнает что-либо подозрительное в практике коллегии ГПУ.

На этой базе и установились мои отношения с ГПУ: время от времени Ягода извещал Сталина об их уверенности на мой счет, а Сталин равнодушно передавал эти цидульки мне.

Но я еще должен сказать, что я был доволен, прочтя первый донос Ягоды.

Дело в том, что открытая вражда обеспечивала мне безопасность в одном отношении. У ГПУ огромные возможности устроить несчастный случай – автомобильную катастрофу, убийство будто бы с целью ограбления (с подставными бандитами) и т. д. После объявления открытых враждебных действий ГПУ все эти возможности отпадали – теперь за несчастный случай со мной Ягода заплатил бы головой.

А незадолго до этого письма у меня был такой случай. В ЦК были устроены для сотрудников группы по изучению иностранных языков. Я бывал на группах по изучению английского и французского. В группе английского я познакомился с очень хорошенькой молодой латышкой Вандой Зведре, работавшей в аппарате ЦК. В это время я был вполне свободен; мы с Вандой друг другу понравились, но оба приняли это просто как приятную авантюру. Ванда была замужем за крупным чекистом. Она жила с мужем на Лубянке, в доме ГПУ – в нем были квартиры для наиболее ответственных чекистов. Ванда бывала у меня, но как-то пригласила меня к себе, в ее квартиру на Лубянке. Мне было любопытно посмотреть, как живут чекистские верхи в их доме; я к ней пришел вечером после работы. Ванда объяснила мне, что муж ее уехал в командировку, и предложила остаться у нее на

ночь. Это мне показалось чрезвычайно подозрительным – «неожиданно» вернувшийся из командировки муж, застав меня в кровати своей жены, мог разрядить в меня свой наган, и все прошло бы как обыкновенная история драмы ревности; муж бы показал, что он не имеет понятия, кто я такой. Под предлогом необходимости поработать еще над какими-то срочными бумагами, я отказался (впрочем, подозревал я не Ванду, а ГПУ, которое могло воспользоваться представившимся случаем).

Вот теперь, после письма Ягоды, возможности несчастного случая или убийства на почве ревности отпадали.

Все следующие годы моей работы прошли в открытой вражде с ГПУ, и это было всем более или менее известно. Сталин к этому вполне привык, и его ничуть не смущали такие случаи, как, например, тот, который произошел с Анной Георгиевной Хутаревой.

В Высшем техническом училище у меня был приятель, беспартийный студент Пашка Зимаков. Политикой он совершенно не занимался и не интересовался. Мать его, Анна Георгиевна, по смерти мужа (Зимакова) вышла замуж за очень богатого человека, Ивана Андреевича Хутарева, владельца большой фабрики тонких сукон в Шараповой Охоте под Москвой. Во время Гражданской войны Хутарев, спасаясь от большевиков, бежал на юг, оттуда за границу, и жил в 1924 году в Бадене под Веной. Жена осталась с четырьмя маленькими детьми; жена «капиталиста», она жила чрезвычайно бедно и трудно.

Пашка Зимаков извещает меня – мама очень хочет тебя видеть. Приезжаю. Оказывается следующее. В совершенно святой простоте Анна Георгиевна, взяв у знакомого врача медицинское свидетельство, что для ее состояния здоровья ей были бы очень полезны воды курорта Бадена под Веной, приходит в административный отдел Совета и просит выдать ей заграничный паспорт для поездки на лечение за границу. Чиновник Совета читает ее просьбу: «Вы просите паспорт для поездки со всеми четырьмя детьми?» – «Да». – «Вы, гражданка, сумасшедшая или делаете вид, что вы ненормальная?» – «Почему же? Я хочу поехать лечиться». – «Хорошо, приходите через месяц».

Паспорт выдает ГПУ, и просьба идет туда на изучение. Там, конечно, сейчас же выясняют – буржуйка нагло просит разрешения бежать из страны к своему мужу, белогвардейцу-эмигранту и капиталисту. Через месяц, когда она является в административный отдел совета, ее просят пройти в какой-то кабинет, и там три чекиста начинают многообещающий допрос. Из допроса сразу ясно, что им все известно о муже и даже что он живет в Бадене. Чекисты спрашивают: «Вы что же, издеваетесь над нами?» Бедной женщине приходит в голову спасительная идея: «Я, знаете, не партийная и ничего в политике не понимаю, но если за меня поручится видный партиец?» – «Кто же этот видный партиец?» – иронически спрашивают чекисты. «Это – секретарь товарища Сталина». – «Что? Это что за номер? Вы, гражданка, в своем уме?» – «Да, уверяю вас, что он может за меня поручиться». Чекисты переглядываются: «Хорошо, принесите поручительство – тогда продолжим разговор».

Все это Анна Георгиевна мне рассказывает. Я очарован – наивности в таких пределах я еще не встречал. «Так, значит, – говорю я, – вы меня просите, чтобы я поручился, что по истечении месяца лечения вы с вашими детьми вернетесь в СССР?» – «Да». – «А едете вы к мужу для того, чтобы там с детьми остаться и в СССР не вернуться?» – «Да». Очаровательно. «Вы понимаете, – говорит Анна Георгиевна, – я здесь с детьми пропаду. Выехать к мужу – для меня одно спасение». – «Хорошо, – говорю я, – давайте вашу бумажку – подпишу». – «А я, – говорит Анна Георгиевна, – всю жизнь за вас буду молить Бога».

Дальше все пошло, как по маслу. Ягоде было немедленно доложено о моем поручительстве. Представляю себе, как злорадно потирал руки Ягода. Он немедленно выдал заграничный паспорт, и моя Анна Георгиевна со всеми детьми выехала в Австрию. Конечно, когда через месяц ей из советского консульства

напомнили, что виза ее истекла и надо возвращаться, она ответила, что от советского гражданства отказывается и остается за границей на эмигрантском положении.

Ягода только этого и ждал, и Сталину был сейчас же послан подробный доклад, как Бажанов помог буржуйке бежать за границу. «Что это еще за история?» – спросил у меня Сталин, передавая мне донос Ягоды. «А это, товарищ Сталин, я хотел проверить, насколько Ягода глуп: если эта буржуйка, которая хочет бежать за границу, и Ягода это знает, почему же он ей подписывает заграничный паспорт и ее выпускает? Если, наоборот, ничего плохого в ее выезде нет, тогда в чем же меня обвинять? Ягода на все согласен, лишь бы мне причинить неприятность, не понимая, в какое глупое положение себя ставит». На этом все и закончилось – Сталин никакого внимания на этот эпизод не обратил.

Я очень скоро понял, какую власть забирает ГПУ над беспартийным населением, которое отдано на его полный произвол. Так же ясно было, почему при коммунистическом режиме невозможны никакие личные свободы: все национализировано, все и каждый, чтобы жить и кормиться, обязаны быть на государственной службе. Малейшее свободомыслие, малейшее желание личной свободы – и над человеком угроза лишения возможности работать и, следовательно, жить. Вокруг всего этого гигантская информационная сеть сексотов, обо всех все известно, все в руках у ГПУ. И в то же время, забирая эту власть, начиная строить огромную империю ГУЛага, ГПУ старается как можно меньше информировать верхушку партии о том, что оно делает. Развиваются лагеря – огромная истребительная система – партии докладывается о хитром способе за счет контрреволюции иметь бесплатную рабочую силу для строек пятилетки; а кстати «перековка» – лагеря-то ведь «исправительно-трудовые»; а что в них на самом деле? Да ничего особенного: в партии распространяют дурацкий еврейский анекдот о нэпманах, которые говорят, что «лучше воробейчиковы горы, чем соловейчиков монастырь». У меня впечатление, что партийная верхушка довольна тем, что заслон ГПУ (от населения) действует превосходно, и не имеет никакого желания знать, что на самом деле делается в недрах ГПУ: все довольны, читая официальную болтовню «Правды» о стальном мече революции (ГПУ), всегда зорко стоящем на страже завоеваний революции.

Я пробую иногда говорить с членами Политбюро о том, что население отдано в полную и бесконтрольную власть ГПУ. Этот разговор никого не интересует. Я скоро убеждаюсь, что, к счастью, мои разговоры приписываются моим враждебным отношениям к ГПУ, и поэтому они не обращаются против меня; а то бы я быстро стал подозрителен: «интеллигентская мягкотелость», «отсутствие настоящей большевистской бдительности по отношению к врагам» (а кто только не враг?) и так далее. Путем длительной и постоянной тренировки мозги членов коммунистической партии твердо направлены в одну определенную сторону. Не тот большевик, кто читал и принял Маркса (кто в самом деле способен осилить эту скучную и безнадежную галиматью), а тот, кто натренирован в непрерывном отыскании и преследовании всяких врагов. И работа ГПУ все время растет и развивается как нечто для всей партии нормальное – в этом и есть суть коммунизма, чтобы непрерывно хватать кого-нибудь за горло; как же можно упрекать в чем-либо ГПУ, когда оно блестяще с этой задачей справляется? Я окончательно понимаю, что дело не в том, что чекисты – мразь, а в том, что система (человек человеку волк) требует и позволяет, чтобы мразь выполняла эти функции.

Я столько раз говорю, что Ягода – преступник и негодяй, настоящая роль Ягоды в создании всероссийского ГУЛага так ясна и известна, что, кажется, ничего нельзя сказать в пользу этого субъекта. Между тем, один-единственный эпизод из его жизни мне очень понравился – эпизод в его пользу. Это было в марте 1938 года, когда пришло, наконец, время для комедии сталинского «суда» над Ягодой. На «суде» функции прокурора выполняет человекоподобное существо – Вышинский.

Вышинский: «Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего

сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете, ни малейшего сожаления о сделанном вами?»

Ягода: «Да, сожалею, очень сожалею...»

Вышинский: «Внимание, товарищи судьи. Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чем вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?»

Ягода: «Очень сожалею... Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял».

Надо пояснить, что у кого-кого, а у Ягоды, самого организовавшего длинную серию таких же процессов, никаких, даже самых малейших иллюзий насчет результатов «суда» не было.

Мое личное положение парадоксально: ГПУ меня ненавидит, маниакально подозрительный Сталин не обращает никакого внимания на доносы ГПУ, все секреты власти в моих руках. А я серьезно изучаю вопрос, чем я могу помочь для свержения этой власти.

Впрочем, иллюзий у меня никаких нет. Народные массы, как бы далеко ни зашла эта рабовладельческая система, сбросить власть не смогут; время баррикад и пик давно прошло, у власти не только танки, но и громадная, небывалой силы полиция; а кроме того, правящие ни перед чем не остановятся, чтобы власть удержать – это вам не Людовик XVI, который не хотел проливать крови подданных; эти прольют – сколько угодно.

Переворот мог бы прийти только сверху – из ЦК. Но и это почти невозможно: для этого людям, желающим ликвидировать коммунизм, надо скрывать, что они антикоммунисты, и завоевать большинство в ЦК. Вижу весь личный состав большевистских верхов; не вижу людей, которые бы склонны были это сделать.

А я сам? Исторический случай дает в моем лице врагу коммунизма возможность знать все его секреты, да и присутствовать на всех заседаниях Политбюро и Пленумов ЦК. Я могу сделать основательную бомбу (кстати, я иногда еще работаю в Высшем техническом в лабораториях качественного и количественного анализа; там есть и азотная кислота, и глицерин) и пронести ее в портфеле на заседание – никто не смеет любопытствовать, что в портфеле у секретаря Политбюро. Но для меня совершенно ясно, что это не имеет ни малейшего смысла – сейчас же будет избрано другое Политбюро, другой состав ЦК, и будут они не хуже и не лучше, чем этот, – систему бомбой убить нельзя. К разным фракциям правящей верхушки я равнодушен: и Троцкие, и Сталины одинаково проводят коммунизм.

Наконец, подбирать и организовывать свою группу в партийной верхушке – дело совершенно безнадежное – пятый или десятый побежит докладывать Сталину. Да кроме того, – я лишен возможности делать что-либо скрытое – ГПУ внимательно следит за каждым моим шагом в надежде найти что-либо против меня.

Что же я могу сделать? Только одно – продолжать скрывать мои взгляды и продолжать делать большевистскую карьеру с надеждой стать наследником Сталина и тогда все повернуть. Дальнейшее показало, что это совсем не фикция: Маленков, заняв после меня место секретаря Политбюро, именно это и проделывает: то есть проделывает первую часть программы – нормально выходит в наследники Сталина (к смерти Сталина – он второй человек в стране, первый секретарь ЦК и председатель Совета министров); наоборот, будучи достойным учеником Сталина и сталинцем, совершенно чужд второй части моей программы – заняв место Сталина, все повернуть.

И эту возможность я отвергаю. Я знаю Сталина и вижу, куда он идет. Он еще мягко стелет, но я вижу, что это аморальный и жестокий азиатский сатрап. Сколько он будет еще способен совершить над страной преступлений – и надо будет во всем участвовать. Я уверен, что у меня это не выйдет. Чтобы быть при Сталине и со

Сталиным, надо в высокой степени развить в себе все большевистские качества – ни морали, ни дружбы, ни человеческих чувств – надо быть волком. И затратить на это жизнь. Не хочу. И тогда что мне остается в этой стране делать? Быть винтиком машины и помогать ей вертеться? Тоже не хочу.

Остается единственный выход: уйти за границу; может быть, там я найду возможности борьбы против этого социализма с волчьей мордой. Но и это не так просто.

Сначала надо уйти из Политбюро, сталинского секретариата и из ЦК. Это решение я принимаю твердо. На мое желание уйти Сталин отвечает отказом. Но я понимаю, что дело совсем не в том, что я незаменим – для Сталина незаменимых или очень нужных людей нет; дело в том, что я знаю все его секреты, и если я уйду, надо вводить во все эти секреты нового человека; именно это ему неприятно.

Для техники ухода я нахожу помощь у Товстухи: он очень рад моему желанию уйти. Он хочет прибрать к рукам весь секретариат Сталина, но пока я секретарь Политбюро, у меня все важнейшие функции, и аппарат, канцелярия Политбюро, которые мне подчинены. Товстуха видит, как для него все устраивается с моим уходом. Правда, он не способен секретарствовать на заседаниях Политбюро, но с моим уходом он возьмет в свое подчинение канцелярию Политбюро, и функции секретаря Политбюро будут реорганизованы так, что хозяин аппарата будет он. Это происходит так. Когда я уйду в летний отпуск, меня замещает секретарь оргбюро Тимохин. Чтобы замещать секретаря оргбюро, умная жена Маленкова, Лера Голубцова, работающая в Орграспреде, пользуясь своим знакомством с Германом Тихомирновым (вторым секретарем Молотова – я об этом говорил в начале книги), продвигает на место временного секретаря оргбюро своего мужа. Товстуха, изучив Маленкова, решает взять его в Политбюро. Маленков назначается протокольным секретарем Политбюро – только чтобы секретарствовать на заседаниях; в помощь ему вводится стенографистка. Функции его ограничены: и он, и аппарат подчинены Товстухе. Контроль за исполнением постановлений Политбюро, слишком связанный со мной, прекращается. Доступа к сталинским секретам Маленков пока не имеет и еще долго не будет иметь, что Сталина вполне устраивает, и поэтому реформа никаких его возражений не вызывает.

Попав в Политбюро, будучи все время в контакте с членами Политбюро, все время на виду у Сталина, Маленков делает постепенную, но верную карьеру. К тому же он верный и стопроцентный сталинец. В 1934 году он становится помощником Сталина, в 1939 году – секретарем ЦК, в 1947 году – кандидатом Политбюро, в 1948 году членом Политбюро, а в последние годы перед сталинской смертью – первым заместителем Сталина, и как первый секретарь ЦК, и как председатель Совета министров, то есть формально вторым человеком в стране и наследником Сталина. Правда, по смерти Сталина наследство не вышло, в наследники Политбюро его не приняло, и он остался только председателем Совета Министров. Через три года – в 1956-м при попытке сбросить Хрущева он власть потерял и стал где-то в провинции директором электрической станции.

Уйдя из Политбюро, я продолжаю все же числиться за секретариатом Сталина, стараясь делать в нем как можно меньше и делая вид, что основная моя работа теперь в Наркомфине. Но до конца 1925 года я продолжаю секретарствовать в ряде комиссий ЦК, главным образом постоянных. Меня от них долго не освобождают – от секретаря в них спрашивается солидное знакомство со всем прошлым содержанием их работы. Только в начале 1926 года я могу сказать, что я из ЦК окончательно ушел. Сталин к моему уходу равнодушен.

Забавно, что никто не знает толком, продолжаю ли я быть за сталинским секретариатом или нет, ушел я или не ушел, а если ушел, то вернусь ли, (так бывало с другими – например, Товстуха как будто ушел в Институт Ленина, ан смотришь, снова в сталинском секретариате, и даже прочнее, чем раньше). Но я-то хорошо знаю, что ушел окончательно; и собираюсь уйти и из этой страны.



Теперь я смотрю на все глазами внутреннего эмигранта. Подвожу итоги.

В большевистской верхушке я знал многих людей, и среди них людей талантливых и даровитых, немало честных и порядочных. Последнее я констатирую с изумлением. Я не сомневаюсь в будущей незавидной судьбе этих людей – они по сути к этой системе не подходят (правда, мне бы следовало также допустить, что и судьба всех остальных будет не лучше). Они втянуты, как и я, в эту огромную машину по ошибке и сейчас являются ее винтиками. Но у меня уже глаза широко открыты, и я вижу то, чего почти все они не видят: что неминуемо должно дать дальнейшее логическое развитие применения доктрины.

Как я вижу и понимаю происходящую эволюцию и пути развития власти и ее аппарата?

Здесь два разных вопроса. Во-первых, механизм власти, истинный механизм, а не то, что выдается за власть по тактическим соображениям. Переворот произведен ленинской группой профессиональных революционеров. Захватив власть и взяв на себя управление страной, национализировав и захватив все, она нуждается в огромном и многочисленном аппарате управления, следовательно, в многочисленных кадрах партии. Двери в партию широко открыты, и интенсивная коммунистическая пропаганда легко завоевывает и привлекает массы людей. Страна политически девственна; первые же фразы партийных агитаторов и пропагандистов, произнесенные перед простыми людьми, никогда не размышлявшими над политическими вопросами, кажутся им откровением, вдруг открывающим глаза на все важнейшее. Всякая другая пропаганда, говорящая что-то иное, закрывается и преследуется как контрреволюционная. Партия быстро растет за счет новых верующих политически неискушенных людей. Ими наполняются все органы разнообразной власти – гражданской, военной, хозяйственной, профсоюзной и т. д. В центре – ленинская группа, возглавляющая многочисленные ведомства и организации. Формально она правит через органы власти, носящей для публики название советской, – народные комиссариаты, исполкомы, их отделы и разветвления. Но их много, и центр должен охватить не только всю их гамму, но и все, что в них не вмещается; коминтерны и профинтерны, армию, газеты, профсоюзы, пропагандный аппарат, хозяйство и т. д., и т. д. Это возможно только в Центральном комитете партии, куда входят все главные руководители всего. А Центральный комитет громоздок и широк, нужна небольшая руководящая группа, и вот уже выделяется для этого Политбюро, которое заменяет Ленина с его двумя-тремя помощниками, правившими первые два года (Ленин, Свердлов, Троцкий). Политбюро, избранное в марте 1919 года, быстро становится настоящим правительством. В сущности, для Ленина и его группы это пока еще ничего не меняет, только упорядочивает дело государственного управления. По-прежнему управление происходит через органы, называемые советской властью. Во все время Гражданской войны в этой схеме происходит мало изменений. Партийный аппарат еще в зачатке, и функции у него обслуживающие, а не управительные. Дело начинает меняться с окончанием Гражданской войны. Создается и быстро начинает расти настоящий партийный аппарат. Тут централизаторски объединяющую деятельность в деле управления, которую выполняет Политбюро в центре, начинают брать на себя в областях областные и краевые бюро ЦК, в губерниях – бюро губкомов. А в губкомах на первое место выходит секретарь – он начинает становиться хозяином своей губернии вместо председателя губисполкома и разных уполномоченных центра. Новый устав 1922 года дает окончательную форму этой перемене. Начинается период «секретародержавия». Только в Москве во главе всего не генеральный секретарь партии, а Ленин. Но в 1922 году болезнь выводит Ленина из строя; центральной властью становится Политбюро без Ленина. Это означает борьбу за наследство. Зиновьев и Каменев, подхватившие власть, считают, что их власть обеспечена тем, что у них в руках Политбюро. Сталин и Молотов видят дальше. Политбюро избирается Центральным комитетом. Имейте в своих: руках большинство Центрального комитета, и вы выберете Политбюро, как вам нужно. Поставьте всюду своих секретарей губкомов, и большинство съезда и ЦК – за вами.

Почему-то Зиновьев этого не хочет видеть. Он так поглощен борьбой за уничтожение Троцкого по старым ленинским рецептам – грызни внутри ЦК, что сталинскую работу по подбору всего своего состава в партийном аппарате (а она длится и 1922, и 1923, и 1924, и 1925 годы) он не видит. В результате в 1922, 1923 и 1924 годах страной правит тройка, а в 1925 году, с ее разрывом, – Политбюро. Но с января 1926 года Сталин после съезда пожинает плоды своей многолетней работы – свой ЦК, свое Политбюро – и становится лидером (еще не полновластным хозяином, члены Политбюро еще имеют вес в партии, члены ЦК еще кое-что значат). Но пока шла борьба в центре, секретародержавие на местах окончательно укрепилось. Первый секретарь губкома – полный хозяин своей губернии, все вопросы губернии решаются на бюро губкома. Страной правит уже не только партия, но партийный аппарат.

А дальше? Куда это растет?

Я хорошо знаю Сталина – теперь он на верном пути к усилению своей единоличной власти. Теоретически свержение его возможно только через съезд партии – он прекратит созывать съезды, когда вся власть будет в его руках. Тогда будет только одна власть в стране: уже не партия и не партийный аппарат, а Сталин и только Сталин. А управлять он будет через того, кого найдет более удобным. Через Политбюро или через своих секретарей.

Но какова будет судьба всех этих масс партийцев, которую партия впитала после революции и о которых была речь выше? Мы сможем о ней гадать, разобравшись во втором вопросе.

Второй вопрос – о сути власти и эволюции этой сути.

Когда вы хорошо знакомитесь с личностью Ленина или Сталина, вас поражает потрясающее, казалось бы, маниакальное стремление к власти, которому все подчинено в жизни этих двух людей. На самом деле ничего особенно удивительного в этой жажде власти нет. И Ленин, и Сталин – люди своей доктрины, марксистской доктрины, их системы мысли, определяющей всю их жизнь. Чего требует доктрина? Переворота всей жизни общества, который может и должен быть произведен только путем насилия. Насилия, которое совершит над обществом какое-то активное, организованное меньшинство, но при одном непременном, обязательном условии – взявши предварительно в свои руки государственную власть. В этом альфа и омега: ничего не сделаешь, говорит доктрина, не взявши власть. Все сделаешь, все переменишь, взяв в свои руки власть. На этой базе построена вся их жизнь.

Власть приходит в руки Ленина, а потом Сталина не только потому, что они маниакально, безгранично к ней стремятся, но и потому, что они в партии являются и наиболее полными, наиболее яркими воплощениями этой основной акции партийной доктрины. Власть – это все, начало и конец. Этим живут Ленин и Сталин всю жизнь. Все остальные вынуждены идти за ними следом.

Но власть взята активным меньшинством при помощи насилия и удерживается этим же активным меньшинством при помощи насилия над огромным большинством населения. Меньшинство (партия) признает только силу. Население может как угодно плохо относиться к установленному партией социальному строю, власть будет бояться этого отрицательного отношения и маневрировать (Ленин – нэп), только пока будет считать, что ее полицейская система охвата страны недостаточна сильна и что есть риск потерять власть. Когда система полицейского террора зажимает страну целиком, можно применять насилие, не стесняясь (Сталин – коллективизация, террор 30-х годов), и заставить страну жить по указке партии, хотя бы это стоило миллионов жертв.

Суть власти – насилие. Над кем? По доктрине, прежде всего над каким-то классовым врагом. Над буржуем, капиталистом, помещиком, дворянином, бывшим офицером, инженером, священником, зажиточным крестьянином (кулак), инакомыслящим и не адаптирующимся к новому социальному строю

(контрреволюционер, белогвардеец, саботажник, вредитель, социал-предатель, прихлебатель классового врага, союзник империализма и реакции и т. д., и т. д.); а по ликвидации и по исчерпанию всех этих категорий можно создавать все новые и новые: середняк может стать подкулачником, бедняк в деревне – врагом колхозов, следовательно, срывателем и саботажником социалистического строительства, рабочий без социалистического энтузиазма – агентом классового врага. А в партии? Уклонисты, девиационисты, фракционеры, продажные троцкисты, правые оппозиционеры, левые оппозиционеры, предатели, иностранные шпионы, похотливые гады – все время надо кого-то уничтожать, расстреливать, гноить в тюрьмах, в концлагерях – в этом и есть суть и пафос коммунизма.

Но в начале революции сотни тысяч людей вошли в партию не для этого, а поверив, что будет построено какое-то лучшее общество. Постепенно (но не очень скоро) выясняется, что в основе всего обман. Но верующие продолжают еще верить; если кругом творится черт знает что, это, вероятно, вина диких и невежественных исполнителей, а идея хороша, вожди хотят лучшего, и надо бороться за исправление недостатков. Как? Протестуя, входя в оппозиции, борясь внутри партии. Но путь оппозиций в партии – гибельный путь. И вот уже все эти верующие постепенно становятся людьми тех категорий, которые власть объявляет врагами (или агентами классовых врагов); и все эти верующие тоже обречены – их путь в общую гигантскую мясорубку, которой со знанием дела будет управлять товарищ Сталин.

Постепенно партия (и в особенности ее руководящие кадры) делится на две категории: те, кто будет уничтожать, и те, кого будут уничтожать. Конечно, все, кто заботится больше всего о собственной шкуре и о собственном благополучии, постараются примкнуть к первой категории (не всем это удастся: мясорубка будет хватать направо и налево, кто попадет под руку); те, кто во что-то верил и хотел для народа чего-то лучшего, рано или поздно попадут во вторую категорию.

Это, конечно, не значит, что все шкурники и прохвосты благополучно уцелеют; достаточно сказать, что большинство чекистских расстрельных дел мастеров тоже попадут в мясорубку (но они – потому, что слишком к ней близки). Но все более или менее приличные люди с остатками совести и человеческих чувств наверняка погибнут.

По моей должности секретаря Политбюро я сталкивался со всей партийной верхушкой. Должен сказать, что в ней было очень много людей симпатичных (я не выношу окончательного суждения – я говорю о том, как я их видел в тот момент). Черт толкнул талантливого организатора и инженера Красина к ленинской банде профессиональных паразитов. Редко я встречал более талантливого организатора, на лету все схватывающего и все понимающего, чем Сырцов. А за что бы ни брался присяжный поверенный Бриллиант (Сокольников), со всем он блестяще справлялся.

Другие были менее блестящи, но порядочны, приятны и дружелюбны. Орджоникидзе был прям и честен. Рудзутак – превосходный работник, скромный и честный, Станислав Коссиор, твердо хранивший свою наивную веру в коммунизм (когда был арестован чекистами, несмотря ни на какие пытки, не хотел возводить на себя ложные обвинения; чекисты привели его шестнадцатилетнюю дочь и изнасиловали у него на глазах; дочь покончила с собой; Коссиор сломался и подписал все, что от него требовали).

Почти со всеми членами партийной верхушки у меня превосходные личные отношения, дружелюбные и приятные. Даже сталинских сознательных бюрократов – Молотова, Кагановича, Куйбышева – не могу ни в чем упрекнуть, они всегда были очень милы.

А в то же время разве мягкий, культурный и приятный Сокольников, когда командовал армией, не провел массовых расстрелов на Юге России во время Гражданской войны? А Орджоникидзе на Кавказе?

Страшное дело – волчья доктрина и вера в нее. Только когда хорошо разберешься во всем этом и хорошо знаешь всех этих людей, видишь, во что неминуемо превращает людей доктрина, проповедующая насилие, революцию и уничтожение «классовых» врагов.

## Глава 14

### Последние наблюдения. бежать из социалистического рая

*Художественная литература. Маяковский. Эйзенштейн. Состязание с «буржуазными спортсменами». Поездка в Норвегию. Первая попытка бежать. Аленка. За границу уехать нормально нельзя*

В июне 1925 года Политбюро решило навести порядок в художественной литературе. Была выделена комиссия ЦК, сформулировавшая резолюцию «О политике партии в области художественной литературы». Суть резолюции, которую Политбюро утвердило, была та, что «нейтральной литературы нет» и советская литература должна быть средством коммунистической пропаганды. Забавен состав комиссии: председателем ее был глава Красной армии Фрунзе (до этих пор ни в каких отношениях с литературой не уличенный), членами – Луначарский и Варейкис. Варейкис был человек не весьма культурный. Но будучи секретарем какого-то губкома (кажется, воронежского), в местной губернской партийной газете он написал передовую, направленную против очередной оппозиции; и он заканчивал статью, обращаясь к этой оппозиции, цитатой из «Скифов» Блока: «Услышите, как хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах». Зиновьев на заседании Политбюро привел этот случай, как анекдотическую вершину бездарности аппаратчика. Этого было достаточно, чтобы Сталин выдвинул Варейкиса на пост заведующего Отделом Печати ЦК, на котором Варейкис некоторое время и пробыл.

Став внутренним эмигрантом, я был бы не прочь познакомиться с лучшими писателями и поэтами страны, не принимавшими коммунизма, и к которым я чувствовал глубокое уважение: Булгаковым, Ахматовой. Но, увы, я уже предрешил мое бегство за границу, и мое близкое знакомство с ними могло бы им причинить большие неприятности после моего бегства. Наоборот, с коммунистическими литераторами я мог свободно знакомиться – они ничем не рисковали. Маяковского первого периода, дореволюционного и футуристского, я, конечно, не знал. Энциклопедии согласно утверждают, что он стал большевиком с 1908 года. В это время ему было четырнадцать лет. Судя по его стихотворениям этого, дореволюционного периода, он во всяком случае был на правильном пути, чтобы стать профессиональным революционером и настоящим большевиком. Он писал, что его очень занимал вопрос:

«... как без труда и хитрости Карманы ближнему вывернуть и вытрясти».

Точно так же у него уже сформулировано было нормальное для профессионального революционера отношение к труду:

А когда мне говорят о труде, и еще, и еще, Словно хрен натирают на заржавленной терке, Я отвечаю, ласково взяв за плечо: А вы прикупаете к пятерке?

Я узнал поэта лишь во второй период, послереволюционный, когда он, с партбилетом в кармане, бодро и одушевленно направлял поэзию по коммунистическому руслу. В 1921 году прошла чистка партии, и Маяковский «объявил чистку современной поэзии». Это было пропагандное, не лишнее остроумия издевательство над поэтами, не осененными благодатью коммунизма. Я в то время был студентом Высшего технического. «Чистка» происходила в аудитории Политехнического музея. Публика была почти поголовно студенческая. Проводя «чистку» в алфавитном порядке и раздлавшись по дороге с Ахматовой, которая будто бы в революции увидела только, что «все разграблено, продано, предано», Маяковский дошел до Блока, который незадолго до этого умер. «Маяковский, – пищит какая-то курсистка, – о мертвых либо хорошо, либо ничего». «Да, да, – говорит Маяковский, – так я и сделаю: скажу о покойнике то, что почти

ничего собой не представляет и в то же время очень хорошо его характеризует. Жил я в то время, о котором идет рассказ, на Гороховой, недалеко от Блока. Собрались мы печь блины. Заниматься кухней мне не хотелось, и я пошел на пари, что пока блины будут готовы, я успею сбежать к Блоку и взять у него книгу его стихов с посвящением. Побежал. Прихожу к Блоку. Так и так, уважаемый Александр Александрович; высоко ценя ваш изумительный талант (вы уж знаете, я, если захочу, могу такого залить) и т. д. и т. д., вы бы мне, конечно, книжечку ваших стихов с посвящением. – Хорошо, хорошо, – говорит Блок; берет книжку своих стихов, выходит в соседнюю комнату, садится и думает. Десять минут, двенадцать минут... А у меня пари и блины. Я просовываю в дверь голову и говорю: „Александр Александрович, мне бы что-нибудь...“ Наконец написал. Я схватил книжку и бегом помчался домой. Пари я выиграл. Смотрю, что Блок написал: „Владимиру Маяковскому, о котором я много думаю“. И над этим надо было семнадцать минут думать!

То ли дело я: попросил у меня присутствующий здесь поэт Кусиков мою книгу с посвящением. Пожалуйста. Тотчас я взял „Все, сочиненное Владимиром Маяковским“ и надписал:

Много есть на свете больших вкусов и маленьких вкусов; Кому нравлюсь я, а кому Кусиков.

С поэтом я познакомился позже. Был он бесспорно талантлив. Был хамоват и циничен. Во время нэпа сочинял для советских торговых органов за мзду рекламные лозунги:

«Нигде кроме, как в Моссельпроме»,

«Прежде чем пойти к невесте, побывай в Резинотресте».

Но, увлеченный жанром, сочинял в этом же роде для друзей и знакомых:

Нечаянный сон – причина пожаров. Не читайте на ночь Уткина и Жарова.

Уткина вообще не выносил. В доме поэтов Уткин читал свое последнее, чрезвычайно благонамеренное стихотворение:

Застлало пряжею туманной  
Весь левый склон береговой.  
По склону поступью  
чеканной Советский ходит часовой.

Советского часового на берегу Днестра убивает стрелок-белогвардеец с румынского берега. Уткин топит белогвардейца в советском патриотическом негодовании.

Уткин кончил. Сейчас будет пора похлопать. Вдруг раздается нарочито густой бас Маяковского: «Старайся, старайся, Уткин, Гусевым будешь» (член ЦК Гусев заведовал в это время отделом печати ЦК).

В последний раз я встретился с поэтом в ВОКСе, куда зашел по какому-то делу к Ольге Давыдовне Каменевой. За границу на очередную подкормку поэта выпускали, но, экономя валюту, снабжали его, по его мнению, недостаточно, и поэт высказывал свое неудовольствие в терминах не весьма литературных.

Встречал я и Эйзенштейна, которого западноевропейские прогрессисты облыжно и упорно производят в гении. С ним я познакомился уже в 1923 году. Эйзенштейн в

то время руководил Театром пролеткульта.

Взяв пьесу Островского «На всякого мудреца довольно простоты», Эйзенштейн превратил ее в разнообразный балаган: текст к Островскому не имел почти никакого отношения, артисты паясничали, ходили по канату, вели политическую и антирелигиозную агитацию. Не только постановка, но и текст были Эйзенштейна. К сожалению, ничем, кроме большевистской благонадежности, текст не блистал. Повергая антисоветских эмигрантов, артисты распевали:

Париж на Сене, И мы на Сене. В Пуанкаре нам одно спасенье. Мы были люди, А стали швали, Когда нам зубы повышибали.

А для антирелигиозной пропаганды на сцену выносили на большом щите актера, одетого муллой, который пел на мотив «Аллаверды»:

Иуда – коммерсант хороший: Продал Христа, купил калоши.

У меня уже тогда создалось впечатление, что к коммерческим талантам Иуды у Эйзенштейна не столько уважение, сколько зависть. Других же талантов у самого Эйзенштейна как-то не было заметно.

Обернувшись к синема и узнав в Агитпропе ЦК, что сейчас требуется («нет агитационных революционных фильмов; состряпайте»), Эйзенштейн состряпал «Броненосца „Потемкина“», довольно обыкновенную агитку, которую левые синемасты Запада (а есть ли правые?) провозгласили шедевром (раз «революционный» фильм, то само собою разумеется, шедевр). Я его видел на премьере (если не ошибаюсь, почему-то она была дана в театре Мейерхольда, а не в синема) и случайно был рядом с Рудзутаком; по просмотре мы обменялись мнениями. «Конечно, агитка, – согласился Рудзук, – но давно уже нужен стопроцентный революционный фильм». Так что заказ был выполнен, и в фильме все было на месте – и озверелые солдаты, и гнусные царские опричники, и доблестные матросы – будущая «краса и гордость революции» (правда, только во времена АЛМАЗА, а не во времена КРОНШТАДТА).

Вся дальнейшая карьера Эйзенштейна шла в рамках высокого подхалимажа. Когда укреплялась сатрапская власть Сталина, Эйзенштейн скрутил «генеральную линию» (для непосвященных – мудрая линия ГЕНЕРАЛЬНОГО секретаря ЦК товарища Сталина), в которой вся Россия цветет и благоденствует под гениальным руководством Вождя (надо сказать, что в это время, 1928-1929 годы, еще были оппозиции, можно было и не подхалимничать, бухарины и рыковы вслух не соглашались с начинавшимся сталинским погромом деревни, и сталинский гений торопились открыть только редкие подхалимы по призванию). Венец подхалимского падения был в «Иоанне Грозном», которого заграница приняла, кажется, за чистую монету. Надо ли говорить, эйзенштейновский Иоанн Грозный сделан, чтобы восхвалить и оправдать сталинский террор; история-де повторяется: как Иоанн Грозный, будто бы заботясь о нуждах великой России, сажал на кол и рубил головы боярам, так же и Сталин расстреливал своих большевистских бояр, тоже изменников страны. Единственное оправдание всей этой гнусности: Эйзенштейн спасал (и действительно спас) свою шкуру. Но был он всю жизнь трусом и подхалимом самого низкого стиля. Кстати, и шкуру свою мог спасти иначе: ведь в тридцатых годах его выпустили в Голливуд, а затем он вертел революционные фильмы в Мексике. Мог бы спастись, оставшись за границей, – нет, вернулся ползать на животе перед сталинскими расстрельщиками.

В конце 1925 года Высший совет физической культуры получил из Норвегии приглашение для русских конькобежцев участвовать в первенстве мира по скоростным конькам. В это время русские скоростные конькобежцы были едва ли не лучшими в мире (об этом всегда можно судить с достаточной степенью точности по времени, показываемому на те же, классические дистанции). До этого момента, согласно догме, принятой красным Спортинтерном, объединявшим все

революционные рабочие спортивные организации, состязания между «буржуазными» спортсменами и «красными» никогда не допускались. Я решил, что пора этот порядок изменить.

Во главе Спортинтерна стоял Подвойский. В правительственной верхушке его имя обычно сопровождалось эпитетом «старый дурак». До революции он был военным, но большевиком. Во время октябрьского переворота он входил в Петроградский военно-революционный комитет, руководивший восстанием. Благодаря этому он считал себя исторической фигурой. Между тем по его глупости и неспособности выполнять какую-либо полезную работу власти всегда испытывали затруднение – куда его деть. Наконец нашли для него нечто вроде синекуры – начальником Всеобуча. Это было учреждение, занимавшееся военной подготовкой гражданского населения. Подвойский был очень ущемлен и обижен, он претендовал на ответственный руководящий пост. Когда был создан Спортинтерн, Подвойского поставили во главе, и этим несколько удовлетворили его самолюбие.

Когда Подвойский еще был во Всеобуче, у него начинал свою карьеру в качестве управляющего делами Всеобуча Ягода. Задержался он там недолго. Пользуясь родством с Яковом Свердловым, Ягода перешел управляющим делами ГПУ и там нашел свою настоящую дорогу. Но сохранил по старой памяти хорошие отношения с Подвойским и оказывал на Подвойского сильное влияние.

В частности, он убедил Подвойского, что красные рабочие организации не должны состязаться с «буржуазными» спортсменами, так как это-де будет вносить буржуазное разложение в революционную рабочую силу. Спортинтерн эту директиву преподал, и братские компартии приняли это как директиву Москвы. Следовательно, она неукоснительно проводилась.

Комитет, устраивавший первенство мира по конькам, это знал, но вполне спортивно рассчитывал, что первенство мира будет настоящим, только если в нем будут участвовать русские конькобежцы, самые сильные. Отсюда его приглашение.

На заседании Высшего совета физической культуры я настоял, чтобы это приглашение было принято, несмотря на возражения Ягоды. Подвойский поднял скандал: «Вы нам срываете всю нашу политическую линию работы». Особенно забегал по всем инстанциям Коминтерна, доказывая это, секретарь Спортинтерна, Ганс Лемберг. Это был тот самый голубоглазый русский немец, с которым, как я писал выше, во время Кронштадтского восстания пять лет тому назад я нес вооруженную охрану на заводе. В 1924 году, уже будучи и секретарем Политбюро, и членом президиума Высшего совета физической культуры, я встретил его на спортивных площадках. Мы разговорились о моей линии воссоздания старых спортивных организаций и развитии спорта. Он заявился ярым приверженцем этой политики. Чтобы немного нейтрализовать глупого и упрямого Подвойского, я через ЦК провел назначение Лемберга секретарем Спортинтерна. Лемберг оказался интриганом и сейчас же перешел на сторону Подвойского и Ягоды.

Но в Коминтерне от участия в этих спорах благоразумно воздержались, ответив Подвойскому и Лембергу, что это вопрос, который должен решать ЦК партии. Обращаться в ЦК безнадежно – там я всегда провел бы свою точку зрения. Ягода избрал такой обходной путь. Этот спор между председателями Высшего совета и Спортинтерна, Семашко и Подвойским, был изображен как конфликт двух руководителей ведомств, и Подвойский просил ЦКК разрешить этот вопрос «в конфликтном порядке». Так как в президиуме ЦКК были чекисты, друзья Ягоды и члены коллегии ГПУ Петерс и Лацис, то Ягода рассчитывал, что ЦКК признает Семашко неправым, так как вмешиваться в функции интернациональной организации вне его компетенции.

Накануне заседания ЦКК я захожу к Сталину и говорю ему: «Товарищ Сталин! Я представитель ЦК в Высшем совете физкультуры. У нас возник конфликт со Спортинтерном. Мы считаем, что рабочие спортивные организации могут состязаться с буржуазными, Спортинтерн против этого. Завтра ЦКК будет рассматривать этот вопрос. Я хочу знать ваше мнение». Сталин отвечает: «Почему



не состязаться? С буржуазией мы состязаемся политически, и не без успеха, состязаемся экономически, состязаемся всюду, где можно. Почему не состязаться спортивно? Это же ясно – только дурак этого не понимает». Я говорю: «Товарищ Сталин, разрешите завтра на заседании ЦКК привести ваше мнение, как вы его выразили». Сталин говорит: «Пожалуйста».

На другой день в президиуме ЦКК наш вопрос разбирается. Председательствует Гусев (должен бы был председательствовать Ярославский, но хитрый и трусливый человек уклонился – дело какое-то скользкое и неясное: непонятно, кто стоит за тяжущимися). Подвойский излагает суть дела, в чем и почему конфликт. Потом точку зрения Высшего совета излагает Семашко. Ягода поддерживает Подвойского. Мехоношин (представитель военного ведомства в Высшем совете) защищает нашу точку зрения. Постепенно один за другим высказываются все заинтересованные участники. Я молчу. Гусев все посматривает на меня и явно ждет, что скажу я. А я слова не беру. Наконец Гусев не выдерживает и говорит: «Очень бы интересно было знать, что думает по этому поводу представитель ЦК партии в Высшем совете». Я говорю: «Мне нет особенной надобности развивать мою точку зрения. Она та же, что и других членов президиума. Но, может быть, заседанию будет интересно знать, что думает по этому поводу товарищ Сталин». – «А, да, конечно, конечно!» – «Так вот, я вчера специально спросил товарища Сталина, что он по этому вопросу думает; он ответил буквально следующее и разрешил так его мнение на заседании и передать: почему не состязаться? Мы с буржуазией состязаемся по всем линиям; почему не состязаться по линии спортивной? Только дурак этого не понимает».

Ягода сделался багрово-красным. Члены президиума ЦКК сделали умное и удовлетворенное лицо, а Гусев поспешил сказать: «Так что же, товарищи, я думаю, вопрос вполне ясен, и все будут согласны, если я сформулирую наше решение так, что товарищ Подвойский неправ, а товарищ Семашко прав и занимает позицию, вполне согласную с линией партии. Возражений нет?» Возражений не было, и заседание на этом закончилось.

Семашко и президиум Высшего совета убеждают меня, что я должен поехать в Норвегию в качестве капитана команды конькобежцев. Так как там предстоят деликатные разговоры с руководством норвежской компартии, которому надо объяснить изменение политики Спортинтерна (в скандинавских странах вопросы спорта, и в особенности зимнего – лыжи и коньки – играют очень большую роль). Я соглашаюсь, захожу к Молотову и провожу на всякий случай постановление оргбюро ЦК о моей посылке капитаном этой команды.

Через день-два надо ехать. Все вопросы моей жизни становятся ребром, потому что я сразу принимаю решение, что это для меня случай выехать за границу и там остаться, отряхнув от моих ног прах социалистического отечества.

Но у меня есть одно чрезвычайное затруднение – мой роман.

В советской России у меня был только один роман, вот этот.

Она называется Андреева, Аленка, и ей двадцать лет. История Аленки такова. Отец ее был генералом и директором Путиловского военного завода. Во время Гражданской войны он бежал от красных с женой и дочерью на юг России. Там в конце Гражданской войны на Кавказе он буквально умер от голода, а жена его сошла с ума. Пятнадцатилетнюю дочку Аленку подхватила группа комсомольцев, ехавших в Москву на съезд, и привезла в Москву. Девчонку определили в комсомол, и она начала работать в центральном аппарате комсомола. Была она на редкость красива и умна, но нервное равновесие после всего, что она пережила, оставляло желать лучшего.

Когда ей было семнадцать лет, генеральный секретарь ЦК комсомола товарищ Петр Смородин влюбился в нее и предложил ей стать его женой. Что и произошло. Когда ей было девятнадцать лет, она перешла работать в аппарат ЦК партии на какую-то техническую работу. Тут я с ней встретился. Роман, который возник

между нами, привел к тому, что она своего Смородина оставила. Правда, вместе с ней мы не жили. Я жил в 1-м Доме Советов, а рядом был Дом Советов, отведенный для руководителей ЦК комсомола. У нее там была комната, и рядом с ней жили все ее подруги, к обществу которых она привыкла.

Роман наш длился уже полтора года. Но Аленка не имела никакого понятия о моей политической эволюции и считала меня образцовым коммунистом. Открыть ей, что я хочу бежать за границу, не было ни малейшей возможности. Я придумал такую стратегию.

В последние месяцы я перевел Аленку из ЦК на работу в Наркомфин, секретарем Конъюнктурного института. Работа эта ей очень нравилась и очень ее увлекала. Я придумал ей командировку в Финляндию, чтобы собрать там материалы о денежной реформе, которые будто бы по ведомству были очень нужны. Через Наркомфин я провел эту командировку мгновенно. Я надеялся, что она пройдет и через ГПУ (заграничные служебные паспорта подписывает Ягода), тем более, что я еду в Норвегию, а она в Финляндию. Я рассчитывал на обратном пути встретить ее в Гельсингфорсе и только здесь открыть ей, что я остаюсь за границей; и здесь предложить ей выбор: оставаться со мной или вернуться в Москву. Естественно, если она решила вернуться, всякие риски бы для нее отпали – она бы этим доказала, что моих контрреволюционных взглядов не разделяет и соучастницей в моем оставлении советской России не является.

Проходит день, моя команда готова. Это три конькобежца: Яков Мельников, в данный момент самый сильный конькобежец в мире, в особенности в беге на короткую дистанцию (500 метров), Платон Ипполитов, который очень силен на среднюю (1500 метров), и молодой красноармеец Кушин, показывающий лучшие времена на длинные дистанции (5000 и 10000 метров). Надо спешно выезжать. Иначе опоздаем в Трондгейм, где будет происходить первенство. Но мой паспорт должен подписать Ягода. А звоня в ГПУ, я ничего не могу добиться о моем паспорте, кроме того, что он «на подписи» у товарища Ягоды, а товарища Ягоду я добиться по телефону никак не могу, даже к «вертушке» он не подходит. Я быстро соображаю, в чем дело. Ягода делает это нарочно, чтобы сорвать нашу поездку. Если мы не выедем сегодня, мы в Трондгейм опоздаем. Что Ягоде и нужно.

Я иду к Молотову и объясняю ему, как Ягода, задерживая мой паспорт, пытается сорвать нашу поездку. Я напоминаю Молотову, что я еду по постановлению оргбюро ЦК. Молотов берет трубку и соединяется с Ягодой. Ягоде он говорит очень сухо: «Товарищ Ягода, если вы думаете, что можете таким путем сорвать постановление ЦК, вы ошибаетесь. Если через пятнадцать минут паспорт товарища Бажанова не будет лежать у меня на столе, я передаю о вас дело в ЦКК за умышленный срыв решения ЦК партии».

А мне Молотов говорит: «Подождите здесь, товарищ Бажанов, это будет недолго». Действительно, через десять минут, грохоча тяжелыми сапогами, появляется фельдъегерь ГПУ: «Товарищу Молотову, чрезвычайно срочно, лично в собственные руки, с распиской на конверте». В конверте мой паспорт. Молотов ухмыляется.

В тот же день мы выезжаем. В Осло мы попадаем вечером накануне дня, когда разыгрывается первенство. Но попасть в Трондгейм мы не можем – последние поезда в Трондгейм уже ушли, а свободного аэроплана найти не можем – они все там, в Трондгейме. Нам приходится удовлетвориться состязанием со слабой рабочей командой. Но времена, которые показывает наша команда, лучше, чем времена на первенстве мира. Газеты спорят, кто выиграл первенство морально.

Полпредша в Норвегии, Коллонтай, приглашает в полпредство генерального секретаря ЦК норвежской компартии Фуруботена, и я ему объясняю, как и почему Москва решила сделать переворот в политике Спортинтерна. Коллонтайша добавляет Фуруботену, какой пост я занимаю в ЦК партии, и это сразу снимает все возможные возражения.

В северных странах спорт играет несравненно большую роль, чем у нас. Газеты

печатают в изобилии фотографии нашей команды и мою – капитана. Мы – все вместе, мы на катке встретились и разговариваем (главным образом, жестами) с юной чемпионкой мира по фигурному катанию Соней Энне, очаровательным пятнадцатилетним пупсом, и т. д.

Вечером я решаю отправиться в оперу, послушать, как норвежцы ставят «Кармен». То, что я ни слова не понимаю по-норвежски, меня не смущает, Кармен я знаю наизусть. В первом антракте я выхожу в фойе пройтись и останавливаюсь у колонны. Одет я не совсем для оперы, но публика меня по сегодняшним газетным фотографиям узнает – «это и есть большевистский капитан команды». Мимо меня проходит прелестная девица, сопровождаемая двумя очень почтительными и воспитанными юношами; она о чем-то с ними спорит, они вежливо не соглашаются. Вдруг становится понятным, в чем дело. Она направляется ко мне и заводит со мной разговор. Она говорит и по-французски, и по-английски. Сходимся на французском. Сначала разговор идет о команде, о коньках. Потом собеседница начинает задавать всякие вопросы, и о Советах, и о политике, и о литературе. Я лавирую (я ведь должен остаться за границей) и стараюсь говорить двусмысленно, острить и отшучиваться. Собеседницу разговор очень увлекает, и мы его продолжаем во всех следующих антрактах. Я замечаю, что проходящие очень пожилые и почтенные люди кланяются ей чрезвычайно почтительно. Я ее спрашиваю, что она делает. Работает? Нет, она у родителей; учится. Вечер проходит очень оживленно.

На другой день, когда я прихожу в полпредство, Коллонтайша мне заявляет: «Час от часу не легче; теперь мы уже ухаживаем за королевскими принцессами». Я отвечаю, выдерживая партийную манеру: «А кто ж ее знает, что она королевская принцесса; на ней не написано».

Но рапорт об этом идет, и Сталин меня спросит: «Что это за принцесса, за которой вы ухаживали?» Последствий, впрочем, это никаких не имеет. Я с моей командой возвращаюсь через Финляндию. В Гельсингфорсе я надеюсь застать Аленку. Увы, она в Ленинграде и просила меня звонить ей, как только я приеду. Я звоню. Она мне сообщает, что выехать не смогла, так как Ягода паспорт ей подписать отказался.

Положение получается очень глупое. Если я остаюсь за границей, по всей совокупности дела она будет рассматриваться как моя соучастница, которая неудачно пыталась бежать вместе со мной, и бедную девчонку расстреляют совершенно ни за что, потому что на самом деле она никакого понятия не имеет о том, что я хочу бежать за границу. Решать приходится мгновенно. Наоборот, если я вернусь, никаких неприятных последствий для нее не будет. Я записываю в свой пассив неудачную попытку эмигрировать, сажусь в поезд и возвращаюсь в советскую Россию. Ягода уже успел представить Сталину цидулку о моем намерении эмигрировать, да еще с любимой женщиной. Сталин, как всегда, равнодушно передаст донос мне. Я пожимаю плечами: «Это у него становится манией». Во всяком случае, мое возвращение оставляет Ягodu в дураках. Совершенно доказано, что я бежать не хотел – иначе зачем бы вернулся. Человеческие возможные мотивы такого возвращения ни Сталину, ни Ягоде недоступны – это им и в голову не придет.

Так как теперь совершенно ясно, что как я ни попробую бежать, Аленку с собой я взять никак не смогу, у меня нет другого выхода, как разойтись с ней, чтобы она ничем не рисковала. Это очень тяжело и неприятно, но другого выхода у меня нет. К тому же я не могу ей объяснить настоящую причину. Но она – девочка гордая и самолюбивая, и при первых признаках моего отдаления принимает наше расхождение без всяких объяснений. Зато ГПУ, которое неустанно занимается моими делами, решает использовать ситуацию. Одна из ее подруг, Женька, которая работает в ГПУ (но Аленка этого не знает), получает задание, которое и выполняет очень успешно: «Ты знаешь, почему он тебя бросил? Я случайно узнала – у него есть другая дама сердца; все ж таки, какой негодяй и т. д.» Постепенно Аленку взвинчивают, убеждают, что я скрытый контрреволюционер, и уговорят (как долг коммунистки) подать на меня заявление в ЦКК, обвиняя меня в скрытом

антибольшевизме. Ягода опять рассчитывает на своих Петерса и Ладиса, которые заседают в партколлегии ЦКК. Но для этого надо все же взять предварительное разрешение Сталина. Так просто к Сталину и обращаться не стоит. Но тут (это уже весна 1926 года, и Зиновьев, Каменев и Сокольников в оппозиции) приходит случайное обстоятельство. Я продолжаю встречаться с Сокольниковым. Сталина это не смущает – я работаю и в Наркомфине, и у меня с ним могут еще быть всякие дела по этой линии. Но Каменев просит меня зайти к нему. С января 1926 года Каменев уже не член Политбюро, а кандидат. Я не вижу оснований не зайти к нему, хотя и не знаю, зачем я ему нужен. Я захожу. Каменев делает попытку завербовать меня в оппозицию. Я ему отвечаю очень кислыми замечаниями насчет программных расхождений, которые он развивает: я не младенец и вижу, что здесь больше борьбы за власть, чем действительной разницы. Но ГПУ докладывает Сталину о том, что я был у Каменева. Тогда Сталин меняет отношение к делу и соглашается, чтобы меня вызвали в ЦКК и выслушали обвинения Аленки – женщина, с которой вы были близки, может знать о вас интересные секреты. (Конечно, по советско-сталинской практике надо было пойти к Сталину и рассказать ему о разговоре с Каменевым, но мне глубоко противна вся эта шпионско-доносительная система, и я этого не делаю.) На ЦКК Аленка говорит в сущности вздор. Обвинения в моей контрреволюционности не идут дальше того, что я имел привычку говорить: «наш обычный советский сумасшедший дом» и «наш советский бардак». Это я действительно говорил часто и не стеснялся. Собеседники обычно почтительно улыбались – я принадлежал к числу вельмож, которые могут себе позволить критику советских порядков, так сказать, критику хозяйскую. Когда она кончила, я беру слово и прошу партколлегию не судить ее строго – она преданный член партии, говорит то, что действительно думает, полагает, что выполняет свой долг коммунистки, а вовсе не клеветает, чтобы повредить человеку, с которым разошлась. Получается забавно. Аленка, обвиняя меня, ищет моего исключения из партии, что для меня равносильно расстрелу. Между тем я, не защищаясь сам, защищаю мою обвинительницу. Ярославский, который председательствует, спрашивает, а что я скажу по существу ее обвинений. Я только машу рукой: «Ничего». Партколлегия делает вид, что задерживает против меня суровый упрек, что я ей устроил командировку за границу. Я не обращаю на это никакого внимания – я знаю, что все это театр и что они спросят у Сталина, постановлять ли что-либо. Поэтому на другой день я захожу к Сталину, говорю, между прочим, о ЦКК так, как будто все это чепуха (инициатива обиженной женщины), а потом так же, между прочим, сообщаю, что товарищ Каменев пытался привести меня в оппозиционную веру, но безрезультатно. Сталин успокаивается и, очевидно, на вопрос Ярославского, что постановлять ЦКК, отвечает, что меня надо оставить в покое, потому что никаких последствий это больше для меня не имеет.

Впрочем, это не совсем так. Из всех этих историй что-то остается. Я уже давно удивляюсь, как Сталин, при его болезненной подозрительности, все это переваривает. Весной 1926 года я пробую устроить себе новую поездку за границу, чтобы в этот раз там и остаться. Насчет Аленки я теперь совершенно спокоен. После всех обвинений против меня она теперь ничем не рискует. Если ГПУ попробует в чем-нибудь ее упрекнуть, она скажет: «Я же вам говорила, что он контрреволюционер, а ЦКК мне не поверила. Вот теперь видите, кто прав». И тут действительно ничего не скажешь.

Я пишу работу об основах теории конъюнктуры. Такой работы в мировой экономической литературе нет. Я делаю вид, что мне очень нужны материалы Кильского института мирового хозяйства в Германии (они на самом деле очень ценны) и устраиваю себе командировку от Наркомфина на несколько дней в Германию. Но здесь у меня две возможности: или провести поездку через постановление оргбюро ЦК, что слишком помпезно для такого маленького дела и едва ли выгодно, или просто зайти к Сталину и осведомиться, нет ли у него возражений. Я захожу к Сталину и говорю, что хочу поехать на несколько дней в Германию за материалами. Спрашиваю его согласие. Ответ неожиданный и многозначный: «Что это вы, товарищ Бажанов, все за границу да за границу. Посидите немного дома».

Это значит, что за границу я теперь в нормальном порядке не уеду. В конце концов, что-то у Сталина от всех атак ГПУ против меня осталось. «А что, если и в самом деле Бажанов останется за границей; он ведь начинен государственными секретамми, как динамитом. Лучше не рисковать, пусть сидит дома».

Месяца через три я делаю еще одну косвенную проверку, но устраиваю это так, что я здесь ни при чем. На коллегии Наркомфина речь идет о профессоре Любимове, финансовом агенте Советов во Франции. Он беспартийный, доверия к нему нет никакого, подозревается, что он вместе с советскими финансовыми делами умело устраивает и свои. Кем бы его заменить? Кто-то из членов Коллегии говорит: «Может быть, товарищ Бажанов съездил бы туда навести в этом деле порядок». Я делаю вид, что меня это не очаровывает, и говорю: «Если ненадолго, может быть». Нарком Брюханов поддерживает это предложение. Он согласует это с ЦК. Судя по тому, что это не имеет никаких последствий, я заключаю, что он пробовал говорить с Молотовым (едва ли со Сталиным) и получил тот же ответ: «Пусть посидит дома».

Теперь возможности нормальной поездки за границу для меня совершенно отпадают. Но я чувствую себя полностью внутренним эмигрантом и решаю бежать каким угодно способом.

Прежде всего надо, чтобы обо мне немного забыли, не мозолить глаза Сталину и Молотову. Из ЦК я ушел постепенно и незаметно, уваливая от всякой работы там, теперь нужно некоторое время поработать в Наркомфине, чтобы все привыкли, что я там тихо и мирно работаю, этак с годик. А тем временем организовать свой побег.

Моя Аленка постепенно утешилась и вернулась к своему Смородину. По возрасту Смородин уже не в комсомоле и пытается учиться. Несмотря на все его старания, это ему не удастся, голова у него не устроена для наук, и он переходит на партийную работу. Тут, очевидно, голова не так нужна, и он доходит до чина секретаря Ленинградского комитета партии и кандидата в члены ЦК. Но в сталинскую мясорубку 1937 года его расстреливают. Бедная Аленка попадает в мясорубку вместе с ним и заканчивает свою молодую жизнь в подвале ГПУ. Дочка их Мая – еще девчонка, расстреливать ее рано, но когда она подрастает после войны (кажется, в 1949 году), и ее ссылают в концлагерь (оттуда она выйдет все же живой).

## Глава 15

### Подготовка бегства

*Финансовое издательство. Финансовый факультет на дому. Ларионов. В Среднюю Азию. Москва – прощание. Блюмкин и Максимов. Ашхабад. Секретный отдел ЦК Туркмении*

Уйдя из ЦК, я имею гораздо больше времени. В Наркомфине я беру еще на себя редактирование «Финансовой газеты». Это ежедневная газета финансового ведомства, специально занимающаяся финансово-экономическими вопросами. Меня очень интересует газетная техника, а кстати и типографская. Здесь можно многому научиться. Само руководство газетой для меня затруднений не представляет – финансовую политику власти я знаю превосходно; кстати, замена Сокольников Брехановым в ней ничего не меняет.

Кроме того, я беру на себя руководство «Финансовым издательством». Оно издает финансово-экономическую литературу. В нем работает 184 человека. На первом же заседании коллегии издательства, где присутствуют все руководящие работники – и заведующий оперативным отделом, и бюджетным, и издательским, и редакторским, и еще бог знает каким, и секретарь ячейки, и председатель месткома и т. д. и т. д., я пытаюсь разобраться, что делает издательство и как. Все ответственные работники на мои деловые вопросы несут утомительную чушь насчет бдительности, партийной линии, а когда я настаиваю насчет фактов и цифр, никто ничего не знает, и в конце концов спрашиваемый обращается к очень пожилому человеку, скромно сидящему в самом конце стола за углом: «Товарищ Матвеев, дайте, пожалуйста, цифры». Товарищ Матвеев сейчас же нужные цифры дает. Через час я убеждаюсь, что это сборище паразитов, которые ничего не делают, ничего не знают и главное занятие которых – доносы, интриги и подсиживание «по партийной линии». Я их разгоняю и закрываю заседание. Прошу остаться только товарища Матвеева, у которого хочу получить некоторые цифры. Товарищ Матвеев – беспартийный, спец. Держится ниже травы. Единственный человек в издательстве, который все прекрасно знает и во всей работе прекрасно разбирается. Он в чине технического консультанта. Через полчаса я имею ясную и точную картину всего положения дел в издательстве. Я удивляюсь поразительной осведомленности товарища Матвеева и его глубокому пониманию дела. «А что вы делали до революции?» Ежась и стесняясь, товарищ Матвеев сознается, что он был буржуем и издателем и издавал как раз ту же финансово-экономическую литературу, будучи практически в России в этом деле монополистом. Выясняется, что его издательский объем был примерно тот же, что сейчас у нашего «Финансового издательства». Я интересуюсь, как велики были штаты его издательства. Так же стесняясь, он объясняет, что штатов никаких не было. Кто же был? Да он – издатель, и одна сотрудница, она же и секретарша и машинистка. И это все. А какое помещение вы занимали? Опять же, никакого помещения не было. Была комнатка, в которой за конторкой работал издатель и за столиком машинистка. И выполняли они ту же работу, что сейчас 184 паразита, занимающие огромный дом. Для меня это – символ, картина всей советской системы.

Я заканчиваю свою работу по теории экономической конъюнктуры. Я пытаюсь установить основные базы теории. Бронский уговаривает меня напечатать эту работу в его толстом журнале «Социалистическое хозяйство». Народный комиссариат просвещения извещает меня, что засчитывает эту работу за докторскую диссертацию, и Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, который открывает кафедру теории экономической конъюнктуры, приглашает меня в качестве профессора по этой кафедре. Увы, я недолго занимаю эту кафедру – весну 1927 года; вслед за тем я из Москвы уеду по дороге в свободный мир через Среднюю Азию.

Я оставляю Финансово-экономическое бюро, потому что я боюсь, что наркомат может меня задержать из-за этой работы, когда я захочу уехать. Но я изобретаю себе работу, где я сам себе буду хозяином и которую смогу оставить, когда захочу. Происходит это так.

Народный комиссариат финансов нуждается в десятках тысяч работников с высшим специальным образованием на должности финансовых инспекторов, контролеров, банковских специалистов и т. д. Кадры, бывшие на этих должностях до революции, обычно люди с высшим образованием, разбежались, разогнаны, расстреляны, ушли в эмиграцию. В этих работах огромный недостаток. Между тем новая политика («классовая»), проводимая в высшем образовании, допускает в высшие учебные заведения только лиц пролетарского происхождения, в огромном большинстве малокультурных и к высшему образованию не подготовленных, так как не имеющих и среднего. Наоборот, молодежь более культурная и имеющая среднее образование – происхождения непролетарского, и в высшую школу не допускается. Как быть? Наркомфин пытается организовать в Ленинграде курсы по переподготовке (повышению культурного уровня и квалификации) тех слабых финансовых работников, которые эти места занимают. Курсы функционировали год, съели огромное количество денег (надо кормить и содержать курсантов, преподавателей, обслуживающий персонал, а все это в советских условиях дает все нарастающую гору с местками, клубами, ячейками, политпросвещением, хозяйственным обслуживанием, домом, содержанием, ремонтом и т. д.) и выпустили сотню сомнительных «переподготовленных». Нарком Брюханов просит меня поехать в Ленинград, посмотреть выпуск и дать заключение, что это дало. Я это продельваю и убеждаюсь, что огромные средства затрачены впустую. Кроме того, это капля в море по сравнению с потребностями ведомства в специалистах.

Но я вижу решение. Я говорю Брюханову: «Николай Павлович, дайте из средств наркомата мне взаймы десять тысяч рублей. Я устрою Финансовый факультет на дому – заочное образование. Это будет работать на хозяйственном расчете; через три-четыре месяца я вам ваши десять тысяч верну. Я вам подготовлю тысячи нужных вам финансовых работников, и это вам не будет ни копейки стоить. Но только тут не будет никакого пролетарского происхождения. Я как раз дам возможность при помощи заочного образования получить квалификацию той молодежи, которой закрыты все дороги из-за ее социального происхождения. А вам не все ли равно, какого происхождения будут ваши финансовые специалисты – вам важно их иметь». Брюханов человек умный и сейчас же соглашается; мне выдаются взаймы нужные десять тысяч.

Я сейчас же организую Центральные заочные финансово-экономические курсы (Финансовый факультет на дому). Но в России заочное образование, в отличие от заграницы, почти неизвестно. В 1912–1913 годах были какие-то заочные курсы общего образования в Ростове-на-Дону, но прекратились во время войны. И больше ничего.

Я начинаю с того, что пишу небольшую книгу о заочном образовании страниц на сто. Сейчас же издаю ее в Финансовом издательстве. Она стоит 80 копеек. Она имеет удивительный успех. В три месяца расходится в количестве 100 тысяч экземпляров. Она подготавливает и успех моего финансового факультета.

У меня крохотный штат – мой заместитель профессор Синдеев и управляющий делами – бывший штабс-капитан Будаев. Оба беспартийные и деловые. Но я приглашаю всех лучших специалистов финансового дела в стране – 49 лучших профессоров – благо я их хорошо знаю по работе в моем Финансово-экономическом бюро в Наркомфине. Курсы делятся на четыре отделения, которые я поручаю лучшим специалистам для разработки учебной программы. Приглашенные профессора будут писать свои курсы, которые будут печататься и рассылаться ученикам. От учеников будут получать их письменные работы. Профессора будут их исправлять и возвращать ученикам со своими замечаниями. Время учения – два-три года (в зависимости от отделения). Учение закончится экзаменационной сессией. Выдержавшие экзамены получают дипломы, дающие право на работу в органах Наркомфина на должностях финансовых и банковских инспекторов,

контролеров и т. д. Учащиеся платят три рубля в месяц (за все – и лекции, и профессорскую работу).

Как только курсы открываются и объявляют набор, в первый же месяц поступает семь тысяч учеников. Я принимаю всех. Из полученных двадцати одной тысячи рублей я немедленно возвращаю Брюханову его десять тысяч. Я очень широко плачу профессорам – они чрезвычайно довольны и с удовольствием берутся за работу; кстати, все это люди знающие – среди них нет ни одного коммуниста. Чрезвычайно доволен и нарком: его проблема кадров будет наконец разрешена.

В этот момент ГПУ арестовывает моего заведующего кредитным отделением курсов Чалхушьяна. Это крупнейший специалист по кредиту, консультант Государственного банка. Нуждаясь в деньгах, он имел неосторожность продать какую-то свою старую картину японскому дипломату, не понимая, какую смертельную опасность это представляет в советских условиях. Ко мне приходит бедная маленькая заплаканная женщина, вся в черном, – его жена. Она просит меня сделать что можно. Что я могу сделать? Принимая во внимание мои отношения с ГПУ и то, что я уже не в ЦК, мое заступничество ему может только повредить. Я иду на большой риск, говоря ей откровенно; она не понимает; она слышала, что я очень большой партийный вельможа. Я ей говорю, что объяснить я ей ничего не могу, но через несколько месяцев она сама все поймет (через несколько месяцев я сбегу за границу). Я беру телефонную трубку, даю ей слуховую, чтобы она слышала разговор, и звоню начальнику Экономического отдела ГПУ Прокофьеву. Я разговариваю так, чтобы это не было заступничеством – это лишь повредило бы бедному Чалхушьяну.

«Товарищ Прокофьев, вы арестовали моего заведующего кредитным отделением курсов Чалхушьяна. В чем дело?» – «В чем дело, товарищ Бажанов, я не могу вам сказать – это секрет следствия ГПУ». – «Но Чалхушьян выполняет сейчас для курсов срочную работу – разрабатывает учебную программу кредитного отделения. Во всяком случае, я должен знать, что это – серьезное дело или нет. Арестовали ли вы его по какому-либо пустяку просто для острастки, и тогда я могу немного подождать, если вы его скоро выпустите.

Или это дело серьезное, и я вынужден его заменить кем-нибудь другим». Прокофьев советует мне его заменить – дело очень серьезное.

Из тюрьмы Чалхушьян не вышел: ГПУ «пришло» ему связь с японцами и экономический шпионаж в их пользу. Его расстреляли.

Курсы идут очень хорошо. Я ими занимаюсь до лета 1927 года. Так как здесь у меня своя рука владыка, я, собираясь уезжать из Москвы, ставлю на них вместо себя директором моего Германа Свердлова. Уже в Париже через два года я имею удовольствие читать в «Известиях» объявление о новом годовом наборе на мои курсы и подпись: директор Герман Свердлов. Значит, они продолжают.

Летом 1927 года я отдыхаю в Крыму. Перед моим отъездом я получаю из ЦК предостережение ГПУ всем ответственным работникам – быть осторожным: по Москве бродит опасный террорист. Я уезжаю в Крым и узнаю, что террорист бросил бомбу на собрании в Ленинградском партийном клубе; десятки убитых и раненых. С этим террористом я потом познакомлюсь в Париже и Берлине. Это очаровательный и чистейший юноша, Ларионов.

В это время (1927 год) начальник Общевоинского союза Кутепов ведет борьбу против большевиков. Ряд жертвенных мальчиков и девушек отправляются в Россию бросать бомбы по примеру старых русских революционеров. Но они не знают силы нового гигантского полицейского аппарата в России. Им будто бы помогает большая и сильная антибольшевистская организация – «Трест». На самом деле «Трест» этот организован самим ГПУ. Все его явки, квартиры, сотрудники – все чекисты. Террористы переходят советскую границу, прямо попадают в лапы ГПУ, и их расстреливают.



Больше того. Помещение Общевоинского союза в Париже, в котором ведет свою антибольшевистскую работу генерал Кутепов, находится в доме, принадлежащем русскому капиталисту, председателю Русского торгово-промышленного союза (объединение крупных торговцев и фабрикантов) Третьякову. И никто не знает, что Третьяков – агент ГПУ, что в стене кабинета Кутепова он установил микрофон и все, что делается у Кутепова, сейчас же точно известно ГПУ. Все детали о террористах, которые поедут в Россию, ГПУ знает задолго до их поездки.

Третьяков будет продолжать работать на ГПУ до 1941 года; он предаст Кутепова, которого похитили большевики, при его помощи чекистский агент генерал Скоблин организует похищение генерала Миллера, преемника Кутепова. Случайно в 1941 году немецкие войска захватили Минск с такой быстротой, что ГПУ не успело ни уничтожить, ни вывезти свои архивы; разбирая эти архивы, русский переводчик нашел ссылку Москвы «как сообщил нам наш агент Третьяков из Парижа...» Немцы его расстреляли. Мотивы, по которым он работал почти двадцать лет на ГПУ, остались неясными.

По возвращении из Крыма начинается последняя стадия подготовки моего побега.

Теперь выехать мирно, по командировке, я за границу не могу. Я могу только бежать через какую-нибудь границу. Через какую? Их изучение приводит к довольно безотрадным выводам. Польская граница совершенно закрыта. Ряды колючих проволок, всюду пограничники с собаками, здесь ГПУ постаралось, чтобы сделать границу непроницаемой. Так же невозможно бежать в Румынию: границей является Днестр, под пристальным наблюдением круглые сутки. Гораздо труднее охранять финскую границу, она тянется по лесам и тундрам. Но к ней невозможно приблизиться – какой у меня может быть предлог, чтоб приехать к этой границе? Уже мое присутствие в приграничной зоне будет являться достаточным доказательством, что я хочу покинуть социалистический рай.

Но, изучая карту, я останавливаюсь на Туркмении. Ее населенная полоса тянется узкой лентой между песчаной пустыней и Персией. И столица – Ашхабад – находится всего километрах в двадцати от границы. Не может быть, чтоб там не нашлось возможности легально приблизиться к границе (я еще не подозреваю, что трудности бегства в Персию заключаются совсем в другом, о чем дальше речь). Я решаю бежать в Персию из Туркмении. Но сначала надо попасть в Туркмению, которая подчинена Среднеазиатскому бюро ЦК партии.

От финансового факультета я отделяюсь легко – здесь я хозяин – и передаю его в руки Германа Свердлова.

Затем я делаю экскурсию в орграспред ЦК, предлагая послать меня в распоряжение Среднеазиатского бюро ЦК. Хотя я знаю в ЦК всех и вся, все входы и выходы, я наталкиваюсь на крупное затруднение: по номенклатуре ответственных работников я принадлежу к столь высокой категории, что орграспред мною не имеет права распоряжаться: для этого нужно решение по крайней мере оргбюро. Мне любезно предлагают внести постановление о моей посылке на утверждение оргбюро. Это меня не устраивает. Я объясняю, что совсем не хочу подвергаться риску, что меня схватит кто-либо из членов оргбюро, чтобы назначить на какую-то ответственную работу, в чем как раз нужда и куда, по мнению оргбюро, я вполне подойду. Я советую сделать так: позвонить Молотову и спросить, нет ли у него возражений против моей работы в Средней Азии. Если нет, орграспред может меня послать таким образом с согласия секретаря ЦК и председателя оргбюро, а если есть, я пойду сам к Молотову, чтобы это уладить. Так и делается. К счастью, Молотову уже надоело, что я упираюсь и не хочу работать в ЦК, и он отвечает: «Ну что ж, если он так уж очень хочет, пусть едет». И я получаю путевку «в распоряжение Среднеазиатского бюро ЦК на ответственную работу».

С этой путевкой я приезжаю в Ташкент и являюсь к секретарю Среднеазиатского бюро ЦК Зеленскому. Это тот самый Зеленский, который был первым секретарем Московского комитета и проморгал оппозицию осенью 1923 года. Тогда тройка

решила, что он слишком слаб для московской организации, самой важной в стране, и отправила его хозяйничать в Среднюю Азию.

Зеленский удивлен моему приезду (и несколько озабочен: что это? глаз Сталина?) Я ему объясняю, что бросил центральную работу, потому что чувствовал себя совершенно оторванным от жизни, и решил поехать на низовую работу. «Вот и прекрасно, – говорит Зеленский. – Мы вас назначим моим помощником и заведующим Секретным отделом СредАзБюро ЦК; вы нам это организуете – я слышал о вашей организации аппарата Политбюро» (то есть он хочет, чтоб я ему наладил его канцелярию и был его секретарем). Я ему говорю: «Товарищ Зеленский, будем говорить откровенно: я не для того оставил работу помощника Сталина и секретаря Политбюро, чтобы быть вашим секретарем. Я хочу на совсем низовую работу, подальше, в глухие места. Вот в Туркмении секретарем ЦК Ибрагимов; я его знаю по аппарату ЦК – пошлите меня в его распоряжение». Зеленский быстро соглашается, и я получаю новую путевку – «в распоряжение ЦК Туркмении».

Из Ташкента я не еду в Ашхабад, а возвращаюсь в Москву проститься с друзьями и с Москвой – вернусь ли я когда-нибудь на родину?

Мне нужно не только проститься с друзьями. Надо обдумать, как сделать так, чтобы для них риск от моего побега был наименьший. После моего бегства ГПУ бросится искать, принадлежал ли я к какой-либо антикоммунистической организации и кто со мной связан. Риск для друзей очень велик. Но у меня два сорта друзей: одни, с которыми я часто вижусь, и совершенно открыто, и афиширую хорошие отношения. Это Герман Свердлов, Мунька Зоркий, еще двое-трое. Они не имеют ни малейшего понятия, что я – враг коммунизма, и ГПУ прекрасно поймет, что если бы я с ними был как-то иначе политически связан, имел бы общие идеи, никогда бы не был с ними дружен открыто. Они ничем не рискуют. Но есть другие, которые пережили ту же эволюцию, что и я. Здесь я был все последнее время осторожен, встречался с ними в служебных кабинетах будто бы только по служебным делам. Здесь ГПУ будет рыться.

Друзья мне подадут такую идею: когда ты будешь за границей и будешь писать о Москве и коммунизме, сделай вид, что ты стал антикоммунистом не в Политбюро, а за два года раньше – прежде, чем пришел работать в ЦК. Это ничего не изменит в ценности твоего свидетельства – не все ли равно, стал ли ты антибольшевиком на два года раньше или позже, важна правильность того, что ты будешь писать. А ГПУ и Ягода сейчас же за твое признание ухватятся: «Ага, вот наш чекистский нюх, мы сразу же определили, что он – контрреволюционер». Но тогда в поисках какой-то твоей организации они пойдут по ложному следу. Если ты был антикоммунист раньше, то, очевидно, приехав в Москву и поступив в ЦК, ты от всех должен был чрезвычайно тщательно скрывать свои взгляды, и каждый из нас мог быть так же введен в заблуждение о тебе, как и Политбюро; а искать твои связи и твою организацию надо раньше, до Москвы, то есть в твоём родном городе.

Конечно, идея не плоха. В Могилеве ГПУ ничего не найдет, сколько бы ни искало: там никакой организации не было. Но оно может принять за нее моих друзей по последним классам гимназии: Митька Аничков ушел в Белую армию; Юлий Сырбул, молдаванин с той стороны Днестра, сейчас в Бессарабии, то есть в Румынии, и известен как ярый антикоммунист. Они ничем не рискуют, и поиски ГПУ пойдут по ложному следу. Я соглашаюсь и даю такое обещание (я его должен буду выполнить, но потом буду очень жалеть, что я его дал – об этом я расскажу дальше).

Здесь я должен сделать отступление и познакомить читателей с товарищем Блюмкиным, тем самым Блюмкиным, который во время восстания левых эсеров в 1918 году убил германского посла в Москве графа Мирбаха, чтобы сорвать Брест-Литовский мир.

Еще в 1925 году я часто встречался с Мунькой Зорким. Это была его комсомольская кличка; настоящее имя Эммануил Лифшиц. Он заведовал Отделом

печати ЦК комсомола. Это был умный, забавный и остроумный мальчишка. У него была одна слабость – он панически боялся собак. Когда мы шли с ним вместе по улице, а навстречу шел безобидный пес, Мунька брал меня за локоть и говорил: «Послушай, Бажанов, давай лучше перейдем на другую сторону улицы; ты знаешь, я – еврей и не люблю, когда меня кусают собаки».

Мы шли с ним по Арбату. Поравнялись со старинным роскошным буржуазным домом. «Здесь, – говорит Мунька, – я тебя оставлю. В этом доме третий этаж – квартира, забронированная за ГПУ, и живет в ней Яков Блюмкин, о котором ты, конечно, слышал. Я с ним созвонился, и он меня ждет. А впрочем, знаешь, Бажанов, идем вместе. Не пожалеешь. Блюмкин – редкий дурак, особой, чистой воды. Когда мы придем, он, ожидая меня, будет сидеть в шелковом красном халате, курить восточную трубку в аршин длины и перед ним будет раскрыт том сочинений Ленина (кстати, я нарочно посмотрел: он всегда раскрыт на той же странице). Пойдем, пойдем». Я пошел. Все было, как предвидел Зоркий – и халат, и трубка, и том Ленина. Блюмкин был существо чванное и самодовольное. Он был убежден, что он – исторический персонаж. Мы с Зорким потешались над его чванством: «Яков Григорьевич, мы были в музее истории революции; там вам и убийству Мирбаха посвящена целая стена». – «А, очень приятно. И что на стене?» – «Да всякие газетные вырезки, фотографии, документы, цитаты; а вверху через всю стену цитата из Ленина: „Нам нужны не истерические выходки мелкобуржуазных дегенератов, а мощная поступь железных батальонов пролетариата“». Конечно, мы это выдумали; Блюмкин был очень огорчен, но пойти проверить нашу выдумку в музей революции не пошел.

Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказывал мне, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин: когда Блюмкин и сопровождавшие его были в кабинете Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увез. Матросик очень скоро погиб где-то на фронтах Гражданской войны, а Блюмкин был объявлен большевиками вне закона. Но очень скоро он перешел на сторону большевиков, предав организацию левых эсеров, был принят в партию и в чека, и прославился участием в жестоком подавлении грузинского восстания. Дальше его чекистская карьера привела его в Монголию, где во главе чека он так злоупотреблял расстрелами, что даже ГПУ нашло нужным его отозвать. Шелковый халат и трубка были оттуда – воспоминание о Монголии. ГПУ не знало, куда его девать, и он был в резерве.

Когда он показал мне свою квартиру из четырех огромных комнат, я сказал: «И вы здесь живете один?» – «Нет, со мной живет мой двоюродный брат Максимов – он занимается моим хозяйством». Максимов был мне представлен. Он был одессит, как и Блюмкин. Максимов – была его партийная кличка, которой он в сущности не имел права пользоваться, так как в Одессе он был членом партии и заведовал хозяйством кавалерийского полка, но проворовался, продавая казенный овес в свою пользу, и был исключен из партии и выгнан из армии. Настоящая его фамилия была Биргер. Он жил у кузена, и Блюмкин пытался его устроить на службу, но это было нелегко: человека, исключенного из партии за кражу казенного имущества, никто не жаждал принимать.

«И у вас две комнаты совершенно пустые; а Герман Свердлов, брат покойного Якова, который живет в тесной квартире у брата Вениамина в доме ВСНХ, не имеет даже своей комнаты. Поселить бы его здесь у вас». – «Брат Якова Свердлова? Да я буду счастлив. Пусть переезжает хоть сегодня».

Так Герман Свердлов поселился у Блюмкина.

В первый же раз, когда Блюмкин пошел в ГПУ, он похвастался знакомством со мной. Ягода взвился: «Яков Григорьевич, вот работа для вас. Бажанов ненавидит ГПУ, мы подозреваем, что он не наш, выведите его на чистую воду. Это – задание чрезвычайной важности». Блюмкин взялся за это, но месяца через два-три заявил

Ягоде, что он не имеет никакой возможности со мной встречаться чаще и ближе познакомиться и просит его от этой работы освободить. Но он подал другую идею: его двоюродный брат, живя у него на квартире вместе с Германом Свердловым и видя его все время, может от Свердлова узнавать все о Бажанове – Свердлов и Бажанов видятся постоянно. Идея была одобрена, Максимов был вызван к начальнику Административного управления ГПУ Флексеру и нашел, наконец, нужную работу: шпионить за мной и поставлять рапорты в ГПУ. Чем он и кормился до лета 1927 года.

По-прежнему не зная, куда девать Блюмкина, ГПУ пробовало его приставить к Троцкому. Троцкий в 1925 году объезжал заводы с комиссией по обследованию качества продукции. Блюмкин был всажен в эту комиссию. Как ни наивен был Троцкий, но функции Блюмкина в комиссии для него были совершенно ясны. В первый же раз, когда подкомиссия во главе с Блюмкиным обследовала какой-то завод и на заседании комиссии под председательством Троцкого Блюмкин хотел делать доклад, Троцкий перебил его: «Товарищ Блюмкис был там оком партии по линии бдительности; не сомневаемся, что он свою работу выполнил. Заслушаем сообщения специалистов, бывших в подкомиссии». Блюмкин надулся, как индюк: «Во-первых, не Блюмкис, а Блюмкин; вам бы следовало лучше знать историю партии, товарищ Троцкий; во-вторых...» Троцкий стукнул кулаком по столу: «Я вам слова не давал!» Из комиссии Блюмкин вышел ярым врагом Троцкого. Чтобы использовать его ненависть к оппозиции, ГПУ пробовало его еще приставить к Каменеву – уже в 1926-м, когда Каменева назначили Наркомторгом, Блюмкина определили консультантом Наркомторга; секретари Каменева веселились до упаду по поводу работы «консультанта». Секретари Каменева мне показывали торжественное обращение недовольного Блюмкина к Каменеву. Оно начиналось так: «Товарищ Каменев! Я вас спрашиваю: где я, что я и кто я такой?» Пришлось отозвать его и оттуда.

Но настоящее призвание Блюмкин все же нашел, когда его отправили резидентом ГПУ (шпионаж и диверсии) в странах Ближнего Востока. Мы с ним еще встретимся.

Когда осенью 1927 года я прощался с Москвой, Максимов был очень грустен. С моим отъездом он терял легкую и хорошо оплачиваемую работу. Я решил созорничать. Я знал, что он поставляет обо мне рапорты в ГПУ, но он не знал, что я это знаю. Наученный разнообразным советским опытом, я считал, что если враг хочет иметь о вас информацию, то удобнее всего, если вы ее поставляете сами – вы выбираете то, что надо. Так я и сделал. Говорил о себе ничего не подозревавшему Герману Свердлову именно то, что могло быть без всякого вреда для меня передано в ГПУ, и оно туда через Максимова шло.

Встретив Максимова у Германа перед отъездом в Ашхабад, я спросил его: «А как у вас с работой?» – «Да по-прежнему плохо». – «Хотите, я вас возьму с собой, в Среднюю Азию?» О да, он бы с удовольствием, разрешите, он завтра даст мне окончательный ответ – надо прервать какие-то начатые переговоры. Я очень хорошо понимаю, что он побежит в ГПУ спрашивать, что делать. Ему говорят – превосходно, конечно, поезжай, продолжай давать рапорты. И в Ашхабад я приехал с Максимовым.

В Ашхабаде я явился к первому секретарю ЦК Туркмении Ибрагимову. Я его знал по ЦК. Когда я был секретарем Политбюро, он был ответственным инструктором ЦК и рассматривал меня как большое начальство. Тем более он был удивлен моему приезду. Первая идея – я приехал на его место. Я его разубедил, объяснил, что я хочу на маленькую низовую работу. «Вот назначь меня для начала заведующим секретным отделом ЦК (это то, от чего я отказался у Зеленского). Я буду у тебя в подчинении и будет ясно, что у меня нет никаких претензий на твое место». Это и было сделано.

Через несколько дней я заявил, что я страстный охотник, но на крупную дичь (должен сказать, что охоту я ненавижу). Позвонил Дорофееву, начальнику 46-го Пограничного отряда войск ГПУ, который нес там охрану границы, и сказал ему,

чтоб он мне прислал два карабина и пропуска на право охоты в пограничной полосе на меня и Максимова. Что я сейчас же и получил.

В течение двух-трех месяцев я изучал обстановку, а Максимов, которого я устроил на небольшую хозяйственную работу, исправно посылал обо мне донесения в Москву.

Ибрагимов был хороший человек, и у меня с ним установились прекрасные отношения. Я заведовал секретной канцелярией ЦК, секретарствовал на заседаниях бюро и пленумов Туркменского ЦК партии и был опять, хотя и в небольшом местном масштабе, в центре всех секретов. Часто, разговаривая с Ибрагимовым, я расспрашивал его о Персии. Меня смущает, что железная дорога – наша главная связь со страной – проходит все время по самой персидской границе. В случае войны персам ничего не стоит перерезать нашу главную коммуникационную линию. Ибрагимов смеется. А наш 46-й пограничный отряд на что? Я возражаю – я говорю ведь об армии. Ибрагимов говорит: «Ты помнишь историю? Когда век тому назад произошел мятеж в Тегеране и был убит наш русский посол Грибоедов, что сделал царь? Послал из России сотню казаков, и она навела в Персии порядок; не думай, что сейчас намного иначе».

В другой раз я говорю: здесь у вас граница совсем рядом; наверное, часты случаи бегства через границу. Наоборот, говорит Ибрагимов, чрезвычайно редки. Конечно, граница очень велика, и линию границы охранять было бы очень трудно. Но чтобы приблизиться к границе, надо добраться до какого-то населенного места, а именно за ними сосредоточено постоянное наблюдение. Никакой новый человек не может быть незамеченным.

Хорошо, говорю я, но это не относится к партийцам. Ответственный работник без труда может приблизиться к границе и перейти ее. У вас бывали такие случаи? Два, говорит Ибрагимов, они не представляют никаких затруднений. Ответственного партийца, бежавшего в Персию, мы хватаем прямо в Персии и вывозим его обратно. – «А персидские власти?» – «А персидские власти закрывают глаза, как будто ничего не произошло».

Это выглядит довольно неутешительно. Значит, перейти границу здесь легко. Трудности начинаются дальше. Что ж будем рисковать.

Я делаю разведку границы. В 20-30 километрах от Ашхабада, на самой границе с Персией и уже в горах, находится Фирюза, дом отдыха ЦК. Мы, несколько сотрудников ЦК, охотников, делаем в воскресенье туда охотничью экскурсию. Я прохожу очень далеко по горному ущелью – кто его знает, может быть, я уже в Персии. Убеждаюсь, что место для перехода границы совершенно не подходит: перейдешь, а откуда-то из ущелья покажется спрятанная там пограничная застава, которая скажет: «Товарищ, это уже Персия, что ты здесь делаешь? Поворачивай обратно!»

Я выбираю по карте Лютфабад, в сорока-пятидесяти километрах от Ашхабада; это железнодорожная станция, прямо против нее в двух километрах через чистое поле – персидская деревня того же имени. Я решаю перейти границу 1 января (1928 года). Если я сейчас жив и пишу эти строки, этим я обязан решению перейти границу именно 1 января.

## Глава 16

### Бегство. Персия. Индия

*Переход границы. Персия. Первое покушение. Москва требует выдачи. Чека за работой – Агабеков. Хоштария и Теймурташ. Через Персию. Ауздаб. Индия. Макдональд и «Лена Гольдфильдс». Я еду во Францию*

Вечером 31 декабря мы с Максимовым отправляемся на охоту. Максимов, собственно, предпочел бы остаться и встретить Новый год в какой-либо веселой компании, но он боится, что его начальство (ГПУ) будет очень недоволено, что он не следует за мной по пятам. Мы приезжаем по железной дороге на станцию Лютфабад и сразу же являемся к начальнику пограничной заставы. Показываю документы, пропуска на право охоты в пограничной полосе. Начальник заставы приглашает меня принять участие в их товарищеской встрече Нового года. Это приглашение из вежливости. Я отвечаю, что, во-первых, я приехал на охоту, предпочитаю выспаться и рано утром отправиться на охоту в свежем виде; во-вторых, они, конечно, хотят выпить в товарищеском кругу; я же ничего не пью и для пьющих компаний совершенно не подхожу. Мы отправляемся спать.

На другой день, 1 января, рано утром, мы выходим и идем прямо на персидскую деревню. Через один километр в чистом поле и прямо на виду пограничной заставы я вижу ветхий столб: это столб пограничный, дальше – Персия. Пограничная застава не подает никаких признаков жизни – она вся мертвецки пьяна. Мой Максимов в топографии мест совершенно не разбирается и не подозревает, что мы одной ногой в Персии. Мы присаживаемся и завтракаем.

Позавтракав, я встаю; у нас по карабину, но патроны еще все у меня. Я говорю: «Аркадий Романович, это пограничный столб и это – Персия. Вы – как хотите, а я – в Персию, и навсегда оставляю социалистический рай – пусть светлое строительство коммунизма продолжается без меня». Максимов потерян: «Я же не могу обратно – меня же расстреляют за то, что я вас упустил». Я предлагаю: «Хотите, я вас возьму и довезу до Европы, но предупреждаю, что с этого момента на вас будет такая же охота, как и на меня». Максимов считает, что у него нет другого выхода – он со мной в Персию.

Мы приходим в деревню и пытаемся найти местные власти. Наконец это нам удается. Власти заявляют, что случай далеко превышает их компетенцию, и отправляют гонца в административный центр, который находится в двадцати километрах. Гонiec возвращается поздно вечером – мы должны ехать в этот центр. Но местные власти решительно отказываются организовать нашу поездку ночью, и нам приходится ночевать в Лютфабаде.

Тем временем информаторы Советов переходят границу и пытаются известить пограничную заставу о нашем бегстве через границу. Но застава вся абсолютно пьяна и до утра 2 января никого известить не удается. А утром 2 января мы уже выехали в центр дистрикта и скоро туда прибыли. Не подлежит никакому сомнению, что если бы это не было 1 января и встреча Нового года, в первую же ночь советский вооруженный отряд перешел бы границу, схватил бы нас и доставил обратно. Этим бы моя жизненная карьера и закончилась.

В центре дистрикта меня ждет новый необыкновенный шанс. Это начальник дистрикта – Пасбан. В отличие от всей остальной местной персидской администрации, трусливой, ленивой, подкупной и ко всему равнодушной, это человек умный, волевой и решительный. Оказывается, он прошел немецкую школу во время мировой войны.

Он должен нас отправить в столицу провинции (Хорасана) – в Мешед. Он мне объясняет, что между нами и Мешедом горы в 3000 метров высотой. Колесная дорога только одна; она идет в обход гор, приближаясь к Ашхабаду, и против

Ашхабада проходит сквозь горы по глубокому ущелью и перевал через город Кучан, и затем идет налево к Мешеду.

«Послать вас по колесной дороге в Мешед значит послать вас на верную смерть: с сегодняшнего дня будет дежурить отряд чекистов с автомобилем, который вас схватит и вывезет в советскую Россию. Единственный ваш шанс – идти напрямик через горы. Здесь нигде дороги нет. Есть тропинки, по которым летом жители иногда идут через горы. Сейчас зима, все занесено глубоким снегом. Но вы должны попробовать. Большевики в горы пойти не рискнут. Я вам дам проводников и горных лошадок. Не питайте никакого доверия к проводникам; питайте полное и неограниченное доверие к горным лошадкам – они найдут дорогу».

Снаряжается караван, мы начинаем подъем в горы.

Странствование через горы, снега, обвалы, провалы и кручи продолжается четыре дня. Двадцать раз мы обязаны жизнью маленьким умным лохматым горным лошадкам, которые карабкаются, как кошки, по невероятным обрывам, вдруг скользят по краю кручи и сразу падают на живот, расставив все четыре лапы во все стороны, и этим удерживаясь от падения вниз по крутому склону. Вконец измученные, мы спускаемся наконец на пятый день в долину Мешед и уже в его предместьях выходим на автомобильную дорогу. Здесь циркулирует грузовик на правах автобуса. Мы попадаем в него вовремя, занимаем задние места, сейчас же за нами в автобус садятся два чекиста, но они вынуждены занять места перед нами. Они, вероятно, полагают, что мы вооружены, и ничего себе не позволяют. Мы доезжаем до Мешед, и автобус довозит нас почему-то до гостиницы. Нам объясняют, что это – единственный отель европейского типа в городе; туземцы останавливаются в караван-сараях. Мы очень устали и мечтаем о хорошей кровати. Перед сном в ресторане отеля пробуем выпить кофе. Когда кофе подан и мой спутник уже готов его пить, я останавливаю его: от кофе идет сильный запах горького миндаля – это запах цианистого калия. От кофе мы отказываемся и поднимаемся в нашу комнату. Директор отеля, армянин Колтухчев, объясняет нам, что свободна только одна комната, в которую он нас и ведет. У нее почему-то нет ни замка, ни задвижки – они «в починке»; я вижу свободные комнаты, но Колтухчев говорит, что они задержаны клиентами. Мы наскоро баррикадируем дверь в нашей незакрывающейся комнате при помощи стульев и с наслаждением растягиваемся на настоящих кроватях.

Сон наш длится недолго. Нас будит сильный стук в дверь. «Полиция». Мы протестуем, но нас доставляют в центральную полицию города («назмие»), объясняя нам, что это для нашей же пользы. Начальник полиции, жесткий и сухой службист, по-русски не говорит. Он нас водворяет в своем кабинете и исчезает. Его помощник, чрезвычайно симпатичный перс, учился в России и хорошо говорит по-русски. От него мы наконец узнаем, в чем дело. Оказывается, с нашим приездом в Мешед началась необычайная суматоха во всех советских организациях. Информаторы полиции, следящие за советчиками, видели, как советский военный агент Пашаев, встретясь с советским агентом Колтухчевым (директором нашей гостиницы), передал ему револьвер и еще что-то (очевидно, яд). Полиция, сообразив, в чем дело, устроила засаду под нашей дверью. Ночью Колтухчев поднимался с револьвером, чтобы нас ухлопать (вслед за чем его обещали сейчас же вывезти в советскую Россию), но под нашей дверью его арестовали, а нас перевезли в полицию.

На другое утро меня принимает губернатор Хорасана. Это старый, хитрый и флегматичный перс. Он смотрит на меня с любопытством, но говорит мало. По-русски он не говорит, и мы объясняемся через переводчика. Я говорю переводчику: «Скажите, пожалуйста, господину губернатору, что Персия, как всякая цивилизованная страна, конечно, предоставляет право убежища политическим эмигрантам...» Вместо того, чтобы переводить, переводчик меня спрашивает: «А кто вам сказал, что Персия – цивилизованная страна?» Я говорю: «Кто сказал, это неважно, а вы переводите так, как я говорю». Он чешет за ухом: «Дело в том, что губернатор может подумать, что вы над ним насмехаетесь». – «А вы все ж таки переводите, как я сказал».

Губернатор, выслушав меня, отвечает мне, что вопрос обо мне он решить не может, что этот вопрос должно решать правительство, что он отправит правительству подробное донесение, а пока будут приняты все меры по моей безопасности, и что мне надо ждать ответа из Тегерана.

Мы окончательно поселяемся в кабинете начальника полиции. Полиция имеет вид средневековой квадратной крепости с одним только входом. Помощник начальника полиции показывает мне на племя диких курдских всадников, расположившихся лагерем на площади перед полицией. Племя это нанято большевиками; задача его – при моем выходе из полиции налететь, зарубить и ускакать. Но полиция это хорошо понимает; и вообще-то я из полиции почти что не выхожу, а если выхожу, то под сильной охраной.

Переговоры с Тегераном сильно затягиваются. Мой помощник начальника полиции держит меня в курсе дела. Затягиваются, собственно, переговоры между Тегераном и Москвой, которая требует моей выдачи.

Все последние годы между Персией и СССР были всегда три-четыре спорных вопроса, по которым ни одна сторона не уступала, настаивая на своем праве. Это были вопросы о рыбных промыслах в пограничной зоне на Каспийском море (много икры), о нефтяных промыслах, и в особенности о линии границы, которая определяла, кому принадлежит очень богатый нефтью пограничный район. За мою выдачу Сталин соглашается уступить персам по всем этим спорным вопросам, и, кажется, персидское правительство склоняется к тому, чтобы меня выдать. Мой милый перс сообщает мне об этом с глубоким прискорбием.

В то же время параллельно переговорам правительства идет собственная работа ГПУ. 2 января наконец проснувшаяся застава доложила Ашхабаду о моем бегстве. Заработал телефон с Москвой, Ягода, видимо, проявил необычайную энергию, Сталин приказал меня убить или доставить в Россию во что бы то ни стало. В Персию был послан отряд, который ждал меня по дороге в Кучан, но так и не дождался. На аэроплане из Тегерана в Мешед прилетает резидент ГПУ в Персии Агабеков, и ему сразу же переводятся большие средства на организацию моего убийства. Агабеков энергично берется за работу. Подготовка идет по разным линиям, и успешно (обо всем этом в 1931 году в своей книге расскажет сам Агабеков). И когда все готово, вдруг Агабеков получает приказ из Москвы – все остановить. Агабеков не понимает почему, когда все подготовлено. Он очень обескуражен. Он не знает, что Москва получила заверения о моей выдаче, переданные по линии, о которой он не догадывается.

Интересна дальнейшая история Агабекова. В 1930 году он переводится резидентом ГПУ в Турцию, на место Блюмкина. В это время он сильно подозревает, что если его отзовут в Москву, то это для того, чтобы его расстрелять. К тому же он переживает роман своей жизни: он влюбился в молоденькую чистейшую англичаночку, которой он признается, что он чекист и советский шпион. Англичаночка приходит в ужас и из Турции возвращается в Англию. Агабеков покидает свой чекистский пост и по подложным документам следует за нею. Родители ее сообщают обо всем этом властям, и Агабекову приходится уехать во Францию. Здесь становится очевидным, что он с Советами порвал. По требованию Советов его из Франции высылают (основание есть – он приехал во Францию по подложным документам), и ему в конце концов дает убежище Бельгия. Он пишет книгу «Чека за работой», которая выходит на русском и на французском языках. В ней одна глава – страниц десять-пятнадцать – посвящена подробному рассказу, как он организовывал мое убийство. В 1932 году я имею возможность его встретить в Париже. У него вид и психология типичного чекиста.

Он живет в Бельгии, и начальник бельгийской полиции барон Фергюльст рассказывает мне, чем его покорила Агабеков. Полиция, конечно, обращается к нему, как к специалисту по вопросам советского шпионажа. Как-то в результате какого-то ловко организованного Советами инцидента бельгийская дипломатическая почта попадает на час в руки Советов. Но бельгийские власти успокаиваются – все конверты дипломатической почты возвращаются в целости и



сохранности, прошитые и запечатанные. «А ГПУ их все-таки прочло», – говорит Агабеков. Фергюльст отвечает, что это невозможно. Агабеков предлагает: возьмите какой-нибудь документ, положите в конверт, прошейте, запечатайте, дайте мне на полчаса. Так и делается. Агабеков берет пакет, удаляется. Через полчаса он возвращается и возвращает Фергюльсту пакет в целости и сохранности. Но сообщает точно содержание документа.

За Агабековым ведется правильная охота. В 1937 году во время испанской гражданской войны большевики находят слабое место Агабекова (он остался чекистом, ничем не брезгует и не прочь заработать на продаже красным картин, награбленных ими в Испании в церквях или у буржуев); под этим предлогом чекисты через подставных лиц заманивают его на испанскую границу, дают удачно пройти двум выгодным операциям, где он зарабатывает немало денег. Все это для того, чтобы во время третьей он попал на границе в ловушку. Его убивают, и труп его, затаенный на испанскую территорию в горы, находят только через несколько месяцев.

Мой милый помощник начальника полиции приходит совсем расстроенный. Из Тегерана от правительства получен приказ привезти меня в Тегеран, а по сопровождающим этот приказ сведениям переезд не предвещает для меня ничего хорошего; мой милый перс считает, что я буду выдан большевикам.

Пора мне переходить в атаку.

До революции в Персии был Русско-Персидский банк. Как мне говорили в Ашхабаде, будущий шах служил в те времена в вооруженной охране банка. После большевистской революции банк заглох, но с нэпом возобновилась торговля с Персией, и все торговые дела шли через банк, который практически их монополизировал. Во главе банка стоял некий Хоштария, который установил с Советами очень хорошие отношения. Он часто приезжал в Москву, и его принимал директор Государственного банка, которым в то время был Пятаков. В один из своих визитов Хоштария говорит Пятакову: «Хотело ли бы ваше правительство, чтобы вашим агентом стал – конечно, за высокую мзду – один из наиболее видных и влиятельных министров персидского правительства, к тому же личный друг шаха?» Пятаков ответил, что в принципе это очень интересно, но каковы условия? Хоштария назвал денежные условия такого сотрудничества, но кроме того, потребовал, чтобы кроме Пятакова и Политбюро (он, видимо, недурно был осведомлен о подлинном механизме советской власти), это оставалось никому неизвестным. «Даже ГПУ?» – спросил Пятаков. – «В особенности ГПУ. Это основное условие. Если ГПУ будет в курсе дела, рано или поздно какой-то сотрудник ГПУ бежит от вас, откроет секрет, и это будет стоить головы и министру, и мне». Пятаков обещал войти с докладом в Политбюро.

Что он и сделал. Условия были приняты, главное требование было уважено – об этом советском агенте знали только члены Политбюро, Пятаков, через которого шла связь, и, понятно, я как секретарь Политбюро. И министр двора, Теймурташ, личный друг шаха, стал агентом Москвы. Ему заплатили чрезвычайно ловкой комбинацией. Пятаков докладывал: Хоштария на подставное лицо покупает огромное имение: при этом покупатель будто бы не имеет все нужные средства и на остаток ипотекирует имение в Русско-Персидском банке; затем он вовремя не может уплатить ни проценты, ни ссуду. Банк предлагает Теймурташу выкупить имение только за цену ипотеки и в кредит; но и эту небольшую сумму ему не надо вносить, Хоштария продает маленькую часть имения, и этим покрывает долг. Кажется, так операция и была проведена. И Теймурташ стал богатым человеком.

Москва его не тормозила по пустякам. Он держал Москву в известности только по самым важным и основным вопросам политики персидского правительства. Но, видимо, сейчас по вопросу о моей выдаче он был мобилизован и употреблял свое влияние, чтобы убедить правительство, что надо пользоваться случаем – цена, которую за меня предлагала Москва, достаточно высока. После извещения о моей поездке в Тегеран я переждал день, чтобы дожидаться пятницы, – в Персии этот день соответствовал нашему воскресенью – учреждения закрыты, все отдыхают. Я

вызвал начальника полиции. Его в городе нет, он на даче. Тогда помощника начальника полиции. Он прибыл. Я ему сказал, что хочу экстренно видеть губернатора Хорасана. Его тоже нет в городе, он на даче (этого я и хотел). Так как дело очень важное и мне нужно срочно передать властям секрет большой важности, я прошу, чтобы меня сейчас же принял «эмилякшер» (командующий Хорасанским военным округом). Эмилякшер ответил, что он меня ждет.

Я знал, что, будучи персом, он учился еще до войны в русском военном училище и, таким образом, был русским офицером и хорошо говорил по-русски. Кроме того, он был близок к шаху.

Эмилякшеру я сказал, что мне известно (как, вероятно, и ему), что правительство вызывает меня в Тегеран и, кажется, склонно меня выдать большевикам. Я не думаю, что вы этой операции сочувствовали бы. Эмилякшер ответил, что это дело правительства и дело политическое, он же военный, занимается военными делами и к этому никакого отношения не имеет.

Я спросил, может ли он мне оказать одну услугу. «Вероятно, во время поездки меня будет сопровождать вооруженная охрана, которую дадите вы?» Эмилякшер подтвердил – меня будет сопровождать унтер-офицер и четыре солдата. «Можете ли вы выбрать всех пятерых так, чтобы они были неграмотны?» Эмилякшер улыбнулся: в Персии, где 80 % населения было неграмотным, это не представляет никакого труда. Это он мне обещает. «Теперь перейдем к очень важному делу, по которому я хотел вас видеть. Я прошу вас немедленно отправиться в Тегеран, повидать лично шаха и лично, наедине сказать ему, что министр двора Теймурташ – советский агент». – «Это совершенно невозможно. Теймурташ – самый влиятельный член правительства и личный друг шаха». – «Тем не менее, это верно». И я привел ему все доказательства. На другой же день эмилякшер вылетел в Тегеран и сделал доклад шаху. Шах произвел следствие – проверку моих доказательств. Проверка их полностью подтвердила. Теймурташ был арестован и предан военному суду по обвинению в государственной измене. Суд приговорил его к смертной казни.

В один из ближайших дней я и Максимов отбыли на автомобиле с унтером и четырьмя солдатами. Дорога шла на юг. В 40 километрах от Мешеда дорога разветвляется – вправо она идет на Тегеран, прямо на юг она идет к Дуздабу на индийской границе. Я приказал ехать на юг. Унтер был очень удивлен. «Мне сказали, что мы едем в Тегеран». – «Тебе это сказали, чтобы сбить с толку большевиков; но мы едем в Дуздаб». Растерянный унтер не знал, что делать. Я его спрашиваю: «У тебя есть препроводительный пакет?» – «Да». Он вынимает пакет из-за пазухи. – «Вот смотри, пакет адресован властям в Дуздабе. Читай». – «Да я неграмотный». – «Ну, кто-нибудь из солдат пусть прочтет». Все солдаты тоже неграмотны. «Ну, одним словом, я беру это на свою ответственность – мы едем в Дуздаб».

Четыре дня наш бодрый перегруженный додж шел по чему-то, очень отдаленно напоминающему дороге. Как говорят персы: «Бог потерял дорогу, а шофер нашел». Ехали по тропинкам, полям, пересохшим руслам речонков. Но в конце концов все же доехали до Дуздаба. Солдаты с винтовками оказались очень кстати – по дороге какие-то банды ничего не имели против того, чтобы ограбить путешественников в автомобиле, но вид солдат с винтовками сразу их успокаивал.

Губернатор Дуздаба, получив пакет, адресованный, вероятно, тегеранским (или военным) властям, ничего не понял. Я его попросил отпустить солдат, которые тут ни при чем, так как это я дал распоряжение сопровождавшей меня охране ехать в Дуздаб. Он сказал, что должен запросить инструкции у Тегерана, а пока предоставил в наше распоряжение маленький, довольно обособленно стоявший домик. Так как по общему мнению телеграммы в Персии ходили на верблюдах, то я полагал, что переписка губернатора с центром даст мне достаточно времени, чтобы подготовить следующий шаг: перейти еще одну границу – индийскую, и сделать это, конечно, не спрашивая разрешения у персидских властей.

Но, оказалось, что я ошибся, считая, что у меня много времени. На второе утро нашего пребывания в домике, когда мы, сидя на завалинке, обсуждали положение, вдруг подъехал автомобиль, из которого выскочили два субъекта чекистского вида с револьверами. Мы ретировались внутрь домика с рекордной быстротой. Очевидно, чекисты решили, что сейчас же из дома последует стрельба, потому что с такой же быстротой они бросились в автомобиль и спешно отбыли. Если бы они знали, что у нас никакого оружия не было, события бы развернулись, по-видимому, совсем иначе.

Во всяком случае, стало ясно, что надо спешить. В Дуздабе был английский вице-консул, основная деятельность которого заключалась в скупке и беспошлинной отправке в Англию персидских ковров. При этом разведку и информацию наладили ему, по видимости, большевики. Когда я попытался его видеть, он меня принять отказался. Потом (уже в Индии) было выяснено, что его большевистские информаторы доложили ему, что мы – немецкие агенты. Прямо перед нами была огромная, персами отнюдь не охраняемая граница с Белуджистаном. Не охраняемая, так как за ней шла Белуджская пустыня, сухая и выжженная солнцем. Но для англичан по ту сторону границы несло некоторую охрану полудикое белуджское племя.

Надо было быстро найти пути. На рынке Дуздаба я разговорился с индусскими торговцами, спрашивая у них, какой из местных индусских коммерсантов – человек англичан и пользуется их доверием. Мне на такого указали. Я предложил ему отвезти меня в распоряжение сторожевого белуджского племени по ту сторону границы. Что он с наступлением ночи и сделал, отвезя нас на автомобиле к белуджам.

С предводителем племени я быстро сговорился. Он снарядил караван из трех-четырех воинов и нескольких верблюдов, и мы отправились через белуджскую пустыню. Надо в скобках заметить, что когда мы покинули советский рай, у нас не было ни гроша денег, и до сих пор все путешествия шли за счет его величества шаха, а с этого момента – за счет его грациозного величества английского короля. По крайней мере, ни я, ни вождь племени не имели на этот счет никаких сомнений.

Было так жарко, что наш караван мог идти только ночью. При этом езда на верблюде выворачивает вас наизнанку, и добрую часть пути вы предпочитаете делать пешком. Мой спутник Максимов к тому же поссорился с какой-то верблюдицей, грубо пнув ее ногой в морду. Верблюдица ничего не сказала, но в пути старалась занять позицию за его верблюдом и, держась на расстоянии двух-трех метров, чтобы он не мог достать ее ногой, очень метко в него плевала. К его советскому словарю она была равнодушна. Это было наше третье путешествие: первое – через горы на лошадях, второе – через Персию на автомобиле, третье – через Белуджскую пустыню на верблюдах. По странному совпадению каждое из них длилось четыре дня. На пятое утро мы вышли на железнодорожную линию, и я обратился к местному английскому резиденту.

Английский язык мой оставлял желать лучшего, и что и как понял резидент из разговора, не знаю. Но он сейчас же отправил в Симлу длиннейшую телеграмму, и на другой день за мной пришел салон-вагон, в котором вице-король и министры Индии обычно совершали свои служебные поездки. После верблюдов этот способ сообщения был очень приятен. В особенности ванна; и повар почтительно осведомлялся, какое меню нам будет угодно. Уже после того, как я все это написал, случайно узнал, что моему удачному переезду в Индию я был гораздо меньше обязан своей инициативе, чем тому, что у меня был ангел-хранитель, о котором я не подозревал. Это был английский консул в Систане Скрин, который не без труда убедил индийскую администрацию в необходимости моего переезда в Индию.

Зимняя столица Индии была в Дели; но летом там так жарко, что англичане выстроили себе на отрогах Гималаев, на высоте 3000 метров, летнюю столицу – Симлу. Это был чисто административный искусственный город: кроме

правительственных учреждений, там был только обслуживающий персонал и магазины. Иностранцы туда, кажется, вообще не допускались.

Англичане приняли меня хорошо, поселили нас в хорошем отеле. Вид у наших костюмов после наших путешествий был очень непрезентабельный. Англичане нашли элегантный выход из положения. В штабе английской армии Индии шла экзаменационная сессия для офицеров штаба по русскому языку. Я был приглашен в число экзаменаторов и на полученный гонорар не только сделал себе и Максиму новые костюмы, но и имел достаточно денег на мелкие расходы.

Мы прибыли в Индию уже в начале апреля. Началась переписка с Лондоном. Длилась она очень долго. Местные власти понимали, что я представляю россыпи всяких сведений о советской России и что я вовсе не собираюсь делать из них секрета, а, наоборот, считаю своим долгом делиться ими со всякими противниками коммунизма. Но, очевидно, не имея возможности их использовать, они предпочли предоставить эксплуатацию этих россыпей квалифицированным людям метрополии, а пока что оставляли меня в покое.

Свободного времени у меня было много. Я себя чувствовал здесь в безопасности и гулял по окрестностям Симлы. Во время одной из прогулок я пришел в какой-то индусский храм, из которого навстречу мне высыпало оживленное обезьянье племя. К моему удивлению, глава племени подошел ко мне и протянул руку. Пораженный такой вежливостью, я протянул ему свою. Тут все выяснилось. Приходящие туземцы приносят этим священным животным всякие лакомства, и глава племени искал в моей руке, что я ему принес.

Переговоры о продолжении моего пути (в Европу) я вел с начальником «Интеллидженс сервис» Индии сэром Айзенмонджером. Он тоже был для меня источником удивления, на этот раз чрезвычайно приятного. Это был совершенный джентльмен абсолютной порядочности. Между тем его работой была разведка и контрразведка, то, что делало и наше ГПУ. Сопоставляя этого джентльмена с геппеушной сволочью, я поражаюсь разнице.

В ожидании новостей из Лондона я читал, и насколько позволяла жара, играл в теннис.

Сэр Айзенмонджер плохо объяснял мне, почему так долго длится переписка с Лондоном. Во всяком случае, я понимал, что правительство затягивает это дело потому, что английская рабочая партия, чрезвычайно в это время прокоммунистическая, во главе со своим лидером Макдональдом собирается использовать историю со мной, чтобы причинить правительству всякие неприятности, и в частности, неприятные прения в палате, которых правительство хочет избежать и поэтому всячески мое дело затягивает.

Мне очень хотелось вылить в прессе хороший ушат холодной воды на горячий прокоммунизм Макдональда и рабочей партии. И ушат был у меня в руках. Но я вовсе не был уверен, что если я его передам Айзенмонджеру, из этого что-нибудь получится, и я сохранял свое оружие для лучших времен. А оружие заключалось в следующем.

Когда Советы ввели свою жульническую концессионную политику, в числе пойманных на эту удочку оказалась английская компания «Лена Гольдфильдс».

Компании этой до революции принадлежали знаменитые золотые россыпи на Лене. Октябрьская революция компанию этих россыпей лишила. Россыпи не работали, оборудование пришло в упадок и было разрушено. С введением нэпа большевики предложили эти россыпи в концессию. Компания вступила в переговоры. Большевики предложили очень выгодные условия. Компания должна была ввезти все новое оборудование, драги и все прочее, наладить производство и могла на очень выгодных условиях располагать почти всем добытым золотом, уступая лишь часть большевикам по ценам мирового рынка. Правда, в договор большевики ввели такой пункт, что добыча должна превышать определенный

минимум в месяц; если добыча упадет ниже этого минимума, договор расторгается и оборудование переходит в собственность Советам. При этом советские власти без труда объяснили концессионерам, что их главная забота – как можно большая добыча, и они должны оградить себя от того, что концессионер по каким-то своим соображениям захотел бы «заморозить» прииски. Компания признала это логичным, и этот пункт охотно приняла – в ее намерениях отнюдь не было «заморозить» прииски, а, наоборот, она была заинтересована в возможно более высокой добыче.

Было ввезено все дорогое и сложное оборудование, английские инженеры наладили работу, и прииски начали работать полным ходом. Когда Москва решила, что нужный момент наступил, были даны соответствующие директивы в партийном порядке – и «вдруг» рабочие приисков «взбунтовались». На общем собрании они потребовали, чтобы английские капиталисты им увеличили заработную плату, но не на 10 % или на 20 %, а в двадцать раз. Что было совершенно невозможно. Требование это сопровождалось и другими, столь же нелепыми и невыполнимыми. И была объявлена общая забастовка.

Представители компании бросились к местным советским властям. Им любезно разъяснили, что у нас власть рабочая, и рабочие вольны делать то, что считают нужным в своих интересах; в частности, власти никак не могут вмешаться в конфликт рабочих с предпринимателем и советуют решить это дело полюбовным соглашением, переговорами с профсоюзом. Переговоры с профсоюзом, понятно, ничего не дали: по тайной инструкции Москвы профсоюз ни на какие уступки не шел. Представители компании бросились к центральным властям – там им так же любезно ответили то же самое – у нас рабочие свободны и могут бороться за свои интересы так, как находят нужным. Забастовка продолжалась, время шло, добычи не было, и Главконцесском стал напоминать компании, что в силу вышеупомянутого пункта договор будет расторгнут и компания потеряет все, что она ввезла.

Тогда компания «Лена Гольдфильдс» наконец сообразила, что все это – жульническая комбинация и что ее просто-напросто облапошили. Она обратилась в английское правительство. Вопрос обсуждался в английской Палате. Рабочая партия и ее лидер Макдональд были в это время чрезвычайно прокоммунистическими; они ликовали, что есть наконец страна, где рабочие могут поставить алчных капиталистов на колени, а власти страны защищают рабочих. В результате прений английское правительство обратилось к советскому с нотой.

Нота обсуждалась на Политбюро. Ответ, конечно, был в том же жульническом роде, что советское правительство не считает возможным вмешиваться в конфликты профсоюза с предпринимателем – рабочие в Советском Союзе свободны делать то, что хотят. Во время прений берет слово Бухарин и говорит, что он читал в английских газетах отчет о прениях, происходивших в Палате общин. Самое замечательное, говорит Бухарин, что эти кретины из рабочей партии принимают наши аргументы за чистую монету; этот дурак Макдональд произнес горячую филиппику в этом духе, целиком оправдывая нас и обвиняя компанию. Я предлагаю послать товарища Макдональда секретарем укома партии в Кыштым, а в Лондон послать премьером Мишу Томского. Так как разговор переходит в шуточные тона, Каменев, который, председательствует, возвращает прения на серьезную почву и, перебивая Бухарина, говорит ему полусутоливо: «Ну, предложения, пожалуйста, в письменном виде». Лишенный слова Бухарин, не успокаивается, берет лист бумаги и пишет:

«Постановление секретариата ЦК ВКП от такого-то числа.

Назначить т. Макдональда секретарем укома в Кыштым, обеспечив проезд по одному билету с т. Уркартом.

Т. Томского назначить премьером в Лондон, предоставив ему единовременно два крахмальных воротничка».

Лист идет по рукам, Сталин пишет: «За. И. Сталин». Зиновьев «не возражает». Последним «голосует» Каменев и передает лист мне «для оформления». Я храню его в своих бумагах.

Опубликовать бы все это в печати – это был бы хороший удар по этим безмозглым прокоммунистам и по Макдональду. Но это надо сделать толково. Пока не вижу как.

В один прекрасный день, играя в Симле в теннис, я жду со своим случайным партнером, когда кончится предыдущая партия и освободится для нас площадка. Собеседник мой – рыжий ирландец. Он знает, кто я, и задает вопросы о советской России. В пять минут разговора я убеждаюсь, что он человек чрезвычайно умный, с живой мыслью, прекрасно осведомленный о советской России и очень хорошо разбирающийся в советских делах. Я спрашиваю у других партнеров, кто это. Это – О'Хара, министр внутренних дел Индии. Вот это человек для моей бухаринской бумажки. Я говорю ему, что у меня есть к нему важное дело. Назначено свидание на завтра.

Придя к нему, я показываю бумагу, перевожу ее и объясняю, в чем дело. «Вы можете ее передать нашему правительству?» Я говорю, что это как раз мое намерение. «И вы можете нам написать объяснительную записку, объясняя, как все это произошло?» – «Конечно, могу». – «Вы не представляете, какую услугу вы оказываете Англии», – говорит О'Хара. Бумага с объяснениями идет в Лондон.

Но вслед за тем ни в Индии, ни во Франции я не нахожу в печати ни малейшего ее следа. По моей мысли английское правительство тори должно воспользоваться случаем и передать ее в прессу. Это был бы хороший удар по прокоммунистам. Но в прессе она не появляется.

Потом, уже будучи во Франции, я имею случай говорить с помощником начальника «Интеллидженс сервис» (я расскажу об этом дальше, это учреждение обращается ко мне с просьбой произвести экспертизу подложных протоколов Политбюро, которые фабрикует и продает ему ГПУ). Я рассказываю ему о документе, который я передал О'Хара, и говорю, что было бы очень жаль, если бы он погиб где-нибудь в ящике письменного стола. Он говорит, что он ничего не слышал о таком документе, но когда будет в Лондоне, спросит у своего шефа. Через некоторое время, вернувшись из Лондона, он сообщает мне о судьбе документа.

Документ, прибыв в Лондон, попал прямо к премьер-министру. Вместо того чтобы передать его в печать, премьер-министр поступил гораздо остроумнее. Он вызвал начальника «Интеллидженс сервис» и сказал ему: «Будьте добры, попросите аудиенцию у лидера оппозиции, мистера Макдональда. В личной встрече передайте ему лично, в собственные руки, этот документ, который я получил. Я считаю, что так как этот документ касается лично мистера Макдональда, он должен быть передан лично ему». Начальник «Интеллидженс сервис» так и сделал.

Документ произвел на Макдональда чрезвычайное впечатление. Макдональд был человек не такого уж блестящего ума, но человек глубоко порядочный. Он был создателем и бесспорным лидером английской социалистической партии. Он питал полнейшее доверие к русскому большевизму и всячески его поддерживал бескорыстно и убежденно. Теперь он узнал, что о нем думает Москва, и узнал из документа совершенно бесспорного. Он очень сильно пережил этот удар, на некоторое время отошел от дел, уехав в родную Шотландию, но переварив все, стал таким же убежденным антикоммунистом и пытался увлечь за собой партию.

Между тем, это оказалось не так легко. Когда он порвал с русским коммунизмом, только часть партии пошла за ним, и притом меньшая. Но это позволило создание в Англии во время тяжелого экономического кризиса 1931 года правительства национального единения – меньшая часть рабочей партии с Макдональдом плюс консерваторы имели большинство в палате; консерваторы предоставили Макдональду возглавить правительство – это было небывалое правительство тори и

социалистов на базе антикоммунизма. Надо сказать, что затем неустанной борьбой внутри социалистической партии Макдональд постепенно перевел ее большинство с прокоммунистической позиции на антикоммунистическую.

Мое пребывание в Индии все более затягивается. Вдруг неожиданно оказывается, что оно основано на недоразумении. В начале августа я теряю терпение и начинаю подозревать, что английские власти меня водят за нос и истинных причин запоздания мне не сообщают. Я говорю о моих сомнениях Айзенмонджеру. Он, видимо, находит мои подозрения обидными и, чтобы разуверить меня, показывает переписку по моему поводу – от министра по делам Индии вице-королю. Собственно, он не должен ее показывать, переписка секретна. Что в ней секретно, это то, что англичане для индусов поддерживают миф, что вице-король – огромная фигура с огромным авторитетом; на самом деле он – театральная фигура и подчинен министру по делам Индии, который им командует. Но не это меня интересует. Я вижу из переписки, что все время остается в силе вопрос о неприятностях, которые может причинить правительству в палате оппозиция по моему поводу; но по какому поводу? Оказывается, потому, что английское правительство даст мне право убежища в Англии. Но ведь я никогда не выражал ни малейшего намерения ехать в Англию и никогда об этом не просил. «Как, – удивляется Айзенмонджер, – но ведь вы в первом же разговоре выразили желание ехать в Европу». – «Конечно, в Европу, но не в Англию». Говоря о Европе, я не отдал себе отчета, что для англичанина в Индии ехать в Европу это и значит ехать в Англию. И все затруднения связаны именно с этим.

Я уверяю Айзенмонджера, что я не имею ни малейшего желания ехать в Англию. «А куда же вы хотите?» – «Я хочу во Францию». – «Ах, как жаль, что вы это сразу не сказали, вы бы уже давным-давно были во Франции».

Действительно, я еще в Москве решил, что я еду во Францию. По старому довоенному путеводителю по Франции Ненашева я даже выбрал себе отель, в котором я остановлюсь, приехав в Париж. Не зная Парижа и полагая, что в Париже, как и в Москве, интереснее всего жить в самом центре (что, конечно, совершенно неверно), я выбрал себе отель близ Оперы и биржи, отель Вивьен на улице Вивьен.

Дальнейшие события разворачиваются очень быстро. Английское правительство просит у французского предоставить мне право убежища во Франции. Французское соглашается, и французский консул в Калькутте ставит мне постоянную визу на проживание во Франции. И в середине августа 1928 года я с моим Максимовым сажусь в Бомбее на пароход «Пэнд О компани», двадцатитысячетонную «Малойю», и через две недели путешествия высаживаюсь в Марселе. Беру поезд в Париж, приезжаю в Париж и на Лионском вокзале говорю шоферу такси, наслаждаясь моментом, который я предвидел еще в Москве: «Отель Вивьен на улице Вивьен».

У Тэффи есть такое очаровательное место: «В жаркий июльский день 1921 года из метро на площади Конкорд вышла личность в очень потертом пиджачке и издавшей вида шляпе. Личность зажмурилась от жаркого июльского солнца, постучала пальцами по парапету и сказала: „Все это очень хорошо, но... Ке фер? Фер-то ке?“ Так началась история русской эмиграции».

## Глава 17

### Эмиграция. Финляндия. Берлин

*Эмиграция. Статьи и книга. Протоколы Политбюро. Бегство Беседовского. Снова Блюмкин и Максимов. Финляндия. Маннергейм. Русская народная армия. Берлин. Розенберг и Лейббрандт. Последний разговор с Лейббрандтом*

Что делать? Для меня тут никакой проблемы не было. Ведь вся советская система основана на лжи. Надо было рассказать о ней правду, описать то, что Москва тщательно скрывала, в частности, механизм власти и те события, свидетелем которых я был. Прежде всего нужно было все это опубликовать в эмигрантской прессе.

В то время (1928–1929 годы) в Париже выходили две эмигрантские ежедневные газеты – «Возрождение» и «Последние новости». Обе были антибольшевистскими, но сильно отличались политической линией. «Возрождение» была газета правая и непримиримо враждебная коммунизму. «Последние новости» была газета левая. Руководил ею бывший министр иностранных дел революционного временного правительства Милюков, столп русской интеллигенции, человек политически бездарный. Газета из номера в номер уверяла читателей, что в Советском Союзе идет эволюция к нормальному строю, что большевики уже в сущности не большевики, что коммунизм, если еще не совсем прошел, то быстро проходит и т. д. Все это было совершенно неверно и крайне глупо. В этой газете я писать не мог. Я дал серию статей в «Возрождение». А затем написал книгу на французском языке. Но издать ее или печатать мои очерки во французской прессе оказалось совсем не легко. Французские левые сочувствовали «передовому социалистическому опыту» Советской России и старались всячески замалчивать все, что я писал. А так как я описывал события, которых я был свидетелем, со скрупулезной точностью, то Москва, зная, что она ничего в моих писаниях опровергнуть не может, приняла тактику заговора молчания. Ни «Правда», ни «Юманите», никакая другая коммунистическая пресса никогда не упоминали моего имени. Один раз Ромен Роллан по неопытности пробовал полемизировать против одной из моих статей, но получил хороший нагоняй от коммунистического правительства за то, что упомянул мое имя.

Издатели тоже не находились. Только в 1930 году моя книга была издана, и то с большими сокращениями. То, что я писал, мало кому подходило. Левые в это время не желали никаких нападков на «передовую социалистическую страну», правые с поразительной близорукостью и непониманием происходящих в мире событий считали превосходным, что благодаря большевизму и связанной с ним анархией Россия вышла из числа великих держав. Предсказание, что перед коммунизмом огромное будущее, что в мире началась мировая гражданская война и что коммунизм представляет для человечества сейчас главную опасность, рассматривалось, как партизанское преувеличение русского эмигранта (и потом, какой-то молодой русский пытается учить старых, опытных специалистов политики).

Но и меня книга совсем не удовлетворила. Не только из-за сокращений, при которых всякие выводы были вычеркнуты и осталось лишь свидетельство о виденном, но и по причинам, касавшимся меня лично. Я должен был выполнить взятое в Москве обязательство перед друзьями и написать, что я был антикоммунистом перед тем, как начал работать в ЦК партии. При этом я приобретал вид какого-то авантюрного Джеймса Бонда, храбро и хитроумно проникшего во вражескую крепость, а на самом деле это было совсем не так, и о себе и о своей настоящей эволюции я рассказать не мог. Поэтому в конце концов я к книге потерял интерес. Кроме того, о многом я не мог говорить, живые люди, оставшиеся в России, всегда сильно рисковали, если бы я упоминал их имя или на них ссылался.



Сейчас, когда прошло много времени, да и времена изменились, я могу рассказать то, чему я был свидетелем, и как оно на самом деле было.

Через некоторое время по моем прибытии во Францию ко мне обратились представители английского «Интеллидженс сервис», прося произвести экспертизу. Резидент ГПУ в Риге Гайдук (это, конечно, кличка, а не настоящая фамилия) продавал английским властям протоколы Политбюро, и англичане платили за них чрезвычайно дорого, принимая их за настоящие. Гайдук, конечно, никогда в жизни настоящего протокола Политбюро не видел и фабриковал свои в силу собственного разумения. Но англичане знали еще много меньше его, как выглядят подлинные. Я же их столько в своей жизни изготовил, что для меня не представляло ни малейшего труда установить, что англичанам продается фальшивка. Англичане покупать их перестали.

Я жил в это время в Париже в отеле. В какой-то день постучали в дверь. «Войдите». Вошла личность явно чекистского вида и спокойно представилась: «Я – Гайдук, резидент ГПУ в Риге. Я пришел к вам вот по какому делу. Через меня англичане покупают протоколы Политбюро. Вам, конечно, лучше, чем кому бы то ни было, знать, настоящие ли они. Мне известно и мне также вполне ясно, что от вашего заключения будет зависеть, будут ли они продолжать их покупать или нет. Я не скрою от вас, что я на них очень хорошо зарабатываю. Если ваше заключение будет не отрицательное, я предлагаю вам половину платы за протоколы». Я ему отвечаю: «Удивительно, что вы перед тем, как прийти ко мне, не навели в вашем учреждении справки обо мне. Вам бы сказали, что я не продаюсь, и это бы вас избавило от бесцельного визита». – «Видите ли, господин Бажанов, – говорит Гайдук, – вы эмигрант совершенно свежий. Сейчас вы печатаете статьи, имеющие успех, и все идет хорошо. Поверьте моему опыту – через год все это пройдет, и вам придется зарабатывать с трудом горький эмигрантский хлеб. А между тем, согласясь на мое предложение, вы за полгода заработаете столько, что сможете на эти деньги безбедно прожить всю жизнь». Я полюбопытствовал: «Скажите, господин Гайдук, видели ли вы последнюю пьесу Марселя Паньоля „Топаз“?» Нет, пьесами господин Гайдук не интересуется. «Так вот, там в пьесе есть место, когда благородного вида старик приходит к муниципальному советнику в целях шантажа и в результате разговора советник просит его удалиться, но не поворачиваясь спиной, потому что искушение ударить ногой ниже спины будет слишком велико. Вот об этом я вас и прошу – выйти, но пятясь задом, иначе мне очень захочется помочь вам выйти ногой». Гайдук остался невозмутим. «Пожалуйста, если это вам может доставить удовольствие». В дверях он все же остановился и добавил: «Вы очень пожалеете, что не приняли мое предложение».

Он ошибся. Я вообще равнодушен к деньгам и не ценю то, что можно купить на деньги. И эмигрантская бедность меня никогда не стесняла. Наоборот, я очень ценю то, что за деньги купить нельзя: дружбу, любовь, верность слову.

Через некоторое время после моего прибытия в Париж, прошедшего тихо и незаметно, произошла громкая история с бегством из парижского полпредства Беседовского. Полпред СССР во Франции Довгалецкий был в очень долгом отпуску по болезни, и на посту полпреда его заменял советник посольства Беседовский. В один прекрасный день, спасаясь от ареста в посольстве, он бежал, перепрыгнув через стену сада посольства. В течение месяца пресса с восхищением смаковала небывалый случай – посол спасается бегством из собственного посольства, прыгая через стенку. Осталась только для всех неизвестной причина этого бегства – Беседовскому самому рассказывать об этом было невыгодно, а знавшее все английское правительство предпочло промолчать.

Около посольства СССР в Англии и Франции вращался крупный авантюрист Боговут-Коломиец, устраивая Советам всякие коммерческие, банковские и прочие дела. Размах у него был большой. В это время развертывался мировой кризис в форме экономической катастрофы. Боговуту пришла в голову идея: предложить английскому правительству дать Советам колоссальный заем. Советам в это время начинали свои пятилетние планы индустриализации, но были сильно стеснены отсутствием средств для закупки нужного заграничного оборудования. Боговут

хотел, чтобы англичане давали Советам в течение ряда лет нужные для индустриализации машины и материалы в форме долгосрочного займа; при этом английская тяжелая промышленность имела бы работу и выходила из кризиса; Советы же, со своей стороны, должны были обязаться прекратить революционную работу в английских колониях, и в особенности, Индии. Но Боговут никакого призвания к филантропии не чувствовал и хотел устроить этот заем так, чтобы все шло через него и чтоб он получил один комиссионный процент, что, принимая во внимание огромную сумму займа, делало бы его большим миллионером до конца его дней. Но сам он провести эту комбинацию не мог и уговорил Беседовского принимать в ней участие.

Сценарий был установлен такой. Боговут, у которого всюду были свои входы, дает знать английскому правительству, что Москва хотела бы получить такой заем, но не хочет рисковать неудачными переговорами и поручает даже не полпреду в Англии, а послу в Париже Беседовскому в совершенном секрете обсудить и заключить договор с английским правительством. И только после этого дело перейдет на официальную и гласную почву.

Английское правительство чрезвычайно заинтересовалось и отправило в Париж для тайных переговоров с Беседовским целую делегацию, в которую входили два министра, и в том числе сэр Самюэль Хор. Делегация с Беседовским все вопросы займа обсудила. Беседовский предупредил ее, что по инструкциям Москвы до самого окончательного заключения договора все должно быть в совершенном секрете: даже на обращение Лондона к Москве последняя ответит, что никаких предложений она не делает, и переговоры оборвет. Делегация вернулась в Лондон с радужными и оптимистическими настроениями. Но Самюэль Хор занял позицию резко отрицательную – все это блеф, и за этим нет ничего серьезного. «Я сам еврей, – говорил Хор, – и хорошо знаю моих единоверцев; этот тип, представленный Беседовским, тип несерьезный; не верьте ни одному его слову. Предлагаю запросить Москву, чтобы все проверить в самом официальном порядке».

В конце концов кабинет министров с ним согласился, и английскому послу в Москве было поручено обратиться к Чичерину за подтверждением. Чичерин, конечно, ответил, что ему ни о переговорах, ни о займе ничего не известно, и он сейчас же запросит высшие инстанции (то есть Политбюро). На Политбюро он пришел с горькой жалобой – вы меня ставите в дурацкое положение: вы ведете переговоры с английским правительством и даже не считаете нужным меня, министра иностранных дел, об этом известить. Политбюро его успокоило, ни о каких переговорах никто и не думал. Стало ясно, что Беседовский проводит какую-то авантюрную комбинацию. Чичерин вызвал его в Москву. Так как англичане больше не проявляли никаких признаков жизни, Беседовский сообразил, что дело лопнуло, и под предлогом болезни в Москву ехать отказался. Через некоторое время Наркоминдел сделал вид, что созывает совещание послов в странах Западной Европы, специально чтобы заполучить Беседовского. Он опять отказался приехать. Тогда Политбюро потеряло терпение и поручило члену ЦКК Ройзенману привезти Беседовского живого или мертвого. Ройзенману был дан соответствующий мандат. Ройзенман приехал в Париж, вошел в посольство, показал свой мандат чекистам, которые под видом швейцаров дежурят у входа, и сказал: «С этого момента я здесь хозяин, и вы должны выполнять только мои распоряжения. В частности, без моего разрешения никто не должен выходить из посольства». Чекисты спросили: «Даже товарищ посол?» – «В особенности товарищ посол». Затем Ройзенман, поставив обо всем в известность первого секретаря, занял кабинет посла и вызвал к себе Беседовского. На Беседовского он наорал и сказал, что он будет сейчас же вывезен в Москву, если нужно – силой. Поняв, что дело плохо, Беседовский бросился к выходу. Чекисты выход заградили и пригрозили, что будут стрелять, если он попытает выход форсировать. Беседовский вернулся и вспомнил, что видел в саду небольшую лестничку у стены, оставленную садовником. При ее помощи он взобрался на стену и спрыгнул по другую сторону.

После чего он явился к комиссару полиции квартала и потребовал, чтобы полиция

освободила его жену и сына, оставшихся в посольстве. Комиссар позвонил в министерство иностранных дел. Генеральный секретарь министерства сказал, что посольство экстерриториально, но требованию господина посла полиция должна подчиниться и в посольство может быть введена. Жена и сын были освобождены. Беседовский просил права убежища, и полиция его тщательно спрятала. Через несколько дней почтальон принес повестку – Беседовский вызывается в Москву на заседание суда по обвинению в измене; ему хотели просто показать, что от ГПУ не спрячешься, и оно знает тайное место, где он скрывается.

По делу Беседовского пресса подняла слишком большой шум, и от покушений на него ГПУ воздержалось, но старалось причинить ему всевозможные неприятности.

После бегства Беседовского из полпредства и до войны я с ним время от времени встречался, главным образом по соображениям безопасности – он был в эти годы, как и я, под угрозой ГПУ, и мы обменивались информацией об опасностях, которые нам могли угрожать. Он занимался журнализмом, в то время не фабриковал фальшивок, но то, что он писал, было легковесно и полно выдумок. При встречах со мной он меня расспрашивал о Сталине, его секретариате, членах Политбюро, аппарате ЦК. Я никогда не делал секрета из моих знаний по этим вопросам и ему отвечал. После войны он все эти сведения использовал с надлежащими извращениями.

После войны я его снова изредка встречал. Я в это время от политики и прессы совершенно отошел, занимался техникой. Беседовский говорил, что занимается журнализмом. В это время появился ряд фальшивок: «Записки капитана Крылова», «С вами говорят советские маршалы», «Мемуары генерала Власова» – все это будто бы написано каким-то Крыловым, Калиновым, которые на самом деле никогда не существовали. Этой третьесортной и подозрительной литературой я не интересовался, ничего этого не читал и, не знал, кто ее изготавливает. Но в 1950 году появилась книга Дельбара «Настоящий Сталин». Дельбара я не знал, но вспомнил, что Дельбар сотрудничал с Беседовским, заинтересовался и ознакомился с книгой. Она была полна лжи и выдумок. Для меня сейчас же стало ясно, что это творчество Беседовского. В частности, то, что он у меня в свое время выпытал о Сталине и партийной верхушке, было здесь, но совершенно извращенное и полное фантазий, и представляло издевательство над читателями. К тому же в книге много раз говорилось, что автор знает ту или иную деталь (обычно выдуманную и ложную) от бывшего члена секретариата Сталина. Это набрасывало тень на меня – за границей не было другого бывшего секретаря Сталина. Специалисты по советским делам, читая книгу, могли подумать, что это я снабдил Беседовского его материалами.

Я потребовал у Беседовского объяснений. Он не отрицал, что это он все написал, и согласился с тем, что он издевается над читателями. На мою угрозу разоблачить в прессе его выдумки он ответил, что книга написана Дельбаром, что он, Беседовский, здесь формально ни при чем и, атакуя его, я рискую быть привлеченным к суду за необоснованные обвинения.

Я предложил ему больше никогда мне не показываться на глаза и больше его никогда не видел.

Около 1930 года в ГПУ произошли большие персональные перемены. В частности, место заведующего иностранным отделом Трилиссера занял Мессинг. В связи с этим резко изменился и состав персонала, и характер работы заграничной резидентуры ГПУ. Трилиссер был фанатичный коммунист, подбирал своих резидентов тоже из фанатичных коммунистов. Это были опасные кадры, не останавливавшиеся ни перед чем. Такие дела, как взрыв собора в Софии (когда там присутствовал болгарский царь и все правительство) или похищение генерала Кутепова в Париже, были их обычной практикой. Но к 1930 году эти кадры были разогнаны: многие из них сочувствовали Троцкому и оппозиции, им не доверяли. С Мессингом пришли новые кадры, спокойные чиновники, которые, конечно, старались, но главным образом делали вид, что очень стараются, и совсем не были склонны идти ни на какой риск; и если предприятие было рискованное, то всегда

находились объективные причины, по которым никогда ничего не выходило. Если в 1929 году еще было сделано на меня во Франции покушение (и то под видом автомобильного несчастного случая), то 1930 год заканчивает самую опасную для меня полосу. Правда, в конце 1929 года назначенный в Турцию резидентом ГПУ Блюмкин приезжает еще в Париж, чтобы организовать на меня покушение. ГПУ, поручая дело ему, исходило, во-первых, из того, что он меня лично знал, а во-вторых, из того, что его двоюродный брат Максимов, которого я привез в Париж, со мной встречался. Блюмкин нашел Максимова. Максимов, приехав во Францию, должен был начать работать, как все, и больше года вел себя прилично. Блюмкин уверил его, что ГПУ его давно забыло, но для ГПУ чрезвычайно важно, осталась ли у Бажанова в Москве организация и с кем он там связан; и что если Максимов вернется на работу в ГПУ, будет следить за Бажановым и поможет выяснить его связи, а если выйдет, и организовать на Бажанова покушение, то его простят, а финансовые его дела устроятся на совсем иной базе. Максимов согласился и снова начал писать обо мне доклады. Но попытку организовать на меня покушение он сделал через год такую, чтобы ничем не рисковать; ничего из этого не вышло, но стало совершенно ясно, что он снова работает на ГПУ. Он тогда спешно скрылся с моего горизонта. В 1935 году летом в Трувиле я купил русскую газету и узнал из нее, что русский беженец Аркадий Максимов то ли упал, то ли прыгнул с первой площадки Эйфелевой башни. Газета выражала предположение, что он покончил жизнь самоубийством. Это возможно, но все же тут для меня осталась некоторая загадка.

Когда сам Блюмкин вернулся из Парижа в Москву и доложил, что организованное им на меня покушение удалось (на самом деле, кажется, чекисты выбросили из поезда на ходу вместо меня по ошибке кого-то другого), Сталин широко распустил слух, что меня ликвидировали. Сделал это он из целей педагогических, чтобы другим неповадно было бежать: мы никогда не забываем, рука у нас длинная, и рано или поздно бежавшего она настигнет.

Из Москвы Блюмкин поехал в Турцию. Но его ненависть к Троцкому давно прошла, он вошел в контакт с троцкистской оппозицией и согласился отвезти Троцкому (который был в это время в Турции на Принцевых островах) какие-то секретные материалы. Его сотрудница, Лиза, предала его ГПУ. Он был вызван в Москву будто бы для доклада о делах, арестован и расстрелян.

Следующее покушение на меня произошло только в 1937 году. Какой-то испанец, очевидно анархист или испанский коммунист, пытался ударить меня кинжалом, когда я возвращался, как каждый вечер, домой, оставив машину в гараже. По этому случаю было видно, как выродилась работа ГПУ. Сам агент ГПУ ни на какой риск не шел – очевидно, уверили какого-то несчастного испанского анархиста, что я – агент Франко или что-то в этом роде.

В это время в Париже ГПУ сводило старые счета таким образом. Но бывали случаи и сложнее, как, например, убийство в Булонском лесу бывшего советского сотрудника Навашина, невозвращенца.

Во время испанской гражданской войны около нее кормилась целая фауна «левых» прохвостов. Красные в Испании грабили церкви, монастыри, буржуев и вывозили «реализовывать» добычу во Францию. Целый ряд темных «левых» помогал им, причем большая часть вырученного оставалась в карманах посредников. А на остаток испанские красные пытались закупать товары первой необходимости, которых в красной Испании не было. Банда дельцов во главе с Навашиным наладила такую комбинацию: на небольшую часть денег красных закупались консервы и другие товары, но совершенно испорченные и за бесценок. Они грузились на корабль и отправлялись красным. В то же время банда извещала франкистского агента в Париже, какой корабль, куда и по какому маршруту следует. У красных военного флота не было, у Франко был. И канонерка белых топила корабль. Приходилось развести руками и готовить следующий корабль, зарабатывая при этом огромные деньги. Но один раз у капитана что-то не вышло (испортились, кажется, навигационные инструменты), и он пошел совсем другим, непредвиденным путем; поэтому канонерка его не встретила, и он добрался до

порта красных. Товары разгрузили, и все выяснилось. Навашин получил удар кинжалом, от которого и умер.

В 1939 году началась мировая война. В самом ее начале со мной произошло забавное происшествие. В течение нескольких лет я вел большую и серьезную справочную картотеку по советской России. Она очень помогла мне в журналистской работе, но ведение ее требовало систематической читки советских газет и отнимало слишком много времени. Поэтому я решил ее продать и сверх ожидания выручил за нее большую сумму денег. В 1939 году я поехал летом отдыхать в Бельгию, в Остенде, и так как в воздухе была опасность близкой войны, взял все свои деньги с собой. В Остенде несколько дней подряд шел дождь, и я решил уехать на Французскую Ривьеру, где летом вы всегда обеспечены хорошей погодой. Чтоб не возить с собой по отелям все мои деньги, я их оставил в Остенде в сейфе банка. На Ривьере я наслаждался солнцем и морем и даже не читал газет. Однажды, выйдя купаться, я увидел на стенах афиши с двумя флажками – мобилизация, а значит, война. Еле я успел вернуться в Париж, как война началась. Бельгийская граница была сейчас же закрыта с обеих сторон, и моя постоянная виза в Бельгию, как и все визы, была аннулирована. В течение двух-трех дней я убедился, что положение это надолго. Я был в глупом положении: все мои деньги в Бельгии, в сейфе, и я не могу туда попасть.

Пришлось действовать напролом. Я сел в автомобиль и поехал в Бельгию. На дорогах Франции была полная пустыня, я мог ехать с максимальной скоростью, все автомобили попрятались, потому что войска реквизируют на дорогах встречные автомобили; правда, только определенных марок и габаритов, но публика, не зная этих военных секретов, на всякий случай с машинами носа не показывала. Подъехав к границе, я увидел здание французской таможни, около которого грелись на солнышке несколько офицеров полевой жандармерии. Я направился к старшему из них, капитану, и объяснил, что мои деньги остались в Бельгии, и я хочу поехать за ними. Офицеры дружно смеялись: «Вы с луны свалились. Вы не знаете, что война, и границы закрыты? И еще хотите поехать на вашей машине. Не слышали ли вы, что никакая машина не может выехать из Франции без специального разрешения командующего военным округом?» Я переждал все эти насмешки и сказал: «Капитан, я к вам обращаюсь как к офицеру: я даю честное слово, что через двадцать четыре часа я буду здесь обратно». Я попал в слабое место – офицеры военной жандармерии всегда втайне страдали, что армейские офицеры в своем боевом кодексе чести не ставят их с собой наравне. Мой капитан сказал: «Но вас все равно не пропустят бельгийцы». – «Бельгийцев я беру на себя». Он сдался: «Попробуйте».

Через полкилометра, был бельгийский пограничный пост. С него позвонили начальнику бельгийской полиции Фергюльсту, который меня лично знал, и я проехал в Бельгию. На улицах Брюсселя я пользовался большим успехом – моя машина с парижским номером была чуть ли не единственной; прохожие принимали меня за какого-то приехавшего из Франции с важной миссией. Я поехал в Остенде, взял мои деньги и на другой день вернулся во Францию. Когда я подъезжал к французскому пограничному пункту, я издали видел, как мой капитан вскочил и торжественно указал на меня пальцем: «Вот он!» Я без труда догадался, что произошло. В течение суток все остальные офицеры над ним издевались: не подлежит сомнению, что это был раскрытый немецкий шпион, спасавшийся бегством, которому нечего было терять, и он пошел ва-банк, пытаясь прорваться через жандармский пограничный пункт. И это ему удалось при помощи хороших слов.

Капитан жал мне руку и чуть ли не благодарил меня за то, что я вернулся.

Во все довоенные годы я делал все, что мог, по борьбе с большевизмом. Но пустяками и мелочными делами я никогда не любил заниматься и потому не принимал никакого участия в шумной и малопродуктивной эмигрантской политической жизни. Всякая эмиграция всегда образует много маленьких негритянских царств, которые соперничают и ссорятся друг с другом. От всего этого я держался в стороне. Когда Советы напали на Финляндию, оказалось, что я

поступал правильно. Я был единственным человеком, решившим по поводу этой войны действовать, и все главные эмигрантские организации меня дружно поддерживали и пошли за моей акцией. Было написано письмо маршалу Маннергейму, в котором организации просили маршала оказать мне полнейшее доверие и обещались меня всячески поддержать. Письмо подписали и Общевоинский союз, и газета «Возрождение», и даже председатель Высшего монархического совета (хотя я к монархизму не имел ни малейшего отношения). Маннергейм предложил мне приехать в Финляндию.

Я исходил из того, что подсоветское население мечтает об избавлении от коммунизма. Я хотел образовать Русскую народную армию из пленных красноармейцев, только добровольцев; не столько, чтобы драться, сколько чтобы предлагать советским солдатам переходить на нашу сторону и идти освобождать Россию от коммунизма. Если мое мнение о настроениях населения было правильно (а так как это было после кошмаров коллективизации и ежовщины, то я полагаю, что оно правильно), то я хотел катить снежный ком на Москву, начать с тысячей человек, брать все силы с той стороны и дойти до Москвы с пятьюдесятью дивизиями.

Французское общественное мнение в это время было полностью на стороне маленькой героической Финляндии. Французские власти приветствовали мою инициативу и помогали быстрому преодолению формальностей – заведующий политическим отделом министерства иностранных дел возил меня в военное министерство, чтобы сразу быстро были сделаны все бумаги, и какой-то генерал в министерстве желал мне всяческого успеха.

В начале февраля я выехал в Финляндию. На аэроплане через Бельгию, Голландию и Данию в Стокгольм я прилетел без приключений. Из Стокгольма нужно было перелететь в Финляндию через Ботнический залив на старом измученном гражданском аэроплане. Перед отлетом мы сидели в аэроплане и долго ждали. У финнов военной авиации не было, у Советов была, и сильная. Она все время безнаказанно бомбардировала Финляндию. Над заливом летали советские патрули. Надо было ждать, чтобы патруль прошел и достаточно удалился. Тогда аэроплан срывался и мчался во всю силу своих моторов и с надеждой, что советскому патрулю не придет вдруг в голову повернуть обратно, потому что в этом случае от нас остались бы рожки да ножки.

Все обошлось благополучно, и мы уже подлетали к финскому берегу. Сидя у окна, я увидел, что из-под крыла вырываются языки пламени. Я не знал, что это значит, и обратил внимание сидевшего передо мной (я с ним познакомился потом – он оказался финским министром экономики Энкелем, ездившим в страны Западной Европы по вопросам снабжения Финляндии). Он жестами показал, что тоже не понимает, в чем дело. Но мы уже сели, мы подошли к пилоту и Энкель спросил его, нормально ли это, что вот отсюда, из-под крыла, вырываются языки пламени. Пилот засмеялся – это совершенно невозможно; если бы пламя вырывалось отсюда, то мы бы с вами сейчас не разговаривали здесь, а были бы на дне Ботнического залива. Нам осталось только пожать плечами.

Маршал Маннергейм принял меня 15 января в своей главной квартире в Сен-Микеле. Из разных политических людей, которых я видел в жизни, маршал Маннергейм произвел на меня едва ли не наилучшее впечатление. Это был настоящий человек, гигант, державший на плечах всю Финляндию. Вся страна безоговорочно и полностью шла за ним. Он был в прошлом кавалерийский генерал. Я ожидал встретить военного, не столь уж сильного в политике. Я встретил крупнейшего человека – честнейшего, чистейшего и способного взять на себя решение любых политических проблем.

Я изложил ему свой план и его резоны. Маннергейм сказал, что есть смысл попробовать: он предоставит мне возможность разговаривать с пленными одного лагеря (500 человек); «Если они пойдут за вами – организуйте вашу армию. Но я старый военный и сильно сомневаюсь, чтобы эти люди, вырвавшиеся из ада и спасшиеся почти чудом, захотели бы снова по собственной воле в этот ад

вернуться».

Дело в том, что было два фронта: главный, узенький Карельский, в сорок километров шириной, на котором коммунисты гнали одну дивизию за другой; дивизии шли по горам трупов и уничтожались до конца – здесь пленных не было. И другой фронт от Ладожского озера до Белого моря, где все было занесено снегом в метр-полтора глубины. Здесь красные наступали по дорогам, и всегда происходило одно и то же: советская дивизия прорывалась вглубь, финны окружали, отрезали ее и уничтожали в жестоких боях; пленных оставалось очень мало, и это они были в лагерях для пленных. Действительно, это были спасшиеся почти чудом.

Наш разговор с Маннергеймом быстро повернулся на другие темы – вопросы войны, социальные, политические. И он продолжался весь день. Как я говорил, вся Финляндия смотрела на Маннергейма и ждала спасения только от него. Его позиция при этом была довольно неудобна, чтобы находить решение важнейших социальных, экономических и политических вопросов, спрашивая советов у людей, которые всего ждали от него. Я был человек со стороны, и моя работа в советском правительстве дала мне государственный опыт; кроме того, я этими вопросами много занимался; поэтому разговор со мной по проблемам, которые перед Маннергеймом стояли, был для него интересен. В этот день советская авиация три раза бомбила Сен-Микеле. Начальник Генерального штаба приходил упрасивать Маннергейма, чтоб он спустился в убежище. Маннергейм спрашивал меня: «Предпочитаете спуститься?» Я предпочитал не спускаться – бомбардировка мне не мешала. Мы продолжали разговаривать. Начальник штаба смотрел на меня чуть ли не с ненавистью. Я его понимал: бомба, случайно упавшая на наш дом, окончила бы сопротивление Финляндии – она вся держалась на старом негибающемся маршале. Но в этот момент я был уже военным: было предрешено, что я буду командовать своей армией, и Маннергейм должен был чувствовать, что я ни страха, ни волнения от бомб не испытываю.

В лагере для советских военнопленных произошло то, чего я ожидал. Все они были врагами коммунизма. Я говорил с ними языком, им понятным. Результат – из 500 человек 450 пошли добровольцами драться против большевизма. Из остальных пятидесяти человек сорок говорили: «Я всей душой с тобой, но я боюсь, просто боюсь». Я отвечал: «Если боишься, ты нам не нужен, оставайся в лагере для пленных».

Но все это были солдаты, а мне нужны были еще офицеры. На советских пленных офицеров я не хотел тратить времени: при первом же контакте с ними я увидел, что бывшие среди них два-три получекиста-полусталинца уже успели организовать ячейку и держали офицеров в терроре – о малейших их жестах все будет известно кому следует в России, и их семьи будут отвечать головой за каждый их шаг. Я решил взять офицеров из белых эмигрантов. Общевоинский союз приказом поставил в мое распоряжение свой Финляндский отдел. Я взял из него кадровых офицеров, но нужно было потратить немало времени, чтобы подготовить их и свести политически с солдатами. Они говорили на разных языках, и мне нужно было немало поработать над офицерами, чтобы они нашли нужный тон и нужные отношения со своими солдатами. Но в конце концов все это прошло удачно.

Было еще много разных проблем. Например, армии живут на основах уставов и известного автоматизма реакций. Наша армия должна была строиться не на советских уставах, а на новых, которые нужно было создавать заново. Например, такая простая вещь: как обращаться друг к другу. «Товарищ» – это советчина; «господин» – политически невозможно и нежелательно. Значит, «гражданин», к чему солдаты достаточно привыкли; а к офицерам «гражданин командир» – это вышло. Я назывался «гражданин командующий».

Была еще одна психологическая проблема. Мои офицеры – капитан Киселев, штабс-капитан Луговой и другие были кадровые офицеры. Они были полны уважения к моей политической силе, но в их головах плохо укладывалось, как гражданский человек будет ими командовать в бою. Ведь в бою все держится на твердости души командира. Следовательно, все будет держаться на моей. А есть ли

она? Им это было неясно. Я это видел по косвенному признаку; во время наших занятий капитан Киселев говорил мне: «господин Бажанов», а не «гражданин командующий». Случай позволил решить и эту проблему.

Мы вели наши занятия в Гельсингфорсе на пятом этаже большого здания. Советская авиация несколько раз в день бомбардировала город. Причем, так как это была зима, облака стояли очень низко. Советские аэропланы поднимались высоко в воздух в Эстонии, приближались к Гельсингфорсу до дистанции километров в тридцать, останавливали моторы и спускались до города бесшумно планирующим спуском. Вдруг выходили из низких облаков, и одновременно начинался шум моторов и грохот падающих бомб. У нас не было времени спускаться в убежище, и мы продолжали заниматься.

Аэропланы летят над нашим домом. Мы слышим «з-з-з...» падающей бомбы и взрыв. Второй «з-з-з...», и взрыв сейчас же перед нами. Куда упадет следующая? На нас или перелетит через нас? Я пользуюсь случаем и продолжаю спокойно свою тему. Но мои офицеры все обратились в слух. Вот следующий «з-з-з...», и взрыв уже за нами. Все облегченно вздыхают. Я смотрю на них довольно холодно и спрашиваю, хорошо ли они поняли, то, что я только что говорил. И капитан Киселев отвечает: «Так точно, гражданин командующий». Теперь уже у них не будет сомнений, что в бою они будут держаться на моей твердости души.

Все, что можно было сделать в две недели, занимает почти два месяца. Перевезти всех в другой лагерь ближе к фронту, организовать, все идет черепашьям шагом. Советская авиация безнаказанно каждый день бомбардирует все железнодорожные узлы. К вечеру каждый узел – кошмарная картина торчащих во все стороны рельсы и шпал вперемешку с глубокими ямами. Каждую ночь все это восстанавливается, и поезда кое-как ходят в оставшиеся часы ночи; но не днем, когда бы их разбомбила авиация. Только в первые дни марта мы кончаем организацию и готовимся к выступлению на фронт. Первый отряд, капитана Киселева, выходит; через два дня за ним следует второй. Затем третий. Я ликвидирую лагерь, чтобы выйти с оставшимися отрядами. Я успеваю получить известие, что первый отряд уже в бою и что на нашу сторону перешло человек триста красноармейцев. Я не успеваю проверить это сведение, как утром 14 марта мне звонят из Гельсингфорса от генерала Вальдена (он уполномоченный маршала Маннергейма при правительстве): война кончена, я должен остановить всю акцию и немедленно выехать в Гельсингфорс.

Я прибываю к Вальдену на другой день утром. Вальден говорит мне, что война проиграна, подписано перемирие. «Я вас вызвал срочно, чтобы вы сейчас же срочно оставили пределы Финляндии. Советы, конечно, знают о вашей акции, и вероятно, поставят условие о вашей выдаче. Выдать вас мы не можем; дать вам возможность оставить Финляндию потом – Советы об этом узнают, обвинят нас во лжи; не забудьте, что мы у них в руках и должны избегать всего, что может ухудшить условия мира, которые и так будут тяжелыми; если вы уедете сейчас, на требование о вашей выдаче мы ответим, что вас в Финляндии уже нет, и им легко будет проверить дату вашего отъезда».

«Но мои офицеры и солдаты? Как я их могу оставить?» – «О ваших офицерах не беспокойтесь: они все финские подданные, им ничего не грозит. А солдатам, которые вопреки вашему совету захотят вернуться в СССР, мы, конечно, помешать в этом не можем, это их право; но те, которые захотят остаться в Финляндии, будут рассматриваться как добровольцы в финской армии, и им будут даны все права финских граждан. Ваше пребывание здесь им ничего не даст – мы ими займемся». Все это совершенно резонно и правильно. Я сажусь в автомобиль, еду в Турку и в тот же день прибываю в Швецию. И без приключений возвращаюсь во Францию. О моей финской акции я делаю доклады: 1) представителям эмигрантских организаций; 2) на собрании русских офицеров генерального штаба; собрание происходит на квартире у начальника 1-го отдела общевойсковой армии генерала Витковского; на нем присутствуют и адмирал Кедров, и бывший русский посол Маклаков со своей слуховой трубкой, и один из великих князей, если не ошибаюсь, Андрей Владимирович. Вскоре после этого разворачивается французская кампания,



и в июне немцы входят в Париж.

Почти год я спокойно живу в Париже. В середине июня 1941 года ко мне неожиданно является какой-то немец в военном мундире (впрочем, они все в военных мундирах, и я мало что понимаю в их значках и нашивках; этот, кажется, приблизительно в чине майора). Он мне сообщает, что я должен немедленно прибыть в какое-то учреждение на авеню Йена. Зачем? Этого он не знает. Но его автомобиль к моим услугам – он может меня отвезти. Я отвечаю, что предпочитаю привести себя в порядок и переодеться и через час прибуду сам. Я пользуюсь этим часом, чтобы выяснить по телефону у русских знакомых, что это за учреждение на авеню Йена. Оказывается, что парижский штаб Розенберга. Что ему от меня нужно?

Приезжаю. Меня принимает какое-то начальство в генеральской форме, которое сообщает мне, что я спешно вызываюсь германским правительством в Берлин. Бумаги будут готовы через несколько минут, прямой поезд в Берлин отходит вечером, и для меня задержано в нем спальное место. Для чего меня вызывают? Это ему неизвестно.

До вечера мне надо решить, еду я в Берлин или нет. Нет – это значит, надо куда-то уезжать через испанскую границу. С другой стороны, приглашают меня чрезвычайно вежливо, почему не поехать посмотреть, в чем дело. Я решаю ехать. В Берлине меня на вокзале встречают и привозят в какое-то здание, которое оказывается домом Центрального комитета национал-социалистической партии. Меня принимает управляющий делами Дерингер, который быстро регулирует всякие житейские вопросы (отель, продовольственные и прочие карточки, стол и т. д.). Затем он мне сообщает, что в 4 часа за мной заедут – меня будет ждать доктор Лейббрандт. Кто такой доктор Лейббрандт? Первый заместитель Розенберга.

В 4 часа доктор Лейббрандт меня принимает. Он оказывается «русским немцем» – окончил в свое время Киевский политехникум и говорит по-русски, как я. Он начинает с того, что наша встреча должна оставаться в совершенном секрете и по содержанию разговора, который нам предстоит, и потому, что я известен как антикоммунист, и если Советы узнают о моем приезде в Берлин, сейчас же последуют всякие вербальные ноты протеста и прочие неприятности, которых лучше избежать. Пока он говорит, из смежного кабинета выходит человек в мундире и сапогах, как две капли воды похожий на Розенберга, большой портрет которого висит тут же на стене. Это – Розенберг, но Лейббрандт мне его не представляет. Розенберг облакачивается на стол и начинает вести со мной разговор. Он тоже хорошо говорит по-русски – он учился в Юрьевском (Дерптском) университете в России. Но он говорит медленнее, иногда ему приходится искать нужные слова.

Я ожидаю обычных вопросов о Сталине, о советской верхушке – я ведь считаюсь специалистом по этим вопросам. Действительно, такие вопросы задаются, но в контексте очень специальном: если завтра вдруг начнется война, что произойдет, по моему мнению, в партийной верхушке? Еще несколько таких вопросов, и я ясно понимаю, что война – вопрос дней. Но разговор быстро переходит на меня. Что я думаю по таким-то вопросам и насчет таких-то проблем и т. д. Тут я ничего не понимаю – почему я являюсь объектом такого любопытства Розенберга и Лейббрандта? Мои откровенные ответы, что я отнюдь не согласен с их идеологией, в частности, считаю, что их ультранационализм очень плохое оружие в борьбе с коммунизмом, так как производит как раз то, что коммунизму нужно: восстанавливает одну страну против другой и приводит к войне между ними, в то время как борьба против коммунизма требует единения и согласия всего цивилизованного мира, это мое отрицание их доктрины вовсе не производит на них плохого впечатления, и они продолжают задавать мне разные вопросы обо мне. Когда они наконец кончили, я говорю: «Из всего, что здесь говорилось, совершенно ясно, что в самом непродолжительном будущем вы начинаете войну против Советов». Розенберг спешит сказать: «Я этого не говорил». Я говорю, что я человек политически достаточно опытный и не нуждаюсь в том, чтобы мне рассказывали и

вкладывали в рот. Позвольте и мне поставить вам вопрос: «Каков ваш политический план войны?» Розенберг говорит, что он не совсем понимает мой вопрос. Я уточняю: «Собираетесь ли вы вести войну против коммунизма или против русского народа?» Розенберг просит указать, где разница. Я говорю: разница та, что если вы будете вести войну против коммунизма, то есть, чтобы освободить от коммунизма русский народ, то он будет на вашей стороне, и вы войну выиграете; если же вы будете вести войну против России, а не против коммунизма, русский народ будет против вас, и вы войну проиграете.

Розенберг морщится и говорит, что самое неблагоприятное ремесло – политической Кассандры. Но я возражаю, что в данном случае можно предсказать события. Скажем иначе: русский патриотизм валяется на дороге, и большевики четверть века попирают его ногами. Кто его подымет, тот и выиграет войну. Вы подымете – вы выиграете; Сталин подымет – он выиграет. В конце концов Розенберг заявляет, что у них есть фюрер, который определяет политический план войны, и что ему, Розенбергу, пока этот план неизвестен. Я принимаю это за простую отговорку. Между тем, как это ни парадоксально, потом оказывается, что это правда (я выясню это только через два месяца в последнем разговоре с Лейббрандтом, который объяснит мне, почему меня вызвали и почему со мной разговаривают).

Дело в том, что в этот момент, в середине июня, и Розенберг, и Лейббрандт вполне допускают, что после начала войны, может быть, придется создать антибольшевистское русское правительство. Никаких русских для этого они не видели. То ли в результате моей финской акции, то ли по отзыву Маннергейма, они приходят к моей кандидатуре, и меня спешно вызывают, чтобы на меня посмотреть и меня взвесить (по словам Лейббрандта, они меня как будто принимали). Но через несколько дней начинается война, и Розенберг получает давнее предreshенное назначение – министр оккупированных на Востоке территорий; и Лейббрандт – его первый заместитель. В первый же раз, как Розенберг приходит к Гитлеру за директивами, он говорит: «Мой фюрер, есть два способа управлять областями, занимаемыми на Востоке, первый – при помощи немецкой администрации, гауляйтеров; второй – создать русское антибольшевистское правительство, которое бы было и центром притяжения антибольшевистских сил в России». Гитлер его перебивает: «Ни о каком русском правительстве не может быть и речи; Россия будет немецкой колонией и будет управляться немцами». После этого Розенберг больше ко мне не испытывает ни малейшего интереса и больше меня не принимает.

После разговора с Розенбергом и Лейббрандтом я живу несколько дней в особом положении – я знаю секрет капитальной важности и живу в полном секрете. Утром 22 июня, выйдя на улицу и видя серьезные лица людей, читающих газеты, я понимаю, в чем дело. В газете – манифест Гитлера о войне. В манифесте ни слова о русском государстве, об освобождении русского народа; наоборот, все о пространстве, необходимом для немецкого народа на Востоке, и т. д. Все ясно. Фюрер начинает войну, чтобы превратить Россию в свою колонию. План этот для меня совершенно идиотский; для меня Германия войну проиграла – это только вопрос времени; а коммунизм войну выигрывает. Что тут можно сделать?

Я говорю Дерингеру, что хочу видеть Розенберга. Дерингер мне вежливо отвечает, что он о моем желании доктору Розенбергу передаст. Через несколько дней он мне отвечает, что доктор Розенберг в связи с организацией нового министерства занят и принять меня не может. Я сижу в Берлине и ничего не делаю. Хотел бы уехать обратно в Париж, но Дерингер мне говорит, что этот вопрос может решить только Розенберг или Лейббрандт. Я жду.

Через месяц меня неожиданно принимает Лейббрандт. Он уже ведет все министерство, в приемной куча гауляйтеров в генеральских мундирах. Он меня спрашивает, упорствую ли я в своих прогнозах в свете событий, – немецкая армия победоносно идет вперед, пленные исчисляются миллионами. Я отвечаю, что совершенно уверен в поражении Германии; политический план войны бессмысленный; сейчас уже все ясно – Россию хотят превратить в колонию, пресса трактует русских как унтерменшей, пленных морят голодом. Разговор кончается

ничем, и на мое желание вернуться в Париж Лейббрандт отвечает уклончиво – подождите еще немного. Чего?

Еще месяц я провожу в каком-то почетном плену. Вдруг меня вызывает Лейббрандт. Он опять меня спрашивает: немецкая армия быстро идет вперед от победы к победе, пленных уже несколько миллионов, население встречает немцев колокольным звоном, настаиваю ли я на своих прогнозах. Я отвечаю, что больше чем когда бы то ни было. Население встречает колокольным звоном, солдаты сдаются; через два-три месяца по всей России станет известно, что пленных выморите голодом, что население рассматривает как скот. Тогда перестанут сдаваться, станут драться, а население – стрелять вам в спину. И тогда война пойдет иначе. Лейббрандт сообщает мне, что он меня вызвал, чтобы предложить мне руководить политической работой среди пленных – я эту работу с таким успехом проводил в Финляндии. Я наотрез отказываюсь. О какой политической работе может идти речь? Что может сказать пленным тот, кто придет к ним? Что немцы хотят превратить Россию в колонию и русских – в рабов, и что этому надо помогать? Да пленные пошлют такого агитатора к..., и будут правы. Лейббрандт наконец теряет терпение: «Вы в конце концов бесштатный эмигрант, а разговариваете как посол великой державы». – «Я и есть представитель великой державы – русского народа; так как я – единственный русский, с которым ваше правительство разговаривает, моя обязанность вам все это сказать». Лейббрандт говорит: «Мы можем вас расстрелять, или послать на дороги колоть камни, или заставить проводить нашу политику». – «Доктор Лейббрандт, вы ошибаетесь. Вы действительно можете меня расстрелять или послать в лагерь колоть камни, но заставить меня проводить вашу политику вы не можете». Реакция Лейббрандта неожиданна. Он поднимается и жмет мне руку. «Мы потому с вами и разговариваем, что считаем вас настоящим человеком».

Мы опять спорим о перспективах, о немецкой политике, говоря о которой я не очень выбираю термины, объясняя, что на том этаже политики, на котором мы говорим, можно называть вещи своими именами. Но Лейббрандт возражает все более вяло. Наконец, сделав над собой усилие, он говорит: «Я питаю к вам полное доверие; и скажу вам вещь, которую мне очень опасно говорить: я считаю, что вы во всем правы». Я вскакиваю: «А Розенберг?» – «Розенберг думает то же, что и я». – «Но почему Розенберг не пытается убедить Гитлера в полной гибельности его политики?» – «Вот здесь, – говорит Лейббрандт, – вы совершенно не в курсе дела. Гитлера вообще ни в чем невозможно убедить. Прежде всего, только он говорит, никому ничего не дает сказать и никого не слушает».

А если бы Розенберг попробовал его убедить, то результат был бы только такой: Розенберг был бы немедленно снят со своего поста как неспособный понять и проводить мысли и решения фюрера, и отправлен солдатом на Восточный фронт. Вот и все». – «Но если вы убеждены в бессмысленности политики Гитлера, как вы можете ей следовать?» – «Это гораздо сложнее, чем вы думаете, – говорит Лейббрандт, – и это не только моя проблема, но и проблема всех руководителей нашего движения. Когда Гитлер начал принимать свои решения, казавшиеся нам безумными, – оккупация Рура, нарушение Версальского договора, вооружение Германии, оккупация Австрии, оккупация Чехословакии, каждый раз мы ждали провала и гибели. Каждый раз он выигрывал. Постепенно у нас создалось впечатление, что этот человек, может быть, видит и понимает то, чего мы не видим и не понимаем, и нам ничего не остается, как следовать за ним. Так же было и с Польшей, и с Францией, и с Норвегией, а теперь в России мы идем вперед и скоро будем в Москве. Может быть, опять мы не правы, а он прав?»

«Доктор Лейббрандт, мне тут нечего делать, я хочу вернуться в Париж». – «Но поскольку вы против нашей политики, вы будете работать против нас». – «Увы, я могу вам обещать, что я ни за кого и ни против кого работать не буду. С большевиками я работать не могу – я враг коммунизма; с вами не могу – я не разделяю ни вашей идеологии, ни вашей политики; с союзниками тоже не могу – они предают западную цивилизацию, заключив преступный союз с коммунизмом. Мне остается заключить, что западная цивилизация решила покончить

самоубийством, и что во всем этом для меня нет места. Я буду заниматься наукой и техникой».

Лейббрандт соглашается. Перед отъездом на квартире Ларионова я рассказываю о своих переговорах с Розенбергом и Лейббрандтом руководителям организации солидаристов (Поремскому, Рождественскому и другим). Они просочились в Берлин, желая проникнуть в Россию вслед за немецкой армией. Я им говорю, что это совершенно безнадежно – население скоро будет все против немцев; быть с ними – значит вступить в партизанщину против немцев; для чего? Чтобы помогать большевикам снова подчинить население своей власти? Ничего сделать нельзя. Но солидаристы хотят все же что-то попробовать. Скоро они убедятся, что положение безнадежно.

Вернувшись в Париж, я делаю также доклад представителям русских организаций. Выводы доклада крайне неутешительные. Среди присутствующих есть информаторы гестапо. Один из них задает мне провокационный вопрос: «Так, по-вашему, нужно или не нужно сотрудничать с немцами?» Я отвечаю, что не нужно – в этом сотрудничестве нет никакого смысла.

Конечно, это дойдет до гестапо. К чести немцев должен сказать, что до конца войны я буду спокойно жить в Париже, заниматься физикой и техникой, и немцы никогда меня не тронут пальцем.

А в конце войны, перед занятием Парижа, мне приходится на время уехать в Бельгию, и коммунистические бандиты, которые придут меня убивать, меня дома не застанут.

## **Заключение**

Во время Второй мировой войны я отошел от политики и в течение следующих тридцати лет занимался наукой и техникой. Но мой опыт пребывания в центре коммунистической власти и вытекающее из него знание коммунизма позволили мне все следующие годы продолжать изучение коммунизма и его эволюции. Это изучение, подтвердив наблюдения моего активного коммунистического опыта, дает мне возможность заключить свою книгу некоторыми выводами, которыми я и хочу поделиться с читателем.

Я говорил уже о никчемности марксистской экономической теории. Так же ложно и бито жизнью оказалось марксистское предвидение событий. Напомню анализ и прогноз Маркса: в мире, с его быстрой индустриализацией, происходит жестокая пролетаризация и обеднение масс и сосредоточение капиталов в немногих руках; пролетарская социальная революция наступит поэтому в наиболее индустриальных странах.

На самом деле все произошло наоборот. В развитых индустриальных странах произошли не пролетаризация и обеднение рабочих масс, а чрезвычайный подъем уровня их жизни. Известен и процесс эволюции капитала, который, например, в ведущей Америке давно оставил стадию миллиардеров, прошел стадию огромных анонимных обществ с решающим влиянием их директоров и сейчас находится в стадии широчайшей демократизации капитала – огромное большинство акций крупных предприятий рассеяно во всей массе рабочих и служащих, которые и являются совладельцами и соучастниками предприятий. Америка идет на десять-двадцать лет впереди, то, что происходит в ней, повторяется затем в других развитых капиталистических странах.

А что касается социальной революции, то она не произошла ни в одной из развитых индустриальных стран и, наоборот, широко залила страны бедные, отсталые и малокультурные.

Оставим марксистскую теорию и перейдем к практике. Практика коммунистической революции – это практика Ленина и ленинизма. Она заключается в том, что чем более страна бедна, дика, отстала, невежественна и некультурна, тем больше в ней шансов на коммунистическую революцию. Если вдуматься, в этом нет ничего удивительного. Суть коммунизма – возбуждение зависти и ненависти у бедных против более богатых. Чем люди беднее, чем они проще, чем они невежественнее, тем больше успех коммунистической пропаганды, тем больше шансов на успех коммунистической революции. Он обеспечен в странах Африки, в нищих человеческих муравейниках Азии; в развитые страны Европы он до сих пор смог быть введен только на советских танках – силой. Нечего и говорить, что зависть и ненависть используются лишь для того, чтобы натравить одни слои населения на другие, для социальной вражды, для подавления, для истребления, для того, чтобы добиться власти. А затем все превращается в хорошо организованную каторгу, в которую заключается вся страна, и узкая коммунистическая верхушка ею командует.

Цель операции – мировое вооруженное ограбление и создание мирового рабовладельческого общества, роботизация всего мира, которым будут жестоко управлять, широко пользуясь абсолютной властью, бездушные и тупые бюрократы «партии».

Это означает крушение нашей западной цивилизации. Цивилизации смертны; варвары, которые хотят прийти на смену нашей, имеют имя – коммунизм.

(Я представляю себе, какое негодование вызовут эти строки у молодого верующего коммуниста. Когда в 1919 году я вступил в коммунистическую партию, я бы отбросил их с таким же негодованием. Но существует уже 60 лет коммунистического опыта. Убеждают ли они кого-нибудь? Увы, только тех, кто переживает коммунистический опыт на самом себе. И негодующему молодому

коммунисту нужно, чтобы коммунизм победил в его стране и продолжался десяток лет, чтобы он понял на собственном опыте, что написанное выше – правда. Но, опять увы, тогда уже слишком поздно: коммунизм существует, чтобы брать власть и ею пользоваться; а взявши ее, не отдает. Назад ходу нет. И если случайно найдется в стране Дубчек во главе иерархии, который захочет установить человеческий социализм вместо волчьего, то хотя вся партия и все население и будут за него, придут советские танки и быстро поставят все на место.)

Хочет ли наша цивилизация защищаться, защищать все, что составляет ее сущность – свободу, свободу жизни и творчества, гуманизм, мирное и дружелюбное людское сосуществование?

Наша цивилизация исторически – христианская. В прошлые века христианская религия была ее цементом и ее базой. Но эти времена прошли. Она находится в периоде быстрой и трудной мутации. При этом обстановка жизни меняется со всевозрастающей быстротой. Наука, техника, экономика в два-три десятилетия меняют жизнь быстрее, чем весь предшествовавший век. Наоборот, психология масс в ее основе меняется несравненно медленнее и все более отстает от меняющейся обстановки. И политические взгляды и устремления населения далеко отстают от бурных перемен жизни. Это приводит к настоящим и глубоким катастрофам. Казалось бы, это обязанность руководящих политических кругов страны учесть перемены, сделать выводы, определить своей мыслью инертную и отстающую мысль масс и предложить нужные решения, отвечающие изменившейся ситуации. Но демократический способ правления этого не позволяет. Политические люди должны быть мандатированы массами. Горе им, если они пытаются опередить своей мыслью массы – их не поймут, не поддержат, не выберут. Им приходится не вести массы, а следовать за ними.

Две широкие дороги определяют сейчас политические пути движения масс. Одна из них – ставка на будущее – социализм. Другая – путь вчерашнего дня – национализм.

Оговоримся сразу, что национальная идея и национализм – вещи разные. Идея нации нормальна. Давно известно, что дифференциальные уравнения решаются одинаково в Пекине и в Париже, но любят и ненавидят на берегах Ян-Цзе-Кианга совсем не так, как на берегах Сены. Культура может развиваться лишь в национальных рамках, и они представляют своеобразный, неповторимый и необходимый кадр жизни. Национализм представляет нечто совсем иное. Это – «моя нация выше всех других», и я преследую прежде всего ее интересы (против интересов других наций). Национализм – это доктрина свирепого национального эгоизма. Возможно, что она была уместна полтора-два века тому назад, когда нации жили обособленно, когда связи их друг с другом почти не существовали. Но XIX век принес быструю перемену, развилась техника, экономика, железнодорожный и морской транспорт, мировая торговля и взаимозависимость мировой экономики, колоссальные возможности военной техники, и в начале XX века то, что эта националистическая доктрина была руководящей доктриной великих держав, стало первой мировой угрозой. Что и подтвердила вытекшая из нее Первая мировая война – великая катастрофа, жестокий удар по нашей цивилизации. Она привела и к крушению мирового порядка, и к падению ведущей роли белой расы, и к коммунистической революции в России, и к началу мировой гражданской войны. Чему научились на этом опыте руководители наций? Очевидно, ничему. Потому что Италия и Германия, желая создать заслон против коммунизма, не нашли для этого лучшего оружия, чем катастрофичный и только что осужденный горькой практикой жизни национализм, да еще в превосходной степени – ультранационализм. Единственное спасение цивилизации – единение цивилизованных народов против коммунизма. Но нет ничего хуже ультранационализма, который вместо единения подымает одни нации против других и не только делит их силы, но приводит к бессмысленным войнам между ними. Для коммунизма нет ничего выгоднее, нет ничего приятнее, чем этот национализм. И коммунисты всячески его раздувают. Он – основное условие их победы.

Ничему не научившись на опыте Первой мировой войны, руководящие политические круги великих держав с легким сердцем бросили весь мир во вторую грандиозную катастрофу; и ими, и массами руководила все та же доктрина национализма. А коммунисты знали, что для них нет ничего лучше – за войной неизбежно следует революция. Предвидели ли политические кретины, руководившие великими державами, что после Второй мировой войны полмира будет в руках коммунистов? Ничего они не предвидели. Им только показали, как опасно, когда политическая мысль руководителей не имеет никакой цены.

И как важно, если цивилизация хочет жить и защищаться, чтобы иная политическая мысль вела ее руководителей. Как много изменилось бы в мире, если бы было понято и сделано руководящей формулой в отношениях между народами, что правильно поняты национальные интересы всегда совпадают с интересами всех других наций. Национальный эгоизм может сейчас только погубить защиту свободного мира. Спасение свободного мира только в его единении.

Другой путь, все более завоевывающий доверие масс, – социалистический. Можно было бы сказать, что основной процесс мутации нашего общества в последнее время заключается в переходе от базы христианской религии на базу религии социалистической. Но что есть социализм? Маршал Франции говорил: «Правильно назвать – правильно понять». Нелегко понять, что есть настоящий социализм. Прежде всего потому, что коммунисты, как всегда, в целях лживой пропаганды употребляя лживые термины, постоянным их употреблением вводят их в общую практику. Кто только теперь, вместо того чтобы говорить «либеральное меновое общество», не говорит «капитализм» вслед за коммунистами; и когда коммунисты называют созданный ими волчий рабовладельческий строй социализмом, все принимают этот ложный термин (Союз Советских СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ Республик). Между тем, очевидно, что коммунизм прикрывает свой строй социалистической этикеткой для обмана масс. Настоящий социализм «с человеческим лицом» не должен бы иметь ничего общего с волчьим социализмом марксистов.

Скажем так, что в лучшем случае социализм верующих в него масс представляет неясный идеал лучшей жизни и большей социальной справедливости. Это и идеал либерального свободного общества, приверженцы которого не принимают термина «социализм», так как он, во-первых, изгажен коммунистами и их малопочтенными союзниками, во-вторых, допускает экивок лже-«социализма» марксистского.

Известно, что религии – предмет веры, и категории разумного к ним мало применимы. Известно также, что, несмотря на это, новые побеждающие религии обладают огромной силой. Правда, религии быстро делятся на секты, толкования и ереси, которые обладают замечательной степенью нетерпимости друг к другу. Широкое распространение в мире социалистической религии означает не столько ее победу, как появление и развитие новых видов междоусобной вражды. Если бы социализм победил в мире, было бы столько же социализмов, сколько стран, если не больше, и вражда и борьба между ними была бы свирепа. Возьмите коммунистический мир. Для коммунистического Китая коммунистическая Россия больший враг, чем любая «капиталистическая» страна.

Слабость идеи либерального свободного общества заключается в том, что в отличие от христианства (предлагающего рай и загробную жизнь, которые опытом проверить нельзя) она предлагает социалистический рай на земле, который опытом проверяется. Коммунизм выходит из затруднения тем, что что бы ни думало по этому поводу получившее опыт население, оно ничего изменить уже в своей судьбе не может. Даже бежать из этого рая нельзя – он огорожен пулеметами и колючей проволокой. Настоящему социализму такая практика должна быть чужда, и перспективы его трудны.

Но так же как и национализм, социализм не является идеологией, на базе которой может наша цивилизация построить свою защиту. Так как социализм даже в лучших своих (не марксистских) вариантах исходит из критики и отрицания нашей цивилизации, желая и надеясь заменить ее чем-то другим, и по его представлению,

лучшим.

Казалось бы, картина довольно безотрадная, и на вопрос, будет ли Запад защищать свою цивилизацию, трудно дать обнадеживающий ответ. Массы идут за коммунистической пропагандой, за социалистической, а наиболее трезвые и стойкие элементы не видят другой точки опоры, кроме старого опасного социализма. А правящие политические круги, те же, которые в начале XX века не видели и не понимали, что их националистическая идеология ведет мир к катастрофе и революции, так же сейчас заняты маленькой игрой в большие державы и национальные эгоизмы и не видят, что мир стоит на гибельном пути.

Но они не видят и того, что мир стоит на повороте. Наша цивилизация может свернуть на другую дорогу, дорогу спасительную.

Если бы это было благочестивым пожеланием, это бы недорого стоило. К счастью, для этого поворота есть база и есть возможности. Правящие политические круги их также не видят.

Посмотрим внимательно на историю XX века. Век начался в атмосфере эйфорической – все быстро развивалось: техника, экономика, народное богатство; вера в безграничный прогресс была всеобщей, и в то, что жизнь будет непрерывно улучшаться, и в то, что придут превосходные социальные перемены, которые принесут лучшую долю бедным и обездоленным. Пришла мировая война, и это была мировая катастрофа. Рухнули империи, престиж Европы и белой расы, началась мировая гражданская война. Но все еще думали, что все наладится, и продолжали старую игру и старыми костями в национальные эгоизмы и расовые ненависти. Пришла вторая мировая катастрофа, и, несмотря на победные реляции о великой победе (а победили главным образом субверсия, революция и коммунизм, и все они трубили больше всех о славной победе), сомнения начали широко распространяться в мире – уж слишком катастрофичен был результат, и слишком ясным становился путь разложения общества.

И начался пересмотр и переоценка положения. А когда присмотрелись и подсчитали, то от оптимизма начала века и от веры в безграничный прогресс мало что осталось. Оказалось, что мир идет к полной катастрофе. Галопирующая демография завтра приведет к тому, что человечество нельзя будет прокормить, тонкий слой земледельческой почвы хищнически разрушается, минеральные запасы сырья и энергии изжиты и приходят к концу, экологическое равновесие природы нарушено, море – завтрашний пищевой резерв – умирает, отравленное человеком, и все, что принесли наука и техника, казалось бы, на пользу человеку, он повернул против самого себя. И апофеоз всего – атомная бомба, невиданные возможности разрушения, и первый раз в истории человечества возможность полного уничтожения человеческого рода; и не теоретическая, а нависшая над головой угроза возможной мировой войны и безумно и непрерывно растущий арсенал атомной смерти человечества. А светлые перспективы лучшей социальной жизни? Давно, но тщетно правда об этом опыте пыталась пробиться на свет, и время для нее пришло, и взорвалась бомба солженицынского «Архипелага ГУЛАГ», и при виде шестидесяти миллионов мертвых свидетелей рухнула и эта иллюзия.

Если бы все это происходило век тому назад, это бы определило мучительную и долгую работу осознания и переоценки ценностей в узком кругу элит. Сейчас радио, газеты и в особенности телевидение бросают ежедневно и ежечасно в лицо широким массам населения всю и самую последнюю информацию обо всем, что происходит в мире. И весь этот процесс переоценки, все сознание угроз, весь страх перед гибельностью пути, по которому мы идем, стали быстрым достоянием широких народных масс. Население передовых развитых индустриальных стран в страхе и трепете.

Вот то сознание, эта боязнь грядущей катастрофы – это и есть сейчас наибольший шанс спасительного поворота, это и есть та база, которая дает возможность для нашей цивилизации повернуть и пойти по другому пути.



Поворот требует широчайшего участия и одобрения народных масс. К умным формулам – плоду сухого разума – массы населения равнодушны. Ими движут лишь чувства и эмоции. Для поворота нужна эмоциональная база, и она есть. Вопрос об этом повороте совпадает с вопросом о спасении человечества, и это придает ему величайшее значение. И ставит его в иную плоскость, чем вопрос политической борьбы и защиты; ставит в плоскость глобальную. Надо найти путь, на котором человечество избегло бы не только тупого бюрократического рабовладельческого коммунистического строя, который по своему человеконенавистничеству, бездарности и отсутствию творческой мысли не способен разрешить все огромные и тяжелые проблемы, вставшие перед человеческим родом, но такой путь, который решил бы и все эти проблемы.

Но если этот поворот необходим, если он возможен, он вовсе не неизбежен. Он может и не произойти. Для него есть база, появилась возможность, которой тридцать-сорок лет тому назад не было, но надо еще определить верный путь, верные методы, и надо, чтобы нашлись настоящие люди, которые бы могли все это сделать. И движение должно быть в соответствии с задачами иного рода, иного стиля и иного размаха, чем обычная политическая суматоха. На карте стоит будущее человеческого рода.